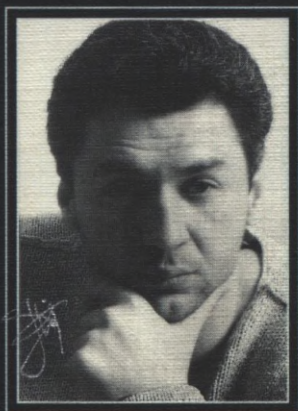


ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ

СКАЗКИ О ЧАНЧЖОЭ



Сорок лет Чанчжоз



ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ

*Сорок лет
Чанчжоз*

Р О М А Н

• ВАГРИУС •
МОСКВА • 1996

**ББК 84Р7
Л61**

**ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.**

**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.**

**ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.**

**Л 4702010201
СВ2(03)-96** **Без объявл.**

ББК 84Р7

ISBN 5-7027-0305-7

© Издательство «ВАГРИУС», 1996

© Д. Липскеров, автор, 1996

© Е. Вельчинский, дизайн серии, 1996



Капитан в отставке Ренатов сидел на маленькой деревянной табуреточке, стоящей на цветном, с азиатскими узорами, покрывале, и, шурясь, слегка улыбаясь, смотрел на небо. Как всегда в это время, в начале осени, по небу в сторону северо-востока катились густые облака, сквозь которые, помигивая, выглядывало солнце, щекоча ноздри задранных к небосводу голов... Капитан Ренатов, впрочем, никогда не чихал, глядя на солнце, но неизменно наслаждался щекоткой в носу, самой возможностью когда-нибудь чихнуть, раскатиисто, напористо, распугивая маленьких птичек из густой травы...

Спина капитана Ренатова уперлась в ствол тонкой березы, которая слегка изогнулась, пружиня, поддерживая тело отставника наподобие спинки кресла, ноги были вытянуты и сложены одна на другую, каблуки нестарых армейских сапог уперлись в какой-то выступ или корешок под покрывалом, найдя опору, и от всего этого было очень удобно сидеть и радоваться неспешному осеннему дню, его исполнившимся пяти часам полудни... Капитан Ренатов иногда дотрагивался всей ладонью до еще горячего самовара, слегка kloкочущего и пахнущего догорающими шишечками, собранными Евдокией Андревной в Приютском лесу и высушенными на лежанке печи. От прикосновения и легкого ожога по телу бежали мурашки, но солнце тут же их согревало, заставляя спрятаться обратно в душу, а тело требовало чего-нибудь теплого, и капитан Ренатов прихлебывал из большой кружки липовый чай с какими-то терпкими

травками, смешанными с заваркой и успокаивающими нервную систему.

Все это сооружение — из азиатского покрывала, табуретки, старинного самовара, связки пшеничных баранок, нескольких вазочек со сладкими вареньями, помывочными и свежими салфетками, двадцатикратным биноклем, висящим на березовой ветке над головой, — почти ежедневно строилось Ренатовым в теплые времена года на протяжении последних двух лет, с тех пор как он вышел в отставку в возрасте сорока шести лет. Место располагало. Пригорок, использующийся для бивуака, находился прямо под домом капитана, в двухстах метрах, а под пригорком был откос с песочными краями, под которым текла речка, в которую и обваливались песочные края, тихо всплескивая, как будто разыгралась рыба, а, впрочем, может, это и в самом деле играли голавли, хватая мясными ртами стрекоз. С другой стороны реки начиналось бескрайнее поле, принадлежащее г-ну Климову, живущему в большом городе, географически близком к столице. Г-н Климов слыл крайне состоятельным человеком, был очень стар, его интересы кончились вместе с дипломатической карьерой, и вследствие этого поле никогда не засеивалось злаками, а зарастало всем, чем придется, — от клевера до небольших деревьев, которые кто-то выдирает каждую весну, лишь только спадали снега. Траву косили все, кому не лень, никто никого с поля не гонял, не было никаких скандалов из-за дележа чужого, а оттого вокруг царилло благодущие и казалось, даже воздух напоен добротой... Сейчас поле было тщательно выкошенным, слегка пожелтевшим и готовящимся к зиме...

Капитан Ренатов никогда не пользовался „климовским“ полем, потому что оно все же было чужое, хоть и находилось под самым носом, да и скотины в хозяйстве не было, молоко покупали на стороне, в небольших количествах — к чаю, так что сено было ни к чему... Где-то там, далеко, за полем, простирался дремучий Гуськовский лес, в котором отставник никогда не бывал,

даже в бинокль тот рассматривался с трудом, какой-то темной, таинственной полосой. Сам пригорок, на котором размещался отставник, был приятен тем, что сплошь зарос лопухами и всякими цветами вразнобой. Пригорок ничего не перекрывало ни слева, ни справа, а оттого солнечные лучи согревали его всю долготу дня, встречаясь с восходом и расставаясь с закатом... По три раза за вторую половину дня к забору ренатовского дома подходила полная Евдокия Андревна и, приложив пухлую ладошку ко рту, звала вниз:

— Семен Ильич! Не желаешь ли чего?.. Не замерз ли? Может, плед снести?..

От голоса жены, скатывающегося бубенчиком вниз, от заботливости супруги в Семене Ильиче неизменно всплескивалось ощущение счастья, тихого и навсегда. Ренатов снимал с ветки бинокль и долго смотрел в окуляры на свою спутницу с умилением. Он слегка покачивал головой, как бы говоря, что он в порядке, ничего ему не нужно, совсем не замерз, но внимание Евдокии Андревны ему приятно и приятно смотреть через линзы на ее полные колени и юбку, прилипшую к ним... Евдокия Андревна тоже некоторое время разглядывала мужа, точно зная, что он видит ее, двадцатикратно приблизив. Ей тоже было радостно оттого, что ее фигура до сих пор волнует Семена Ильича, и всякий раз, выходя к забору, она позволяла себе некоторые вольности в одежде — то юбку подоткнет выше, чем обычно, то рубашку наденет с глубоким вырезом, из которого выпирают ее хлебные груди.

— Ну что ж, не замерз, так и хорошо! — говорила напоследок Евдокия Андревна и, улыбнувшись, уходила в дом, оставляя мужа с упрочившимся чувством умиления.

„Ах, надо бы с Дусей рыбу половить завтра“, — думал Ренатов, оглядывая белые стены своего дома, еще совсем крепкого, вросшего в землю на столетия. И представил себе, как на заре они с женой спускаются к реке. В руках у него бредень с крупными грузилами, чтобы по

дну волокся, а Евдокия Андревна несет ведро, в которое будет складываться будущий улов из мелких щучек, плотвы и окуней... Они дойдут до рукава реки, совсем узкого, так что его можно перепрыгнуть, Евдокия Андревна поднимет юбки и войдет в воду, забегает, мутя ее, поднимая со дна ил, а когда вода возмутится окончательно и рыба в ней заблудится, то настанет черед и его, Ренатова, залезать в воду по пояс. Они расправят бредень и пойдут не торопясь к кривой иве, где и вытащат бредень на берег. А в нем будет трепыхаться рыбка, которая станет впоследствии основой душистой ухи, наперченной и густой.

До отставки капитан Ренатов был на службе в интендантстве дивизиона генерала Блуянова, заведовал складами с военной амуницией и просидел на этой должности семь лет. До него так долго никто не удерживался на этом месте, неизбежно проворовываясь и попадая под суд военного трибунала. Воровали все, что под руку попадало, от сапог до чехлов к ружьям. Брали даже пуговицы к зимним солдатским шинелям, в пуде которых не было и грамма драгоценных металлов, — переплавляли на грузила и продавали по копейке... Впрочем, судили за это нестрого, чаще пороли с серьезом и отправляли в ссылку, нежели в тюрьму, оправдывая воровство национальной русской чертой: мол, слаб русский до чужого, особенно когда этим чужим приходится заведовать... Но с приходом капитана Ренатова в дивизион Блуянова воровство в интендантстве пошло на убыль, а впоследствии и вовсе извелось, так как Ренатов был честен, хорошо вел учет и спуску вороватым не давал... К концу седьмого года службы в интендантстве лично сам Блуянов наградил капитана Ренатова медалью, расцеловал его троекратно и поблагодарил за упасение имущества русской армии, а через месяц так же собственноручно подписал приказ о демобилизации Ренатова, поясняя тем, что время мирное, войны не предвидится, мужского населения прибывает, а потому сорокашестилетний капитан может отдыхать на пенсии хоть до смерти, если ему заблагорассудится...

Ренатов объяснял свою отставку очень просто: нужно было освободить кому-то место — тому, кто засунет руки по локоть в армейскую казну и будет кормить как генерала Блуянова, так и весь его штаб. Впрочем, Ренатов не судил Блуянова строго, оправдывая его той же национальной чертой; к своей службе относился равнодушно, хоть и исполнительно, а потому без недовольства ушел на пенсию, чтобы быть поближе к Евдокии Андревне, своей законной жене, и жить простым гражданином отечества на краю старинного русского городка Чанчжоз.

Солнце неизбежно клонилось к закату, окатывая пригорок багрянцем, а Ренатов, не меняя позы, оглядывал в бинокль окрестности и вяло размышлял о приближающейся старости.

Ведь нет в ней ничего такого уж страшного, размышлял отставной капитан. Если ты здоров, если под боком у тебя Евдокия Андревна, пухлая и приятно пахнущая, если есть двухведерный самовар, в боках которого неизменно полощется закат, то и старость не пугает... Да и сорок восемь лет — не старость. Сорок восемь лет — это даже еще совсем средний возраст для мужчины, еще мышцы не совсем одрябли, нет холода в костях по вечерам, лишь желудок потягивает к ночи от избытка жирной пищи... Еще лет тридцать поживу, прикинул Ренатов.

Зазвонили колокола чанчжозейского храма, и Семен Ильич достал из кармана жилетки часы с музыкой, найденные им позапрошлым летом возле корейской чайной, рядом с дымящей сигарами урной. Мысли о старости ушли от него так же легко, как и посетили, растворились в желудочном соке — Ренатов с наслаждением подумал об ужине.

Он смотрел в бинокль на далекий Гуськовский лес и живо представлял себе холодные ломтики вчерашнего гуся на закуску — с тонким слоем сладкого жира, загустевшего на хрустящей корочке яблочным вкусом; представлял звонкий грибочек, умело засоленный

Дусей, — как он отмыто поскрипывает на зубах после граненой рюмки барбарисовой; затем крутые щи с бараньей косточкой, из которой так трудно, но так занимательно высасывать и выковыривать мозг; после жареное вымя с картошкой, томленной в шкварках в самом жарком месте печи, и напоследок ядреного кваса две кружки — до отрыжки и икоты, до свербения в носу...

Мысли Семена Ильича об ужине прервались чем-то неясным, увиденным в бинокль. Ренатов никак не мог сообразить, что там происходит возле Гуськовского леса. Вроде как дым по всему горизонту поднимается к небу. Уж не пожар ли в Гуськовском лесу? Осень сухая, может выгореть лес... Или все-таки это пыль, хотя откуда ей взяться... Это неясное почему-то взволновало Семена Ильича, забеспокоило, хотя какое ему было дело до пожара за десяток километров в чужом лесу или облака пыли, если это, конечно, не смерч, хотя о смерчах в этих краях никто не слыхивал. Но катаклизмы всякие случаются в этом мире, справедливо подумал капитан Ренатов и навел в окулярах резкость получше. Вскоре он понял, что это все-таки не пожар, так как темная туча перекинулась на „климовское“ поле и с какой-то удивительной и завораживающей быстротой приближается... Километров этак пять в поперечнике, прикинул Ренатов... Что же это все же такое, размышлял он, чувствуя, как желудок окатывает неприятным холодком.

— Евдокия Андревна! — как-то неуверенно позвал отставник. — А Евдокия Андревна!.. Слышь?..

Но жена не услышала мужниного призыва, и Семен Ильич решил выяснить до конца природу непонятного явления, а для этого ему оставалось лишь наблюдать в цейсовские стекла нарастающую тучу.

А туча между тем приближалась быстро. Как-то резко потемнело на небесах, воздух стал влажным и тягучим, что-то потрескивало в природе и казалось, вот-вот надломится.

„Да это кто-то бежит, — осенило Семена Ильича. —

Коровы, что ли, спасаются от пожара?.. Хотя дымом не пахнет, да и откуда такое количество коров в Гуськовском лесу... Тьфу ты, глупость какая!..“

Было уже достаточно темно, чтобы лучше и легко разглядеть явление, но Семен Ильич, вдавив окуляры в глаза, с необъяснимым ужасом понимал, что происходит нечто сверхъестественное, недоступное его пониманию, о чем никто не слыхивал и не видывал сроду... Неожиданно в небесах вспыхнуло молнией, наконец-то в природе надломилось, и взору Семена Ильича представило зрелище поистине необычайное, способное и в душу просвещенного внести смуту. По „климовскому“ полю, по всему его поперечнику, настолько, на сколько хватало взора, усиленного биноклем, в полнейшей тишине мчались куры...

— Господи! — воскликнул капитан Ренатов. — Да их... Их... миллионы!..

Другие очевидцы нашествия после рассказывали, что самое жуткое, самое страшное в этом набеге было то, что куры мчались молча, не издавая ни единого звука. В их беге все до единого отмечали огромный порыв, великое стремление к быстрому бегу в ночи. В этом беге в ночи на „климовском“ поле были задавлены десятки тысяч кур, белых и пестрых, черных и рябых. Те, кто не мог бежать быстро, затапывались напирющими сзади, такое было стремление. Птичьи тела в мгновение ока разрывались когтями наседавших, лилась на непанханую землю черная кровь...

В течение месяца после нашествия над полем стоял густой смяд, кружилось и летало перо и слышался ногами жуткий волчий вой.

Капитан Ренатов погиб через четверть часа после того, как уразумел, что происходит. Он рассчитывал, что куры не смогут перемахнуть через реку, но, к его удивлению, тысячи птиц, захлебываясь в бурлящей воде, послужили живой дамбой для напирющих сзади миллионов.

„Господи, — подумал перед смертью Семен Ильич. — Ведь среди них нет петухов. Ни одного!.. Одни куры!..“

Тело капитана Ренатова в одно мгновение было разодрано на тысячи частей, его крепкий дом обрушился под откос всеми своими белыми стенами, лишь Евдокия Андревна счастливо спаслась, будучи во время нашествия в погребе. Впоследствии она нашла в песке армейский сапог, сплошь окровавленный и разодранный, и долго плакала над ним.

Куры разрушили всю юго-западную часть городских окрестностей, но чудо — погибли всего лишь два человека: незадачливый капитан Ренатов да пьянчуга Шустов, заснувший на „климовском“ поле.

Лишь только куры добрались до центра города, как они тут же успокоились, остановив свой великий бег, и принялись что-то клевать с городских улиц, одним только им ведомое.

Итак, восемнадцатого сентября в старинный русский город со странным, не имеющим перевода названием — Чанчжоз вошли куры. И были жертвы.

Генрих Шаллер, русский полковник, проснулся ранним утром от очень серьезной мысли. Мысль была настолько серьезной, что Шаллер не открывал глаз и боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть ее. Он так разволновался, что слегка вспотел и чувствовал, как пододеяльник липнет к спине, а из-под мышц стекают капли. То, что Генрих Шаллер вспотел, еще раз доказывало ему самому, что мысль неординарная, достойная глубокого обдумывания.

Третьего дня, вечером, сидя на веранде, он прочел в книжке про Индию такую фразу: „Каждый член ищет свое влагалище“. Поначалу эта фраза вогнала русского полковника в краску и смущение. Фраза выглядела очень порнографичной. Примерно такие он встречал в бульварной газетенке „Бюст и ноги“, издаваемой поручиком Чикиным на собственные деньги в маленькой типографии на окраине Чанчжоз... Но книжка про Индию была написана профессором Гамбургского университета, доктором истории, и заподозрить столь ученого мужа в насаждении порнографии было бы по крайней мере неосторожно. Тем более профессор далее писал, что фраза взята из первоисточника и рождена была неизвестным задолго до Рождества Христова. Взвесив все факты, Генрих Шаллер попытался отыскать в этой фразе поэтическое начало.

Не стоит размышлять привычными образами, думал полковник вечером, следя за передвижениями осенних листьев, прилипших к окнам веранды. Шел мелкий дождь, и думалось хорошо.

Ведь что такое привычный строй мыслей? Это система подхода к задаче с позиций, заложенных в младенчестве. Если я знаю, что такое Добро, то противоположным ему будет — Зло. Это и есть привычное построение мысли. Но если предположить, что существует другая точка отсчета в понятиях о Добре и Зле, полярная привычной, то получится, что Добро есть Зло, а Зло — Добро.

Шаллер еще некоторое время над этим подумал, отмечая, что осенние листья проделали путь от верха стекла до подоконника. Его охватило легкое раздражение, он решил, что его выкладка о Добре и Зле есть чушь и при чем тут индийская фраза: „Каждый член ищет свое влагиалище“? Какая связь этой фразы с Добром и Злом? Никакой, вынужден был констатировать Генрих, и от неудачной попытки родить мысль неординарную ему стало муторно и подумалось, что он проживает никчемную жизнь. В тот вечер Генрих Шаллер лег спать расстроенным.

Генриха Шаллера можно было бы назвать натурой мыслящей. Он всегда пытался думать о том, о чем, казалось, никто не думает. Где-то в глубине души Генрих понимал, что это вовсе не так, но тешил себя тем, что строй его мыслей над известными понятиями неординарен. Он никогда не записывал своих интеллектуальных выкладок, лишь порой делился ими с женщинами, а потому не мог убедиться в том, что они действительно неординарны. Большинство женщин высоко ценили ум полковника, но сам Шаллер относился к возможностям женского ума скептически, и похвалы слабого пола были ему приятны, но не являлись подтверждением его выдающихся способностей... С мужчинами полковник не разговаривал на отвлеченные темы: вокруг все были военными либо богатыми. Военные творческим умом не располагают, а богатые не понимают философов — в этом Шаллер был уверен окончательно.

Полковник Шаллер надеялся, что когда-нибудь с ним произойдет что-то сверхъестественное. Если он сформулирует нечто сродни Истине, то это сверхъесте-

ственное даст ему знать о том, что он прикоснулся к еще не изведанному простым человеком. Может быть, воздух тогда сгустится и откроется космическая дверь, забирая в глубины Вселенной Генриха, как существо, ушедшее в своей мысли далеко от человечества, а оттого переставшее быть ему нужным. Может быть, упадет с неба луч и взъерошит волосы, поощряя уверенностью, что после смерти будет жизнь, совсем другая, не сформированная, но та, в которой ему отведено место достойное, эквивалентное открытию Истины...

Генрих Шаллер понимал, что все эти мечты похожи на детские грезы, что они, мягко говоря, неразумны для сорокапятилетнего полковника, но эти фантазии ему все же нравились, и он подспудно ждал чудесного, той космической дверки или животворящего луча, как ученик ждет похвалы учителя.

Вот и в это утро полковник ждал чуда, так как то, что он обдумывал и к чему подбирался в гипотезе, казалось ему грандиозным. Он еще крепче закрыл глаза.

Лишь только его просыпающееся сознание столкнулось с новым утром, как в мозгу снова всплыла фраза: „Каждый член ищет свое влагалище“. И мозг незамедлительно начал работу.

Если предположить, что член не есть физиологический предмет в медицинском толковании этого слова, а является он энергетической субстанцией космоса, размышлял Шаллер, то, вероятно, можно предположить, что существует и космическое влагалище со своим энергетическим зарядом. Что из этого следует? А то, что, вполне вероятно, космическое пространство оплодотворяется подобно человеку, вернее, человек подобно пространству... Вследствие чего происходят вселенские роды... Родятся галактики... Могло бы произойти чудо — и человек, женщина, в ночи родит галактику...

Мысль скакнула поэтическим образом.

Адам был создан Богом как орудие зачатия новых галактик отнюдь не человеком, как толкует церковь, а божеством. Но то ли Господь что-то передумал, то ли ре-

шил позабавиться своим всесилием и породил парадокс, создав из ребра первенца искусственное чрево в образе Евы, из которого никогда не родится космическое пространство, а лишь такие же бесчисленные орудия и неутоленные чрева... Бедный Мужчина! Он способен родить бесконечный мир, а вынужден плодить мучеников из-за чьих-то шуток.

Полковник почувствовал, как капля пота скользнула из-под мышки и потекла по животу.

Поэтому член всегда неудовлетворен, потому что он не может зачать галактику. Он мечется в поисках утробы, а это все не то, не та утроба, родятся другие ему подобные, и мужские потомки вслед за родителем тоже мечутся, безуспешно растрачивая драгоценную энергию...

Женщина — это Ложное Влагалище, не способное родить Вселенной, заключил Генрих Шаллер. Поэтому каждый член ищет свое влагалище. Истинное Влагалище.

Тело полковника замерло, его сковало судорогой от такого неожиданного вывода. Пуховое одеяло показалось ему тяжелым, словно крышка гроба. Он еще долго не шевелился, не открывал глаз, все более уверяясь в силе своего гипотетического заключения.

„Можно и умереть за такой вывод, — подумал он. — Лишь бы убедиться в его правильности“.

Генрих Шаллер резко открыл глаза и посмотрел сквозь окно на небо. Небо было Лазорихиевым. По всему пространству от края до края неслись кровавые облака-сгустки, завихряясь в какие-то желтушные пятна. Было отчетливо видно, как в высоте сражаются встречные ветра, сбивая облака в кучи, затем разгоняя их мощным дуновением для новых столкновений. Полковник испугался. Его тело затрясло, словно в сенной лихорадке. Это был знак. Знак Вселенной. Само небо своей лазорихиевой красотой подтверждало правильность его вывода.

Шаллер отбросил душившее одеяло, выскочил из постели, рванул на себя створки окон, впуская ветер, и протяжно закричал:

— Лазорихиево небо-о-о!.. Возьми меня-я-я!..

Небо ответило раскатами грома, накатило в окно прохладой, и в комнате полковника запахло электричеством.

— Я же понял! — продолжал кричать Шаллер. — Я прикоснулся!.. Возьми-и меня-я!..

Пошел косой дождь, забрасывая лицо и грудь просителя ледяными брызгами, а он все стоял, дыша полной грудью, и смотрел ошалевшими глазами на израненное небо в ожидании чуда... Прошли минуты.

Полковнику стало холодно. Свежий ветер высушил от пота его тело, а дождик смыл липкость. Генриху захотелось завтракать, и он, закрыв окно, прошел в кухню. Стал есть душистую белую булку с грушевым вареньем, запивая бутерброд холодным молоком. Он оглядывал двухпудовые гири, стоящие в углу, и думал, что сегодня не выжмет их и сорока раз. Обычно ему это удавалось запросто.

„Ах ты, черт, — думал он. — Ведь было же Лазорихиево небо. Ведь не случайно же оно выскочило именно сегодня, когда так хорошо думалось. Ведь не просто же так страдал святой Лазорихий, что в память о нем небо пылает кровью. Странно все это...“

Генрих Шаллер намазал второй кусок хлеба вареньем и загрустил по мужчинам, путающим желание зачать великое с неудовлетворенным сексуальным чувством... Надо бы опубликовать свои мысли с разъяснениями, подумал он, но тут же испугался, что его обвинят в насаждении порнографии или на худой конец посоветуют обратиться к психиатру. Хотя нет, один человек с удовольствием опубликует — поручик Чикин в „Бюсте и ногах“ — и заплатит по рублю за строчку.

От образа неприличной газеты Генрих Шаллер почувствовал легкое возбуждение. Мысль перекинулась на Лизочку Минову, пригласившую его сегодня вечером к себе в гости. Будет много замечательных людей, может быть, заглянет и губернатор Контата с членами городского совета... И Лизочкины подруги, такие свежие,

с умытыми личиками, с детскими улыбками и хорошенькими фигурками... Так будет на них приятно смотреть... А Лизочка... А с Лизочкой, когда все разойдутся... зачну галактику, подумал Генрих и громко рассмехался. Какая все чушь, какие мысли глупые от скуки приходят. Он посмотрел на небо, вдруг заголубевшее в своем просторе, и почувствовал, как хорошее настроение входит в него полновесно, расправляя недоуменную душу.

Генрих Шаллер познакомился с Лизочкой Мировой в позапрошлом году в сентябре на опушке Гуськовского леса, ровно через три года после нашествия кур. Полковник никогда бы не стал заводить тайных, порочащих честь знакомств, если бы его жена Елена Белецкая не начала писать свой нескончаемый роман.

Лизочка была очаровательна в простеньком ситцевом платье с оборочками вокруг шеи. Впрочем, платье выгодно подчеркивало приятные особенности ее молодого тела, и Генрих Шаллер, держа на локте корзинку с двумя грибами на дне, с удовольствием разглядывал девушку.

— Вы не боитесь прогуливаться по Гуськовскому лесу одна? — спросил он. — Ведь о нем ходит дурная слава. Ужасная, тайная слава.

— Вот еще глупости, — ответила Лизочка, приветливо улыбнувшись. — Знаете, как много здесь грибов? — И показала свою корзинку, доверху наполненную подосиновыми. — А у вас негусто. Хотите, подброшу по добrote душевной?

— Да вы удачливая охотница! — с преувеличенным удивлением воскликнул Генрих Шаллер и запустил руку в Лизочкину корзину, перебирая крепенькие грибки. — Ишь ты какие! Как на подбор!.. Мясистые!.. Генрих Шаллер, полковник.

— Лизочка Мирова! — протянула ладошку девушка и тут же спохватилась: — Ой!.. Лиза... Елизавета Мстиславовна Мирова.

— Генрих Иванович Шаллер, — улыбался полковник, пожимая мягкую девичью ладошку.

— Почему вы улыбаетесь?

— Наверное, потому, что сегодня замечательный осенний день. Светит солнце. Вы, случаем, не дочка действительного статского советника Борис Борисыча Мировая?

— Племянница.

— Как прелестно.

— Почему это?

— Что?

— Почему прелестно?

— Потому что у Борис Борисыча такая прелестная племянница, — ответил Генрих Иванович.

Лизочка пошла по дороге к городу, благосклонно позволяя полковнику следовать за ней.

— Разрешите, я возьму вашу корзинку, — предложил Шаллер.

— Возьмите.

При передаче корзинки Генрих Иванович случайно коснулся бедра девушки и увидел, как щеки Лизочки мгновенно зарумянились.

Да она совсем еще юная, подумал он и залюбовался этими щечками, этим слегка вздернутым носиком и нежными прядками на висках.

— А вы не тот ли полковник, который вовсе не полковник? — бойко спросила Лизочка, пытаясь совладать со смущением, и пояснила: — Не вы ли спасли сына губернатора от лютой смерти, из рук мучителей?

— Я тот полковник, — ответил Генрих Иванович. — И Алексея Ерофеича я действительно спас, за что и получил из рук его сиятельства полковничьи погоны.

— А правда ли, что Алексея Ерофеича хотели разрезать на кусочки?

— Правда.

— И вам не было страшно?

— Было.

Лизочка на минуту замолчала, над чем-то раздумывая.

— Но ведь вас тоже могли лишить жизни! — произнесла она с каким-то тайным ужасом. — Я бы, наверное, не смогла кого-то спасти.

— Это были просто пьяные разбойники, в которых ничего не осталось человеческого. Со зверем справиться легко, а вот с человеком мыслящим, хитрым, сильным физически — не просто. В том случае я имел дело с животными, и, как видите, Алексей Ерофеевич жив и здоров.

Генрих Иванович перешагнул через канавку и подал Лизочке руку. Она легко перешагнула и пошла следом.

„Какие у него сильные ноги“, — подумала девушка.

Полковник Шаллер был одет в старые галифе и тяжелые сапоги. При ходьбе могучие ляжки слегка терлись друг о дружку, а сапоги поскрипывали.

„Вероятно, он поднимает тяжести, — продолжала думать Лизочка. — Он атлет, хоть ему, по всей видимости, за сорок. Все-таки есть во взрослых мужчинах что-то привлекательное. Какая-то сила от них исходит, физическая и умственная“.

Лизочка была знакома со многими молодыми людьми Чанчжоз. Она мельком перебрала их лица в уме, но вынуждена была констатировать, что ни один из них не излучал такой мужской силы и уверенности, как идущий впереди случайный знакомец.

— Ведь вы же никогда не были военным, — сказала она.

— И что же?

— Зачем вам полковничьи погоны?

— Знаете, приятно, когда оценивают твой поступок военным званием, — ответил Генрих Иванович. — Обратно, я не дворянин, а из разночинцев, и чин мне помогает в общении с разными сословиями. Мне нравится быть военным и не служить. Нравится ходить в мундире и отдавать честь таким прелестным девушкам, как вы.

Лизочка улыбнулась, показывая ровные зубки и кончик языка.

— Ну что ж, надевайте сегодня мундир и приходите в гости. Будет грибная икра из сегодняшнего урожая.

— И только лишь?

— А там видно будет, — сказала Лизочка и снова заделась; так как фраза получилась двусмысленной.

Они вышли на окраину города, и Лизочка замахала рукой таксеру. Подъехал новенький тарахтящий „драблер“, и девушка забралась в кабину с плюшевыми сиденьями, установив корзинку с грибами на коленях.

— Придете? — спросила она через окошко.

— Непременно, — пообещал Генрих Иванович и еще некоторое время смотрел на отъезжающий автомобиль.

Он стал часто бывать у Лизочки. Ему как-то ловко удалось оттеснить молодых поклонников своей неторопливостью, умными, непривычными для ушек девушки речами. И в один из вечеров, когда все гости разошлись и они остались одни, произошло то, чего так боится и так ждет каждая молодая особа, достигшая определенных лет.

На узкой, девичьей постели Лизочка незаметно потеряла невинность и уже через несколько минут, закутанная в большое мохнатое полотенце, справившись с дрожью в теле, деловито говорила о предстоящей женитьбе.

— Так я же женат, — вспомнил полковник.

Это известие Лизочка перенесла стойчески. Она полчаса молчала, не шевелясь, а потом еще раз отдалась Генриху Ивановичу, причем владела инициативой и неожиданно проявила способности, удивившие Шаллера.

Полковник рассказал девушке о своей жене, Елене Белецкой, которая вот уже несколько месяцев не отрываясь пишет роман.

Больше Лизочка никогда не заговаривала о женитьбе.

Всю последующую неделю после нашествия город будоражило и трясло как в лихорадке. То тут, то там то и дело возникали стихийные сборища, крикливо обсуждающие произошедшее. Часть населения, особенно бедная и голодная, ничего не обсуждала, носилась по городу, ловя кур, сворачивая им шеи, колотя по их головам палками, стреляя из рогаток и самопалов. Повсюду дымили костры, на которых запекали и жарили куриные тушки, наспех ошипанные, а оттого воняло в воздухе паленой плотью. В общем, в городе стоял отчаянный бедлам, город обжирался и гадал о смысле произошедшего.

Газеты, утренние и вечерние, пытались толковать событие на все лады. Еженедельник „Курьер“ напечатал передовицу под названием „Кара“. Смысл статьи заключался в том, что нашествие кур есть не что иное, как кара небесная, предвестие прихода сатаны, и категорический совет — не жрать кур, так как это отнюдь не способствует хорошему пищеварению: мол, в куриной коже содержится большое количество холестерина, развивающего сердечную болезнь, а от этого страдает желудок... Газета „Флюгер“ опубликовала статью известного в городе физика Гоголя, где тот успешно доказывал, что город Чанчжоз находится в центре сильного магнитного поля. Восемнадцатого же сентября в природе как раз отмечалось сильнейшее магнитное возмущение, а куры, как известно, самые чувствительные ко всем силовым полям птицы, и поэтому их неудержимо

согнало со всей округи именно в город Чанчжоэ. Был сделан официальный запрос по округам: не исчезли ли у вас таинственным путем все куры в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое?.. Округа не замедлили с ответом и прислали телеграммы, в которых говорилось примерно так: „Куры на месте тчк. ничего таинственного не случилось тчк. почему спрашиваете тчк. не шутка ли тчк.“.

После такого ответа физик Гоголь больше не выдвигал успешных теорий и попросту опустил руки.

Все религиозные объединения — от буддийских до православных, не усматривали в нашествии кур ровным счетом ничего хорошего, но от конкретных объяснений пока воздерживались, ожидая официального заявления властей.

На шестой день после прибытия кур губернатор города Чанчжоэ его сиятельство Ерофей Контата собрал у себя городской совет. Он поочередно пожал руки г-ну Мясникову, г-ну Туманяну, г-ну Бакстеру, г-ну Персику и митрополиту Ловохишвили. Был подан в серебряных чашках ароматный чилийский кофе и сандвичи с тонко нарезанной курятиной. Митрополит Ловохишвили принес с собой сетку синих яблок, выращенных в монастыре и напоминающих по вкусу землянику. Яблоки были выложены на большое китайское блюдо, расписанное эротическими сценками.

Ерофей Контата стоял возле окна и держался левой рукой за край тяжелой зеленой гардины. Он слегка склонил кудрявую голову к плечу, чуть отставил в сторону ногу в лайковом ботинке, отчего его поза приняла вид государственного деятеля в раздумье. Так прошла минута, озвученная цоканьем чашек о блюдца и пережевываньем бутербродов.

— Ну-с, господин Мясников. — Его сиятельство Ерофей Контата оторвался от гардины и повернул голову к человеку с татарским разрезом глаз. — Вы, кажется, в прошлом естествоиспытатель, не правда ли?.. Следовательно, вам и начинать!.. Что же, по-вашему, происходит?

Губернатор прошел к столу, сел в кресло по-солдатски, с прямой спиной, закурил индийскую сигаретку, скатанную прямо из табачных листьев, и оборотил свой взгляд к г-ну Мясникову. Тот, не отставляя чашки, недоуменно пожал плечами и сказал:

— Понятия не имею, что происходит. Гадать в такой ситуации мне кажется неразумным.

После этой фразы г-н Мясников замолчал, и присутствующие еще раз убедились в том, что он недолюбливает губернатора Контата. Все знали, что Контата и Мясников учились в городской гимназии и как-то в выпускном классе шестнадцатилетний Ерофей жестоко избил однокашника Кирилла (имя Мясникова) за какую-то гадость. С тех пор минуло сорок лет, но неприязненные отношения сохранились.

— На мой взгляд, — заговорил митрополит Ловохишвили ровным и хорошо поставленным голосом, — на мой взгляд, не самое главное определить причину происходящего, а главное в том, каково будет следствие этой причины.

Все присутствующие посмотрели на руки митрополита, пальцы которых щелкали бусинами четок. Щелк длинным отполированным ногтем... Щелк!..

Чашка с кофе перед митрополитом стояла нетронутой. Кофе уже не дымился, и пенка на нем растаяла.

— Если человек лишил жизни другого, — продолжал Ловохишвили, — то нужно знать причину душегубства для того, чтобы повесить убийцу или смягчить ему наказание. Куда сложнее следствие убийства. Сироты, вдова, смятение душ...

Митрополит уронил четки на толстый ковер и наклонился за ними, бряцая крестом о массивный подсвечник с львиными лапами.

Возникла тягучая пауза, и было видно, что губернатор Контата раздражен. Он шевелил кожей на голове, отчего кудряшки перманента потрясывались.

Наконец митрополит поднял с пола четки, но продолжать свою мысль не собирался вовсе.

— Ну-с, господа! В конце концов так нельзя, в самом деле! — не выдержал скотопромышленник Туманян. Он взмахнул копной черных как смоль, длинных, как конская грива, волос и сверкнул очень красивыми глазами. Г-н Туманян был самым молодым членом городского совета, а потому часто распалялся. — В конце концов мы городской совет! Давайте говорить без обвиняков, безо всякого там аллегорического смысла с потугой на философию!.. Никаких убийств нету, нет сирот и вдов! В городе куры, миллионы кур!..

Митрополит Ловохишвили обиделся:

— Мы должны дать населению ясный ответ, что происходит!

— А мне кажется, я понял аллегорию митрополита, — сказал г-н Персик, поднимаясь со своего кресла. — Смысл крайне прост: факт произошел, и если наука не может дать исчерпывающего ответа на произошедшее, то мы должны просто озаботиться следствием, а именно: что делать с таким количеством кур?

Митрополит Ловохишвили с благодарностью посмотрел на г-на Персика.

— Плохо или хорошо, что в городе сосредоточилось такое количество кур?! — продолжал с каким-то нервным воодушевлением г-н Персик, обращаясь сразу ко всем. — А что, Господи Боже мой, страшного произошло?! Ну, куры в городе, ну, много их...

— Не много, а миллионы, — встрял г-н Бакстер.

— Прошу не перебивать меня! — взвизгнул Персик.

— Действительно, — поддержал в свою очередь оратора Ловохишвили. — Какое-то неуважение. Странное дело, когда что-нибудь сказать нужно, вас, уважаемый, не слышно и не видно... А перебить, так сказать, сбить оратора с мысли — вы всегда тут как тут! Нам всем сейчас нелегко... Удивительно, какая бесцеремонность!..

— Что вы имели в виду? — Бакстер угрожающе посмотрел на митрополита, краснея толстой шеей.

— Вы прекрасно понимаете что! — не испугался митрополит и звучно щелкнул четками.

— Господа, господа!.. — В голосе губернатора отчетливо слышалось недовольство. — Оставьте наконец свои стычки! Давайте решать дело, а уже после бить друг другу морды!.. Тем более, господин Бакстер, я не сомневаюсь в исходе кулачного боя между вами и митрополитом. В митрополите как-никак два центнера...

После слов губернатора митрополит Ловохишвили совсем расслабился, а г-н Бакстер еще более покраснел, но сделал вид, что ему на все плевать, и стал смотреть в окно. Г-н Бакстер был небольшого роста, с толстым пельменным телом и физической мощью не отличался. Зато его отличало сказочное состояние.

— Продолжайте, г-н Персик. — Губернатор сделал приглашающий жест рукой и сверкнул совершенным изумрудом в изящном перстне.

— Итак, — собрался с мыслями г-н Персик, — а что, собственно говоря, плохого в том, что в городе миллионы кур? Я вас спрашиваю! — Он с вызовом оглядел присутствующих. — И заявляю — ничего!.. Даже больше того скажу: это хорошо, это замечательное явление. Наконец-то в городе достаточное количество мяса. Наконец-то все будут сыты и перестанут бросать камни в огород городского совета!.. Господа, вы подумайте, какие перспективы перед нашим городом открываются. Вы только вдумайтесь — миллионы кур!.. Да мы построим мясоперерабатывающий завод, будем производить куриную колбасу и всякие там котлеты и пироги... Да что там пироги!.. Мы откроем консервный завод и будем экспортировать куриное мясо по городам и весям... А пух? А перо? Подушки, перины, всякое там... — он запнулся, — прикладное искусство... Да это же сказочное пополнение нашего бюджета... Миллиарды яиц в месяц!.. Вдумайтесь в эту цифру, господа! По гривеннику за дюжину! — Г-н Персик запыхался и переводил дух.

— А что, в этом что-то есть, — задумался Ерофей Контата.

— Сто миллионов рублей за миллиард яиц, — изрек г-н Бакстер, сразу забыв про все обиды. — Я вкладываюсь в предприятие. Миллион.

— Я тоже вхожу в дело миллионом, — заявил скотопромышленник Туманян. В его красивых армянских глазах взошло южное солнце.

— Считайте и меня компаньоном, — подал голос г-н Мясников.

— Часть дивидендов прошу зарезервировать на реставрацию Плюхова монастыря и на поддержание жизненного уровня двадцати пяти монахов. — Митрополит Ловохишвили взялся обеими руками за крест и перекрестил всех собравшихся с особым воодушевлением.

— Я тоже вхожу в дело, — гордо объявил г-н Персик, отдышавшись.

— Позвольте спросить, чем? — Губернатор еще раз продемонстрировал собравшимся сияние изумруда и суровый взгляд своих глаз.

— Как чем? — растерялся г-н Персик. — Что вы имеете в виду?

— Какие средства вы собираетесь вложить в предприятие?

Все прекрасно знали, что г-н Персик был бедным инженером, средств у него не было и попал он в городской совет лишь благодаря настояниям мещанского собрания. Теперь г-н Персик стоял столбиком и растерянно хлопал глазами.

— В предприятие он войдет интеллектуальной собственностью, — заявил митрополит. — Все-таки это его идея как-никак. С этим нужно считаться.

— Один процент, — резюмировал г-н Бакстер. — А реставрацию монастыря проведем, как и запланировано, через три года. На то и жизнь монашеская, чтобы терпеть лишения.

— Позвольте!.. — возмутился Ловохишвили.

— Я согласен на один процент, — сказал г-н Персик и сел, не глядя на митрополита.

— Позвольте! — повторил митрополит.

— С вами позже, — прервал губернатор. — Не волнуйтесь, отец, вас не оставят и без вас не обойдутся.

— Я думаю, мнение церкви в этой ситуации отнюдь не маловажно. Может возникнуть молва, что предприятие не богоугодно, а народ наш религиозен, горяч не в меру, мало ли что случится со строительством...

— Один процент, — отчеканил Бакстер. — За шантаж.

— Семь.

— Хватили, святой отец! — возмутился г-н Мясников и сощурил свои татарские глаза. — Я деньги вкладываю, а вы лишь мнение создаете! Эка наглость! Что за люди нас окружают!..

— Два процента.

— Не надо со мной торговаться, уважаемый господин Бакстер, — с достоинством произнес митрополит. — Все равно не уступлю. Пять процентов.

Разговор членов городского совета длился не менее трех часов. В конце концов члены совета пришли к единому мнению, что нашествие кур не столь уж плохое дело, и даже наоборот: как оказывается, чрезвычайно выгодное, и все поймут на этом желаемое. На каждого члена совета были возложены различные обязанности. Господа Мясников, Бакстер, Туманян — непосредственно занимаются налаживанием производства, г-н Персик выполняет надзор за мнением мещанского собрания, митрополит Ловохишвили отвечает за общественную молву о подарке Господнем верующим, а губернатор Контата возглавляет все предприятие, как и положено первому лицу города.

На следующий день после заседания городского совета г-н Персик отбыл из Чанчжоэ в город, близкий к столице, где встретился с г-ном Климовым. Состоялась серьезная и деловая беседа, в ходе которой была решена судьба „климовского“ поля. Г-н Климов хоть и был очень стар, но хватки в делах не утерять, а оттого цену

выторговал несколько большую, чем предполагали партнеры.

Имея в кармане неожиданно вздорожавшую купчую на поле, г-н Персик от некоторого расстройства посетил неприличное заведение города, где всю ночь пил с проститутками игривое шампанское, отчего сам не в меру разыгрался и удивил неказистую проститутку Фреду чрезмерной щедростью, так и не воспользовавшись услугами служительницы любви. Напоследок г-н Персик пьяно похвалился, что в ближайшее время будет обладать хорошеньким состоянием, пообещал Фреде забрать ее на содержание, потом почему-то заплакал, да так в слезах и укатил обратно в Чанчжоз.

Через месяц на огороженном высоким забором „климовском“ поле началось строительство, где наряду с приглашенными рабочими трудились не покладая рук и двадцать пять монахов из Плюхова монастыря под присмотром личного поверенного главы церкви отца Гаврона.

Всем жителям города и его окрестностей с величайшего соизволения его сиятельства губернатора Ерофея Контаты и благословения его святейшества митрополита Ловохишвили было позволено забрать на свои подворья по двадцать куриных голов на душу населения. Народ прочувствовал милость высокостоящих и отблагодарил власти бурными выражениями солидарности.

К счастью, на частных подворьях водились петухи, чьих сил с избытком хватало на покрытие неожиданно утроившихся гаремов. Вследствие этого куры обильно занесли и вылуплялись цыплята, в свою очередь вырастающие в кур и петухов.

Предприимчивые чанчжозэицы коптили кур, вымачивали их в уксусе, обливали утиными яйцами и жарили, вертели колбасы и закручивали рулеты. Шили пуховые и перьевые подушки, а также вязали веера и всю эту продукцию тащили на городской рынок. Безусловно, вследствие этого родилась великая конкуренция, и через каких-то полгода в Чанчжоз попросту стало не-

возможно продать ничего, что было связано с куриным производством. Самых горожан лишь от одного куриного вида и запаха выворачивало наизнанку предродовыми спазмами. Весь город провонял куриным мясом, даже в храме пахло не ладаном, а жирной курятиной.

Конкуренция на внутреннем рынке родила жажду экспорта, и жители Чанчжоз стали разбредаться по городам и губерниям со своими товарами. В этом члены городского совета усмотрели серьезную опасность своему предприятию, готовящемуся к запуску, а потому не замедлил с выходом указ о запрещении экспорта курятины в любом ее виде. Чанчжозйцы загрустили от такой жесткой меры, но делать было нечего, указ есть указ, и через незначительное время излишек кур за ненадобностью был выпущен с подворьев на все четыре стороны. Куры слегка одичали и стаями бродили по городу в поисках пропитания, размножаясь в геометрической прогрессии... Тем временем предприятие членов городского совета вышло на запланированную мощность, вскоре окупилось и стало приносить огромные дивиденды, так как сырье было абсолютно дармовое.

Вследствие приличных отчислений в бюджет от прибыли куриного производства город богател на глазах. Были открыты дома для престарелых, бесплатные ночлежки для бедняков, в которых ежедневно менялось постельное белье и было трехразовое питание, правда, надо заметить, сплошь из куриных блюд; был в кратчайшие сроки выстроен интернат для детей-сирот на шестьдесят человек, которому было дадено собственное имя, звучавшее так: „Интернат для детей-сирот имени Графа Оплаксына, павшего в боях за собственную совесть“.

Каждый житель города до двадцати пяти лет имел право получить высшее образование на средства города в любом российском университете. Но таковых в городе Чанчжоз за пять лет после нашествия оказалось всего два человека... Город жил размеренной жизнью, даже сквозь окна домов сквозили сытость и праздничная лень...

О гибели пьяницы Шустова и безызвестной смерти капитана Ренатова никто и никогда не вспоминал, лишь только Евдокия Андревна изредка доставала из сундука армейский сапог мужа и грустно плакала над ним.

А как-то ночью учитель словесности Интерната для детей-сирот имени Графа Оплаксона, павшего в боях за собственную совесть, г-н Теплый, известный как дешифровальщик всяких законспирированных надписей, сидя за письменным столом, при свете тусклого ночника раскрыл тайну перевода названия города Чанчжоэ. КУРИНЫИ ГОРОД — гласила расшифровка. Как это удалось г-ну Теплому, никому не известно.

Елена Белецкая была полной противоположностью Лизочке. Во-первых, Генрих Шаллер был женат на ней уже двадцать два года, и такой почтенный срок для брака отнюдь не омолаживает женщину. Тем более что душа Елены тяготела к феминизму: на свою внешность ей было наплевать, она ходила простоволосая, лишь изредка затягивая волосы на затылке в пучок. Про всякие пудры и румяна Белецкая забыла на второй год супружества. Лицо ее было бледным, с редкими веснушками, в общем, лицо какой-нибудь прибалтийской немки.

Отец Белецкой был богатым коннозаводчиком и всю свою жизнь разводил крайне редкую и дорогую породу лошадей — крейцеровскую. Крепкий мужчина с военным опытом, он был во всем педантичен до мелочей. Не терпел, когда что-нибудь из вещей лежало не на своем месте и когда спаривание лошадей происходило не в намеченный час.

В Елене Белецкой молодому Шаллеру нравилась независимость. Будучи двадцатилетней девушкой, она уже на все имела свое мнение. На политическую ситуацию в мире и на отношение полов — на все существовала твердая позиция.

— Если бы к мнению женщины прислушивались, — говорила она, — если бы женщине разрешалось произносить официальное слово в парламенте или Думе, то мир бы уже не существовал в прежних границах. Женщины бы разделили его поровну, с одинаковым количеством озер и морей, чтобы всем достались леса и паст-

бища, чтобы у любого негра или нанайца имелся кусок хлеба и охапка сена для сна.

Молодой Шаллер посмеивался про себя над речами девушки, которая держала спину так прямо, что казалась балериной, истерзавшей себя у станка.

— А что вы думаете про отношения полов? — поинтересовался он как-то.

— Я не считаю, что мужчина и женщина чем-то отличаются друг от друга... Ну, конечно, за исключением физиологии, — поправилась девушка.

— А мыслительные процессы? — корректно задал вопрос Генрих.

— Вот и вы туда же, — развела руками Елена. — Женщина способна так же логически думать, как и мужчина. Докажите мне обратное!

— Мой отец учил меня никогда и ничего не доказывать женщинам, ибо это глупо и безнравственно.

— Ваш отец — яркий представитель маскулинизма. Вполне вероятно, что и вы идете той же дорожкой.

Елена, прищурившись, оглядела своего визави. Она была столь мила в своем серьезе, что Шаллер не удержался и поцеловал девушку в губы. Та слегка его оттолкнула и, покачивая головой, сказала:

— Вот и это тоже! Почему мужчины должны быть инициаторами даже в поцелуях?

— Потому что, если бы мужчины ждали поцелуев от женщин, не рождались бы дети.

Белецкая недоуменно посмотрела на Генриха.

— Так уж природой создано, что мужчина инициатор во всех интимных делах, — пояснил Шаллер. — Его толкает к женщине инстинкт, первобытный инстинкт, и так будет во все времена, как мне кажется. А женщина лишь покорно ждет, когда мужчина пожелает продлить род.

Неожиданно Елена обвила шею Генриха руками и сильно поцеловала его в губы.

— Вот вам мой женский поцелуй, моя инициатива.

— Действуйте дальше! — подначил Шаллер и на за-

стывший вопрос на лице Белецкой пояснил: — Пожелайте сами продления рода. Берите инициативу! Не можете?!

Он видел смятение в девушке, чувствовал, как она ищет выход из сложившейся ситуации и не может его найти, но все же не спешил переводить все в шутку, наслаждался, как зритель в балагане неприличным зрелищем.

— Пойдемте, — неожиданно твердо сказала Елена и вышла из дома в сад.

Генрих шел следом, размышляя, чем все это может закончиться. Он даже волновался чрезмерно, но сдаваться не собирался.

Девушка прошла в глубину сада и раздвинула густые кусты шиповника.

— Это мое потайное место, с детства.

Оказалось, что кусты шиповника растут по кругу, а в центре этих зарослей имелось свободное пространство, посередине которого стояла софа и лежала на траве раскрытая книга.

„Шопенгауэр“, — прочел на корешке Генрих.

— Обещайте, что вы никому не раскроете мою тайну, — попросила Елена.

Генрих глядел на нее и улыбался краешками губ.

— Подождите секунду, мне надо настроиться.

Она некоторое время стояла с широко открытыми глазами, стараясь не выказывать волнения. В этой ситуации нельзя было разобрать, кто больше волнуется — молодой человек, уже имевший кое-какой опыт в сферах любви, или девушка, фанатически убежденная в своих максималистских идеях и не собирающаяся от них отказываться, даже под страхом потери стыда.

Наступила полная тишина, и было слышно, как стрекочет кузнечик, приманивая к себе подружку.

Елена кивнула головой, решившись, и начала расстегивать бесчисленный ряд крохотных пуговиц на платье. Лицо ее было красным, как предзакатное солнце... Она справилась с платьем, скользнув кожей к ее но-

гам, и принялась за нижнее белье. Шаллер хотел было отвернуться, но что-то в нем выпрямилось стальным прутom и заставило смотреть на Елену почти нагло. Девушка не поднимала глаз на Генриха и непослушными руками пыталась расстегнуть кружевной лифчик. Наконец ей это удалось, и из чашечек выскользнули две маленькие неразвитые грудки с бесцветными сосками и кое-что еще — матерчатые подушечки.

„Господи, — подумал Шаллер. — Да она подкладывает грудь. Вот тебе и феминистка!“

Елена никак не могла справиться с панталонами. Ее охватило какое-то стыдливое раздражение, она уже не помнила, что обнажена наполовину, и, согнувшись, почти разрывала тонкую ткань на бедрах.

Шаллер почувствовал возбуждение. По телу побежали мурашки, и вспотела шея. Он видел, что девушка практически забыла о нем и все внимание ее сосредоточено на последнем оплоте стыда. Он также подумал о том, что, раздевшись в первый раз донага перед мужчиной при свете солнечного дня, девушка теряет стыд навсегда... Шаллер моргнул, и когда вновь посмотрел на Елену, увидел ее совершенно голой. Она стояла все с той же прямой спиной и, опустив руки по швам, с каким-то отчаянием смотрела на Генриха. Кожа у нее была белая, сметанная, с голубенькими прожилками на бедрах. Почти слепили своей рыжиной завитки внизу живота, как будто плеснули золотом. Он понял, что любит ее и страстно желает... Когда все кончилось и Елена лежала на софе, прикрыв золото внизу живота Шопенгауэром, Генрих незаметно поднял из травы матерчатые подушечки и сунул их в карман брюк.

Через полчаса они сидели за обеденным столом в обществе отца Елены, который обычно ел молча, глядя в свою тарелку.

— Я выхожу замуж, — твердо сказала Елена.

Коннозаводчик не торопясь доел куриный бульон и тщательно вытер салфеткой усы.

— За кого же, позвольте узнать?

— За Генриха Шаллера, папа.

— Вот как. Интересно...

Отец Елены с любопытством разглядывал будущего зятя. От него не ускользнуло, что тот побледнел и очень волнуется.

— Мне кажется, он будет хорошим мужем. — Елена говорила с напором, как будто настаивала на выборе конюха для самого породистого жеребца.

— Вот как, — повторил отец. — Интересно.

Самое любопытное в этой ситуации было то, что сам Генрих не ожидал такого поворота событий. Разговор о женитьбе был для него крайней неожиданностью.

— Мы обвенчаемся в субботу.

— Ну что ж... — проговорил коннозаводчик и принялся за второе, уткнувшись носом в тарелку.

„А хочу ли я жениться на ней? — думал Генрих,ковыряясь вилкой в изрядной порции жареного судака. — Пожалуй что да. Она мне нравится своим фанатическим сумасбродством и, вероятно, не будет той подкаблучной женой, покорно сносящей все мужнины прихоти. С такой женщиной можно прожить долгие годы и уж скучать с ней не придется. Да, я хочу на ней жениться,“ — утвердился Генрих, ляжкой чувствуя матерчатые подушечки накладной груди в кармане брюк.

Они обвенчались, как и было намечено, в субботу и получили от отца Елены в подарок пятнистого пони, который через год издох от непонятной болезни.

В постели Елена оказалась холодной, как скумбрия на льду. Шаллер долгое время не терял надежды раздуть в ней угольки страсти, но все его попытки были тщетны. Впрочем, и в самой Елене не было желания хорошенько услышать свой организм и попытаться настроить его на шепот Орфея. Она отгородилась от мужа ледяной коркой и дубовой дверью своей комнаты, которую обустроила через год после свадьбы. Генрих туда допускался лишь в светлые часы дня. Остальное время Елена проводила одна, читая умные книги и делая из них выписки в толстую тетрадь с клеенчатой обложкой.

Нельзя сказать, что Елена Белецкая полностью лишила мужа интимной близости, но выполняла супружеские обязанности только в комнате супруга — нечасто, с безразличием, как хозяйка моет пол, потому что это делать надо!

Через три года после женитьбы трагически погиб отец Елены. Во время осеменения кобылы любимый крейцеровский жеребец в необузданной страсти пнул копытом своего хозяина в лоб и расколол ему голову на четыре части. Супруги получили приличное наследство. Елену деньги, как таковые, не интересовали, и Генрих Шаллер разместил капиталы в местном банке, регулярно снимая проценты и проживая их на повседневные нужды. Конезавод был продан почти сразу же после смерти тестя, а вырученные от него средства сгорели вместе с банком в засушливую осень. Чанчжойский банк вспыхнул спичечным коробком и отгорел в считанные минуты вместе с управляющим Цыкиным, слывшим в округе отчаянным пироманом. Цыкин в свободное время любил мастерить всякие фейерверки и на городских праздниках неизменно удивлял горожан пиротехническими эффектами. Поговаривали, что управляющий держал в банке целый мешок магния, смешанного с желтой серой. Но так или иначе, супруги почти разорились. Остались лишь незначительные средства, положенные покойным тестем в столичный банк еще при жизни и приносящие проценты, еле позволяющие свести концы с концами.

Генрих Шаллер не тяготел ни к какому делу и напроць был лишен каких-либо деловых интересов. Он частенько думал над этим, но никогда не расстраивался, приходя к выводу, что его основная способность — быть просто человеком, никому не мешающим жить, не слишком много требующим от бытия. Ведь это тоже способность — спокойно довольствоваться тем, что дадено Богом: никому не завидовать и спать безмятежно, видя благопристойные сны.

Впрочем, в жизни Генриха Шаллера были две стра-

сти — неординарно мыслить и заниматься поднятием тяжестей.

Свою физическую силу Генрих осознал еще в детстве, когда произошло знаменитое Чанчжозьское землетрясение. В два часа пополудни двумя мощнейшими толчками была разрушена половина города. Как карточный домик, рухнул и дом Шаллеров, сложившись стенами внутрь. Тринадцатилетний Генрих в этот момент находился на огороде в лопухах: лежал на зеленых листьях, сосал травинку и под слепящим солнцем предавался мечтаниям, сменяющимся, как картинки в калейдоскопе. После первого толчка он успел вскочить на ноги и отчетливо увидел, как обвалилось родимое жилище, с шумом погребая под собою его родителей.

В отчаянном порыве мальчик рванулся к руинам, почему-то чувствуя запах гречневой каши и бараньих котлет. Он некоторое время стоял как вкопанный и смотрел на оседающую пыль. В этот момент тряхнуло второй раз. Под ногами Генриха прокатилась волна, раздался отчаянный грохот, из-под обломков дома выскользнуло нежное пламя, облизывающее руины.

— Сынок!.. — услышал Генрих далекий голос. — Отойди подальше, родной!..

Мальчик присел на корточки и огляделся. Из-под огромного куска стены на него смотрели глаза матери. Лицо ее было мертвенно-бледным, без единого повреждения.

— Так бывает, — проговорила мать чуть слышно. — Ты не расстраивайся.

— А что это было, мам? — спросил Генрих.

— Землетрясение.

— А где папа?

— Папа в доме.

— А почему котлетами пахнет?

— Я приготовила на обед бараньи котлеты, твои любимые.

— И гречневую кашу?

У матери иссякали силы, и она лишь моргнула глазами.

— Мам, там огонь горит, — сказал мальчик и показал рукой на разгорающееся пламя. — Давай я помогу тебе вылезти.

— Не подходи! — в отчаянии заговорила мать. — Не подходи! Лучше пойди к Крутицким и позови кого-нибудь на помощь.

— Да что ты, мам. Я сам тебе помогу. У Крутицких тоже дом развалился, видишь, дым валит.

Генрих подошел к обломку стены и взялся руками за его края. Он ясно ощущал на лодыжках горячее дыхание матери.

„Господи, дай мне сил“, — попросил мальчик и напряг мышцы. Он почувствовал, как от напряжения ногти врезаются в крошащийся кирпич, как трещат суставы в коленях и сердце колотится в висках. „Интересно, в какой комнате отец?“ — подумал Генрих и еще более напрягся, так что мочевого пузыря не выдержал и горячая струя потекла сквозь брючину... Стена поддалась. Он мало-помалу приподнимал ее, придерживая коленями, а затем подпирая грудью, пока кирпичная кладка не встала на попа... Мальчик выволок из-под обломков мать и потащил ее за влажные подмышки к лопухам. Все ее тело, от ребер до ступней ног, было расплюснуто и превратилось в кровавое месиво из переломанных костей и разодранной плоти.

Генрих широко открытыми глазами смотрел на то, что осталось от его матери, и ловил себя на мысли, что бараньи котлеты отныне станут самым ненавистным ему блюдом.

— Зря ты на меня смотришь, такую... — сказала мать.

Из ее рта вытекла струйка крови, и она испустила дух.

Генрих заплакал. Он понимал, что мать умерла, что у него не хватит уже сил, чтобы откопать отца, а оттого слезы текли водопадом и вся неподготовленная душа скулила от первого горя.

Он отполз от матери и, заглядывая под обломки, сквозь рыдания стал звать:

— Иван Францевич!.. Папа!.. Пожалуйста!..

Отец не отзывался, и Генрих потерял сознание...

Так от двух толчков Генрих Шаллер лишился родителей и родного дома, но зато осознал свою природную способность к поднятию тяжестей.

В доме дяди, тоже Шаллера, брата отца, Генрих начал развивать физическую силу. Он поднимал все тяжелые предметы, попадающиеся ему под руку, — от увесистых деревянных брусков до чугунных тисков, стоящих в мастерской дяди.

— Расти не будешь, — предупреждал дядя.

— Ничего, вырасту, — отвечал Генрих, поднимая чугуны над головой.

Мышцы подростка наливались яблочной крепостью, грудная клетка раздавалась вширь, растягивая рубашки до треска, а плечи становились покатыми.

Первые свои гири Генрих приобрел, когда ему исполнилось шестнадцать лет. В Чанчжоэ приехал цирк шапито, в котором гвоздем программы выступал известный силач Дима Димов, способный удержать на своих плечах восьмерых взрослых мужчин.

— Нужны ежедневные тренировки! — говорил мальчику Димов. — По определенной системе.

— А вы не подскажите мне эту систему? — спросил Генрих, с восхищением разглядывая гору мышц, которыми то и дело поигрывал силач.

— Три рубля, — ответил Димов.

На следующий день ученик принес учителю деньги и получил несколько рукописных листов с неуклюжими картинками, из описания которых следовало, как именно надо тренировать тело.

— И бросьте, молодой человек, всякие свои деревянные чурки. Вес должен быть строго определенным и лучше всего заключаться в металле, а не в дереве. Чтобы вы видели, что боретесь с чугуном, а не с какой-то осинкой! Поднимайте гири и штанги.

— У меня их нет, — ответил Генрих.

— Двенадцать рублей.

— За что?

— За две пудовые гири.

— За две гири — двенадцать рублей?! — удивился подросток.

— Это не просто гири — это гири Димы Димова, — пояснил артист и, что-то прикинув в уме, сказал: — Ладно, несите одиннадцать с полтиной... Дима Димов не какой-нибудь скупердяй. Дима Димов — самый сильный человек на этом полушарии, а оттого самый добрый.

— А кто самый сильный на том полушарии? — любопытствовал Генрих.

— А... — махнул рукой силач. — Джо Руперт... Черномазый...

— И в чем его сила?

Дима Димов недовольно посмотрел на мальчика.

— Что вы все время задаете вопросы, молодой человек? В вашем возрасте нужно слушать то, что вам говорят, а не любопытствовать чрезмерно... Будете покупать гири?

— А нельзя ли чуть уступить в цене? — спросил Генрих, сконфузившись.

— Опять вопрос, — тяжело вздохнул Димов. — Никак нельзя... Если только еще полтинничек сбавлю.

На следующий день Генрих купил у силача две пудовые гири. Он стал тренироваться каждый день, используя инструкции, написанные Димовым. В короткое время ноги юноши раздались, распираемые стальными мышцами, и при ходьбе терлись ляжками друг о друга. Через двадцать с лишним лет на эти ноги и обратила внимание Лизочка Мирова, пораженная их мощью.

Интернат для детей-сирот имени Графа Оплаксона, погибшего в боях за собственную совесть располагался на большом холме, с которого превосходно был виден весь город. Это было огромное мрачное здание, построенное на отчисления от куриного производства три года назад.

Что касается названия интерната, то дадено оно было ему в честь корейца Ван Ким Гена, а произошло это вот как...

С давних времен в Чанчжоз существовала колония корейцев. К сегодняшнему дню численность ее обитателей составляла примерно пять с половиной тысяч особей. Как и когда корейцы появились в городе, никто не помнил, а в старых летописях об этом умалчивалось.

Корейцы прижились в Чанчжоз благодаря своей исключительной работоспособности. Почти все мелкие бакалейные лавки и магазины принадлежали маленьким человечкам с раскосыми глазами, а потому в городе этот народец почти уважали. Все не очень зажиточные горожане отоваривались именно у корейцев, потому что это было дешево в сравнении с большими магазинами, такими, как „Мамедов сыр“ или „Куприянов и Шнитке“. Хозяйки могли приобрести в лавках все, что угодно, — от кочана капусты до моллюсков в лимонном соусе, проложенных травкой Чу, дающей энергию для тела и улучшающей зрение... Удивительной чертой в этом мелком народце была исключительная взаимопомощь, причем в таких масштабах, какие не свойственны русскому чело-

веку. Как утверждала городская таможня, в Чанчжэе ежегодно прибывала пара сотен новых корейцев, неведь какими путями забредших в эти края. В основном это были грязные и оборванные людишки с детьми, не имеющие и копейки в кармане. Община встречала их ласково и всем без исключения давала беспроцентные ссуды, позволяющие новичкам завести свое дело. Таким образом, город пополнялся новыми лавчонками с удивительно низкими ценами на товар. Если же новичок оказывался нечистоплотным и пытался скрыться со ссудой в других краях, то его отрезанную голову с вбитым в рот колом обычно находили в пруду, что напротив городского совета. Впрочем, такие случаи были крайне редки, и следствие по ним неизбежно заходило в тупик, так как корейцы практически не говорили по-русски, а потому не могли давать свидетельских показаний.

Как и у всех малых народцев, приживающихся на чужих землях, у корейцев были свои проблемы, связанные с некой Чанчжэе́йской национальной организацией, не терпящей весь этот косоглазый сброд, отбивающий у настоящих аборигенов хлеб.

Организация представляла собой пять-шесть сотен необразованных мужиков, много вкалывающих на земле и не понимающих, почему за столь тяжелую работу они получают столь малые доходы. Организацию возглавлял купец Ягудин — огромного роста детина с рыжей бородищей, изрядно богатый, но чрезвычайно нетерпимый к инородцам. Он и будоражил мужичьи головы, возбуждая их недовольные помыслы на расправу с корейцами.

— Бейте косоглазых! Колите им животы вилами! — громовым голосом призывал Ягудин. — От них все беды ваши! От этих вонючих желтушников! Они загребают ваши денежки и травят ваших детей гнилыми продуктами! Смерть черноголовым!

Несмотря на столь убедительные призывы, стычки аборигенов с чужеродцами происходили нечасто и на это были свои причины. Пять лет назад купец Ягудин

собрал свое необразованное войско, вооруженное кто чем, и на праздник Пусилот повел его к корейскому кварталу для окончательной расправы. Когда разгоряченная орава вывалила на площадь, разгромив по пути несколько магазинов и пустив кишки их хозяевам, когда пролитая кровь захмелила рассудки погромщиков и катастрофа, казалось, была неизбежной, навстречу извергам из мясной лавочки вышел седоволосый старичок по имени Сим Бин Ген и, вознеся руки к небу, на русском языке обратился к озверевшим боевикам. Он успел сказать лишь несколько слов, после чего камень величиной с грецкий орех, выпущенный из пращи, размоzzжил ему голову. А слова были вот какие:

— Мы не отбилай васы денески! Мы не тлавим ваших детисек! Вы залабатывай мало-мало денесек, потому сто мало-мало лаботать и мало-мало думать!.. Мы холосый и доблый налод! Мы длузно зыть с лусскими!..

Когда старичок упал замертво, окна всех домов, расположенных на площади, в слаженном порыве открылись и из них высунулись сотни ружейных стволов. Раздался чей-то воинственный крик типа „сап сей!“, и оглушительный залп разогнал всех ворон в радиусе десяти верст. Четвертая часть нападавших после первого залпа пали ранеными и убитыми на булыжную мостовую, а остальные в жуткой панике и со страшным воем забегали по площади, стремясь укрыться от корейского гнева. После второго залпа стены домов до первого этажа окрасились кровью, а стекла окон были забрызганы мозговым веществом.

— Сап сей! — раздался новый клич, и третий залп оставил в живых лишь несколько десятков погромщиков, да и те были либо ранены, либо ползали в кровище в невменяемом состоянии, высунув от ужаса языки до колен.

Четвертого залпа не последовало. Раненым и уцелевшим дали возможность уползти с площади. Среди них был и Ягудин. Совершенно уцелевший, с перекошенной от злобы физиономией, он уносил ноги, клянясь мстить

косоротым до конца своих дней... Корейцы сами убрали трупы, отмыли булыжник, так что к прибытию властей площадь сияла первозданной чистотой.

После кровавой расправы русские экстремисты более не решались на открытые стычки с поселенцами, а действовали чаще исподтишка, подкарауливая какого-нибудь корейца на нейтральной территории и сворачивая ему голову, словно дурной курице.

Тот старичок, по имени Сим Бин Ген, пытавшийся усмирить бандитов и погибший от пращи, приходился дедом Ван Ким Гену, в честь которого и был назван интернат.

Ван Ким Ген был молодым человеком лет двадцати пяти, прекрасной наружности, что выгодно отличало его от соплеменников. Его можно было назвать даже высоким. Телосложение молодого мужчины было аполлоновым, хотя он не прикладывал к этому ровно никаких усилий, — природа сама постаралась одарить его невиданной красотой, лишив для этого примечательности не один десяток сородичей. На плече Ван Ким Гена синела накладка, изображающая дракона с открытой пастью, извергающей огненный смерч. Миндалевидные глаза корейца смотрели открыто и ласково, а прямой нос над тонкими губами придавал взгляду мужественности, отличающей красивого мужчину от просто красивого юноши.

Безусловно, внешность Ван Ким Гена была азиатской. Но даже среди самых некрасивых и безликих народов есть самородки красоты, способные поразить воображение самого взыскательного к прекрасному европейца. Таким самородком и был Ван Ким Ген.

В Ван Ким Гена были влюблены многие молодые девушки и женщины всех сословий, тайно желающие прикоснуться к его плоскому животу своими пальчиками и испытать сладость любовных игр с азиатом.

Молодой кореец отлично понимал, какой дар преподнесла ему природа, и не колеблясь им пользовался. Он благосклонно разрешал юным сладострастницам гла-

дять свою желтую кожу, такую нежную и шелковистую, какой бы позавидовала каждая из его любовниц; не очень молодым — целовать длинные и тонкие пальцы, которые впоследствии творили чудеса с любыми женскими телами, с их сладкими закоулками; и в конце все непременно пользовались самым главным его достоинством, заставляющим содрогаться в экстазе бедра всех кондиций — от самых тощих до мучнисто-огромных.

Ван Ким Ген не был очень взыскательной натурой, а потому существовал за счет своих „прихожанок“, благодарящих его за любовь натуральными продуктами. Съестного скапливалось такое множество, что кореец и сам иногда удивлялся, сколь велики его любовные силы, способные прокормить десятерых. Что-то из подношений он съедал сам, а большую часть продавал на сторону, покупая на вырученное одежду.

За прелюбодеяния корейца неоднократно пытались убить как свои, так и русские, чьих дочерей и жен он изрядно подпортил, но Ван Ким Гену в самые кульминационные моменты удавалось скрыться, и он отсиживался в каких-то тайных местах, пережидая тяжкие времена.

У Ван Ким Гена не было совести. Вернее, она была, но скрывалась где-то в глубине его любвеобильной души, никогда не просясь наружу, а потому азиат без всяких угрызений топтал горожанок, как петух, не знающий усталости.

Так продолжалось несколько лет, пока в Чанчжоз не вошли скопцы.

Две дюжины человек мужского происхождения возвестили на весь город о скором приходе Спасителя, который прикатит на огненной колеснице и соберет на царствование всех детушек своих.

Вожак скопцов, крепкий старик с всклокоченной бородой, вещал на всех площадях о спасении от замореной плоти, призывал народ отправляться сейчас же в Первопрестольную и бить в Ивановский колокол.

Скопцов слушали и внимали им. Но следовать за ними никто не решался, оправдываясь тем, что, мол, человек русский слаб волею и собственной рукой не может лишить себя детородных органов.

И каково было всеобщее городское удивление, когда за скопцами последовал Ван Ким Ген — этот корейский Дон Жуан.

Азиат разослал всем своим бывшим любовницам письма с приглашением посетить обряд оскотпления, которым он решил искупить перед ними и их мужьями свою вину.

В городе поднялся тайный женский вой, но, впрочем, прелестницы, утерев слезы, все же пришли в своем большинстве на постоянный двор, где должна была произойти операция.

Все произошло быстро. Кореец разделся донага, блеснув в последний раз своей красотой, лег на стол, выскобленный ножами, раздвинул ноги — и вожак скопцов, подскочив к нему, сверкнул стальным мгновением и отсек Ван Ким Гену все лишнее. Зрительницы заголосили и спешно закрестились, отдавая дань мужеству азиата, пожертвовавшего свою плоть за спасение совети.

Через два дня каженный Ван Ким Ген с заживающими ранами оставил город, следуя за скопцами в несчастный путь. Азиат лишился мужества, но вместо этого приобрел совесть, толкающую его на борьбу с развратом, в битву за заморение плоти.

Все мужское население города, прознав о том, в благородном порыве простило прегрешения Ван Ким Гена, а митрополит Ловохишвили самолично отслужил за него молебен.

Все в этой жизни забывается. С течением дней забыли и о Ван Ким Гене. Но через три года, в один из осенних дней, он снова появился в Чанчжоз, закутанный в холстину и с торчащей из спины стрелой. Истекающий кровью, ввалился он в храм и, обливаясь слезами, попросил его окрестить, дабы умереть православным. На

вопрос священника, что с ним приключилось, кореец, задыхаясь, рассказал, что принял бой с содомитами и гоморристами и пал от рук подлых. Священник справедливо посчитал, что инородец достоин стать христианином, обрызгал его тело святой водой, дал ему имя Вахтисий и собрался было его причащать перед смертью.

— Фамилию хочу! — попросил умирающий каже-
ник. — Фамилию дайте...

Священник недолго думал, разглядывая обливающегося слезами новоиспеченного Вахтисия.

— Быть тебе Плаксиным, — рек он. — Вахтисием Плаксиным.

В тот же миг православный Вахтисий Плаксин умер.

В городе узнали о столь душещипательном конце бывшего Дон Жуана и прослезились. Городские власти решили что-нибудь назвать в честь павшего за свою совесть Ван Ким Гена и, когда подошла такая возможность, назвали в честь него интернат для детей-сирот. Поскольку фамилия Плаксин была не столь благозвучна, к ней приставили букву „О“, отчего и получилось Оплаксин. А уж отчего так случилось, что Оплаксин стал графом, никто и не помнил.

Таким образом и произошло название Интерната для детей-сирот имени Графа Оплаксона, павшего в боях за собственную совесть.

Так вот, в это мрачное здание в два часа пополудни вошел через главные двери тринадцатилетний подросток по имени Джером. Он сплюнул на горячий обогреватель, посмотрел, как тот шипит, воняя, а затем отправился по длинному коридору к своей комнате, ковыряя пальцем в розовом ухе. По дороге он встретил г-на Теплого, который мимоходом неожиданно треснул мальчика по голове метровой линейкой.

— Дебил, — прошипел вслед учителю Джером, потирая затылок.

— Что вы сказали-с, молодой человек? — задержал шаг Теплый.

— Добрый день, господин учитель.

— А-а... — рассеянно протянул славист. Он коротко оглядел мальчика и пошел своей дорогой, что-то мыча себе под нос.

Джером покрутил во рту языком и, когда учитель отошел на достаточное расстояние, смачно сплюнул ему вслед.

— Дебил! — громко повторил Джером.

— Это кто дебил? — услышал он за спиной голос Герани Бибикова.

Одноклассник Джерома стоял посреди коридора, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Он исподлобья рассматривал разбитые колени мальчика своими маленькими глазками и прицокивал языком.

— Так кто ж у нас дебил? — переспросил Гераня.

— Не ты, не ты, — успокоил его Джером.

— Ясный фиг, не я. А кто?

— Теплый.

Бибиков хмыкнул.

— Теплый?.. — задумался. — Теплый — точно дебил и урод в придачу. — Он обнял Джерома за плечи и пошел вместе с ним к спальным комнатам. — Это ты точно подметил. Дебил есть дебил!

Гераня похлопал короткопалой ладонью Джерома по плечу.

— Это где же ты ножки свои разбил? — спросил он участливо.

— Да так...

— Дрался с кем, что ли?

— Да нет...

— Или с девчонкой какой натер?

Джером покраснел, учуяв в вопросе одноклассника неприличное.

— Что молчишь?

— Отстань!

— Экий ты, брат, грубый! — обиделся Бибиков. — Поэтому, Ренаткин, с тобой никто дружить не хочет.

— Ренатов, — поправил Джером.

— Чего?

— Ренатов моя фамилия.

— Татарин, значит, — констатировал Гераня и убрал с плеча Джерома руку. — А мы с татарами не дружим. Они триста лет наш народ мучили. Знаешь ли ты об этом, татарская морда?.. Теперь наш черед настал, миленький мой. Так что потерпи, любимый, за обиду нашу-у! — пропел Бибиков и неожиданно резким движением схватил в щепотку сосок Джерома и стал крутить его во все стороны, сдавливая ногтями.

— А-а-а!.. — заорал что есть мочи Джером, извиваясь всем телом.

Гераня не обращал внимания на крики одноклассника и со сладостью в глазах продолжал его мучить.

— Теперь-то ты понимаешь, каково было нашему народу под татарским игом триста лет? — шипел он. — Теперь и ты пострадай триста лет, — и крутанул нежное место в другую сторону.

— А-а-а! — продолжал орать Джером. — Больно-о! Отпусти меня, миленький, пожалуйста!

— Отпустить тебя?! Ха, как же!.. Я только начал...

— Все, что хочешь, для тебя сделаю! — взмолился Джером.

— Все, говоришь? — Бибиков чуть ослабил хватку. — А ботинки мои оближешь?

— Оближу, родной, оближу с наслаждением!

— Ну давай.

Гераня отпустил Джерома, выставив вперед толстую ногу в грязном ботинке.

— Лижи, — позволил он.

Джером опустил на четвереньки и дважды провел языком по башмакам Бибикова.

— Еще! — приказал Гераня и одобряюще потрепал одноклассника по щеке.

— Больше не буду, — отказался мальчик, пытаясь встать на ноги.

— Будешь! — разозлился Бибиков и отвесил по ма-

кушке Джерому щелбан с оттяжкой, так что в голове загудело, как в барабане, а ноги подогнулись.

— Все равно не буду!..

Глаза Герани стали совсем маленькими. Он напряженно думал, какую еще муку применить к заартачившемуся татарину. И было совсем уже решил схватить его за нос и сдавить, сопливый, до лилового цвета, как вдруг с удивлением увидел маленький кулачок, с размаха ударивший его промеж толстых ляжек. Через мгновение резкая боль достигла мозга Бибикова. Он осознал ее и согнулся пополам, вращая глазками, словно зарезанный кабан перед смертью.

— Ах ты гаденыш! — сипел Гераня.

— Что, миленький, больно? — участливо спросил Джером, потирая ладонью грудь.

Бибиков шумно дышал и, приседа, злобно смотрел по сторонам.

— Сейчас, сейчас... — скрипел он. — Дай прийти в себя...

— Ты еще поприседай.

— Ой, как больно!..

— Так и мне было больно... Ты, Бибиков, никогда не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе.

Боль понемногу уходила из промежности Герани, уступая место сладостным ощущениям. Он сидел на полу, прислонившись спиной к батарее, и пристально рассматривал Джерома.

— Что, полегчало? — спросил подросток.

— Да вроде...

— Встать можешь?

— Я, Ренаткин, боюсь за тебя, — произнес Гераня с гадкой улыбочкой. — Вряд ли господину Теплому понравится, что ты его дебилем обозвал. Он очень вспыльчивый человек.

— Предашь? — поинтересовался Джером.

— Зачем же так. — Бибиков осторожно поднялся с пола. — Проявлю лояльность по отношению к учителю, несправедливо оскорбленному. — Он тщательно отрях-

нул колени. — А сейчас, Ренаткин, ты узнаешь, кто такой Гераня Бибиков и каково его обижать!..

Джером увидел, как Гераня стал медленно к нему приближаться, сжимая здоровенные кулаки, наклонив вперед голову и оскалив в предвкушении бойни свою пасть.

— Геранечка, миленький... — взмолился Джером. — Ты что собрался делать?.. Мы же с тобой в расчете... Миленький, не бей меня!..

Бибиков колотил своего одноклассника с особым наслаждением, зная, что его за это никто не накажет. Его кулаки, не разбирая дорог, врезались в самые незащищенные части тела, и чем больше Джером визжал, тем с большим остервенением бил его Гераня.

Через три минуты пыток мальчик на некоторое время потерял сознание, убежал поближе к смерти, а когда пришел в себя и открыл глаза, увидел, как его мучитель, согнувшись от усталости, удаляется по коридору в сторону спален.

— Тупая свинья! — крикнул вдогонку Джером.

Гераня обернулся, хотел было вернуться и добавить, но отчаянно болели сочащиеся кровью костяшки кулаков.

— Ну что, Чингисхан, — спросил он. — Еще хочешь? Мало тебе?

— Нет, миленький! Не хочу, родной!.. Мне достаточно!

— То-то...

Бибиков ушел своей дорогой. Джером не торопился вставать с пола, чувствуя, как из носа текут струйки крови, образуя на паркете темную лужицу. Он вспомнил: на уроке естествознания они проходили, что в теле взрослого человека содержится четыре литра крови. Если лишиться хотя бы ее половины, то человек умирает.

„Интересно, — задумался Джером, — сколько из меня уже вытекло? Наверное, четверть стакана... Это немного. От этого не умирают, наоборот, даже говорят,

что небольшое кровопускание полезно. Кровь обновляется и обогащается кислородом...”

Кровопускание можно сделать бритвой. Такое Джером видел, подглядывая в окно дома доктора Струве. Какой-то толстой женщине пускали кровь, перетянув руку жгутом... То же самое, что и кровопускание, — наложение на тело пиявок... Джером вспомнил, как на речке к его ноге присосались целых три пиявки. Его тогда охватило мерзкое ощущение, он никак не мог оторвать черные тельца от побледневшего бедра, пока не вспомнил, что нужно прижечь пиявку, тогда она отвалится... Позже Джером пытался казнить кровопийц. Он ковырял их палочкой, но те никак не протыкались, а просто извивались.

„Все-таки Бибиков — тупая свинья“, — подумал Джером и, крихтя, встал. Все тело болело, а правый глаз заплывал синяком, как солнце тучей.

Говорили, что Бибиков — сын погибшего на войне полковника Бибикова, кавалера славных орденов и от важного смельчака. Но что-то в это Джерому не хотелось верить. Как может от героя родиться свинья!.. Хотя именно о таких случаях мальчик недавно прочел в какой-то брошюре, в которой помимо этого говорилось еще и о недостаточном половом развитии некоторых инфантильных особей мужского пола, и о коронации наследного принца Базеля, которому едва исполнилось десять лет от роду.

Джером не торопясь побрел к своей комнате, щупая вздувшуюся яйцом скулу.

Будет крайне плохо, если Бибиков расскажет Теплому об оскорблении. Пожалуй, славист станет бить его по пальцам рук линейкой, отчего ногти посинеют и не исключено, что некоторые из них впоследствии сойдут...

Мальчик добрался до своей комнаты и открыл дверь. Его соседа и одноклассника по фамилии Супонин еще не было, а потому Джером тут же улегся на кровать, чувствуя, как засохшая кровь неприятно стягивает кожу. Он послунывил палец и попытался очистить лицо.

В комнате было неубрано. Повсюду валялись мятые вещи, а с люстры свисала сумка-сетка, в которой обычно носят арбузы. На подоконнике грудой лежали запыленные книги, часть из которых была с отодранными корешками. Со стен свисали покоробившиеся иллюстрации из светских журналов фривольного содержания.

Самым примечательным здесь были изделия из куриных костей. Всякие домики, башенки и человечки, аккуратно расставленные на полочке, удивляли своей необычностью. Куриные косточки — а нá тебе: такие прекрасные поделки!

Джером лежал с закрытыми глазами и думал об ужине, гадая о его содержании.

Морковные или свекольные котлеты будут некстати. От них моча красная и желудок некрепкий. Хорошо бы картофельное пюре с кусочком селедки, а лучше всего с котлетой. И какой-нибудь морс на запивку. Клюквенный — кисленький, так прекрасно утоляет жажду... Джером почувствовал, что очень хочет пить. Во рту было такое ощущение, как будто он проглотил целую лопату песка. Язык присох к нёбу и стал резиновым. Мальчик представил себя в пустыне, лежащим на верхушке бархана. Солнце светит прямо в самую макушку, и голова может треснуть, как переспелая дыня.

„Я могу умереть на верхушке бархана, — подумал он. — Я засохну на солнце и стану мумией, как на картинке в учебнике по истории. Вполне вероятно, что меня тоже найдут через несколько столетий, раскопают и перенесут в музей. Будет ходить экскурсовод и говорить: „Это мальчик из эпохи...“ — Джером задумался, из какой же он эпохи, но названия времени, в котором ему довелось жить, не знал... — „Это мальчик, умерший на верхушке бархана, — скажет экскурсовод. — Ему было тринадцать лет, и он очень хорошо сохранился“. И все, — подумал Джером. — Больше экскурсовод ничего не скажет, потому что ничего обо мне не знает. Смерть — это то, чего я не знаю и когда обо мне никто и ничего не знает“, — решил Джером и зевнул, почувствовав при этом боль в разбитых деснах...

Джером заснул. Он проспал два часа, пока его не разбудил Супонин.

— Эй, ты чего весь в крови? — спросил он, смотрясь в настенное зеркало.

Супонин был на два года старше Джерома, хотя ходил с ним в один и тот же класс. Он был хорошо сложен, с красивым лицом и прекрасно это сознавал, пользуясь любым удобным моментом, чтобы посмотретьсь в зеркало. У Супонина уже пробивались усики, чему слегка завидовал Джером, и поговаривали, что он имеет некоторый опыт с девочками из старших классов.

— С кем подрался? — спросил Супонин, тщательно укладывая волосы на косой пробор.

— С Бибиковым, — ответил Джером.

— Нашел с кем драться!.. Бибиков — быдло! Чего с ним драться? Он даже боли не чувствует!.. Эка он тебя отделал. Зубы хоть целы?

— Да вроде бы. — Джером потыркал во рту языком.

— Все-таки ты странный, Ренатов. Какой-то ты неприбранный и слюнявый, поэтому тебя никто не любит... Кстати, у тебя нет бриолина, а то мой кончился?

— Нету.

— Видишь, у тебя даже бриолина нет!.. И скажи мне на милость, Ренатов, чего ты все время делаешь вид, что ты не такой, как все? Мой тебе совет: не задавайся и не выдрючивайся! Может быть, тогда к тебе будут относиться лучше... И чего ты выбрал это дурацкое имя себе? Джером!.. Это чье же имя?

— Не знаю. Может быть, английское.

— То-то и оно! Какого хрена тебе английское имя нужно, когда ты в России живешь?

Супонин повернулся к Джерому и вздернул головой, показывая прическу.

— Так нормально? — спросил он.

Джером кивнул.

— Ничего не надо поправить?

— Не-а.

— А галстук?

— Если только узел подтянуть.

Супонин пощупал под горлом.

— Так сойдет... Так вот, — продолжал он, брызгая на себя духами. — Если уж нам дали возможность поменять себе имена, нужно выбрать то, которое тебе больше всего нравится!

— Мне нравится Джером.

— Господи Боже мой! С тобой, Ренатов, очень трудно разговаривать!.. Мне жаль тебя!

— Почему?

— Потому что ни одна девчонка не пойдет с тобой.

— Куда?

— Вот наступит время, тогда узнаешь — куда!.. Ты худой, Ренатов, вечно грязный и нечесаный, ходишь, как ребенок, в шортах! Ты мне тоже не очень нравишься своим поведением, хотя, конечно, я с тобой драться никогда не буду!

— Почему? — спросил Джером, чувствуя в заявлении Супонина несправедливость.

— Потому что ты, Ренатов, слабый и младше меня. А я считаю, что драться со слабыми недостойно. И вообще я драться не люблю. Если человек способен думать мозгами, то ему незачем применять физическую силу. Ясно?

— Ясно, — ответил Джером.

— Ну, я пошел.

— Куда?

Супонин аккуратно повесил в шкаф школьные брюки, убрал в ящик стола флакон с духами и запер его на ключик. Еще раз взглянул на себя в зеркало и подмигнул своему отражению.

— Имей терпение, Ренатов. Никогда не любопытствуй чрезмерно. Дожидайся, пока тебе сами скажут о том, о чем ты хочешь спросить!

— А ты воздух по ночам портишь, — почему-то сказал Джером. — Как с тобой девчонки дружат?

— Важно знать, с кем можно воздух портить, а с кем

нельзя, — изрек Супонин. — Я знаю. — И вышел из комнаты.

Джером опять остался один.

„Чего он пристал к моему имени? — задумался мальчик. — Ведь директор интерната ясно сказал, что каждый может выбрать себе имя, которое ему по душе. И все выбрали... Интересно, почему всем детям не нравятся их имена, даденные родителями? Они их просто раздражают и бесят. А директор это почувствовал и решил взять себе другие. Хотя, конечно, никто не взял себе иностранных имен. Все выбрали привычные. Щеглова вместо Даши взяла себе имя Екатерина, Бибииков сменил Гераню на Михаила. Какой он Михаил? Геранька и есть Геранька. Свинья!.. А Супонин был Игорьком, а стал Сергеем“.

Супонин чем-то нравился Джерому. Мальчик любил смотреть, как тот прихорашивается возле зеркала, выдавливая прыщики на лбу.

— Половое созревание, — объяснял Супонин. — Так и прет со лба.

„Как может созреть пол? — размышлял Джером, разглядывая паркет. — И какая связь между грязным полом и прыщами на лбу?“

Супонин был единственным человеком из класса, который ни разу не дрался с Джеромом. Остальные, даже самые слабые, хоть раз да попробовали свои кулачки на его черепе.

Единственное, что раздражало мальчика в Супонине, было то, что он обожал читать нотации и нравоучения и делал это почему-то в самое неурочное время — чаще ночью, возвратясь с очередного свидания, когда Джерому особенно хотелось спать. При этом он ежеминутно портил воздух, объясняя это тем, что газы вредно держать внутри — можно испортить желудок. Джером подозревал, что желудок его одноклассника давно испорчен, и все хотел ему предложить обратиться к доктору Струве, который наверняка подберет пилюли, способные унять вонючий гейзер.

Иногда Супонин, когда у него было особенно хорошее настроение, устраивал в комнате фейерверки, поднося зажженную спичку к отверстию и пуская из него испорченный воздух. „Сероводород“ вспыхивал на мгновение и вызывал у мальчиков неудержимый приступ хохота. Джером выскакивал из кровати и начинал ходить из угла в угол.

— Супонин, — смеясь, говорил он. — Все-таки у тебя выдающиеся способности! Твоя задница не просто задница, а задница-огнемет! Тебя надо посылать на войну, чтобы ты жег вражеские селения и города!.. Или в космос! Тебе не требуется механического двигателя, у тебя есть свой, физиологический. Как дашь — так сразу в другую галактику!

— Не-а! Не-а! — хохотал Супонин. — Я лучше буду в тюрьме работать!

— Кем?

— Палачом! В газовой камере! Ха-ха-ха!

— Нет, не так! Тебе надо чуть потренироваться, и ты сможешь работать в цирке! Твой номер будет называться „Горящая ж...“.

На эту не совсем светскую тему мальчишки могли фантазировать до утра, пока за окнами не занимался рассвет. Тогда, утомленный хохотом, Супонин мог вдруг рассказать нечто такое, что особенно волновало Джерома. А волновало подростка то, что более всего занимает умы его сверстников, какое-то ощущение, напоминающее приближение дня рождения, когда ты знаешь, что подарят тебе то, что более всего хотел. И ты готов плакать, смеяться и не спать в ожидании утреннего чуда.

— И совсем это не утром бывает! — объяснял Супонин. — И не чудо это вовсе!

— А что это? — затаив дыхание, спрашивал Джером.

— Обычная вещь, без которой не могут жить люди. Взрослые люди!

— А без чего не могут жить взрослые люди?

— Вот станешь взрослым, тогда узнаешь.

— Так ведь ты тоже не взрослый! Поди, ты сам не знаешь ничего, а так, представляешься только! — подначивал Джером.

— Ты меня на слабо не возьмешь, Ренатов, — зевнул Супонин. — А впрочем, кое-что я тебе скажу...

Джером замер, как мышка в норке, поджав под себя колени.

— Помнишь Гусицкую из последнего класса?

— Да, — шепотом ответил Джером.

— Помнишь ее странное отчисление из интерната?.. Так вот, ее никто не отчислял, а просто она стала взрослой и стала жить своей жизнью в городе. Она скоро будет матерью.

— Как это?

— Дурак ты, братец! Ты что, не знаешь, как женщины рожают детей?

— Знаю, — неуверенно протянул Джером.

— Ну вот и Гусицкая скоро родит ребеночка... А знаешь, кто отец ребенка?! Я!.. Так что теперь суди, взрослый я или нет!.

Джером отчаянно думал над тем, что ему рассказал Супонин. Безусловно, он знал, что женщины рожают детей, что у младенцев должны быть отцы, но какая связь между этим и взрослостью, Гусицкой и Супониным, — это оставалось для мальчика загадкой. Однако какой-то частью души, а правильней сказать, тела, он чувствовал, что в этом-то и есть та притягательная разгадка, которую он не может отыскать, но так этого жаждет.

— А когда я стану взрослым? — спросил Джером.

— Когда у тебя волосы вырастут на лобке, — ответил Супонин, отвернувшись к стене и захрапел.

Более в ту ночь он ничего не рассказывал Джерому такого, что могло пролить хотя бы слабый свет на тайну, так мучившую мальчика.

С той бессонной ночи Джером слишком часто стал

рассматривать свой впалый живот — не закудрявились ли внизу черные волоски, которых у Супонина было навалом, словно на голове. Но лобок мальчика оставался белым и гладким, как снежное поле в самую стужу.

Сволочь, считал он про свой лобок.

Сейчас Джером лежал на своей кровати и думал, что если бы его отец был жив, то уж он-то непременно рассказал бы ему обо всем таинственном, что происходит на земле. Но капитана Ренатова теперь обихаживали ангелы в райских кущах, ему было не до земных глупостей, а потому мальчик проживал в интернате, получая общественное воспитание.

То, что Джером утверждал, что он сын капитана Ренатова, раздражало не только его одноклассников, но и учителей тоже. И дело не в том, что капитан Ренатов считался в городе героем, вовсе нет. О таком персонаже даже никто и не слыхивал сроду. О том, что отставник стал жертвой нашествия кур, никто не ведал. Официальные власти об этом умалчивали, пресса не писала, а потому в героя он вырасти уж никак не мог. Раздражала настойчивость и уверенность мальчика в том, что капитан Ренатов все же был его отцом, хотя никаких подтверждений тому не было. Джерому даже устраивали встречу со вдовой, но Евдокия Андревна только руками разводила на этот случай, объясняя, что они с мужем были парой бездетной, да и не похож мальчик на Ренатова! Тот был белокур, а этот черный на голову. Но Джером стоял на своем, рассказывая из жизни капитана Ренатова такие подробности, какие мог знать только близкий родственник.

— А кто же мать-то? — спрашивала мальчика Евдокия Андревна, ужасаясь в душе, уж не прижил ли супруг ребеночка на стороне.

— Мать не знаю, — отвечал Джером. — Знаю только про отца.

„Может быть, я его мать, — прикидывала Евдокия Андревна, но тут же крестилась и образумлиwała себя тем, что мужчина еще может не знать о рождении своего

ребенка, но уж женщина. — А не взять ли мне его к себе жить? — думала капитанская вдова.

— Мальчик, хочешь жить со мной?

— Нет, — отвечал Джером. — Буду жить один, в интернате. Но хотел бы иметь что-нибудь на память об отце.

„Что же ему дать? — гадала женщина. — Дом наш разрушен. Ничего памятного, ни единой вещицы не осталось от старой жизни, все прахом пошло. Разве что сапог капитана?..“

В глазах Евдокии Андревны защипало, как от дыма, она открыла сундук и вытащила из него сапог с треснувшим голенищем.

— Вот в этом сапоге... — пояснила она, плача. — В этом сапоге капитан Ренатов и встретил свою смерть. Видишь, еще следы крови сохранились... Хочешь, возьми его...

— Возьму, — ответил Джером, по-хозяйски засовывая сапог в сумку.

— Может быть, ты хлебushка хочешь?

— Сыт...

В дверях Джером поинтересовался, не осталось ли от капитана медальки, врученной ему генералом Блуяновым перед отставкой.

И это знает, удивилась Евдокия Андревна.

— Нет, — ответствовала она. — Не осталось.

— И на сапоге спасибо, — поблагодарил Джером и вышел вон к поджидавшему его интернатскому привратнику.

Дожевав пятый по счету бутерброд с вареньем, Шаллер надел свитер и вышел во двор. В руках он держал мельхиоровый поднос с бутербродами и чаем. Закрывая за собою дверь, он уже слышал осточертевшее трещанье пишущей машинки и недовольно поморщился.

Елена Белецкая сидела в беседке на жестком табурете, склонясь над пишущей машинкой. От ее прямой спины балерины ничего не осталось, позвоночник принял форму ветки, отягощенной спелыми плодами. Давно немые волосы клочьями спадали на костлявые плечи, а бесцветные глаза ничего не замечали вокруг, лишь внимательно следили за рождающимися строчками. Елена быстро печатала, давя пальцами рыжих муравьев, бегущих по клавишам. Все пространство вокруг беседки, да и сам стол, над которым скрючилась Белецкая, были усыпаны осенними листьями. Бордовые, желтые, кленовые и осиновые — они навалом лежали и на крыше дома, иногда слетая и источая аромат солнечной осени. Поскольку дождей почти не было, листья не прели, сохраняя всю прелесть позднего многоцветья.

Генрих Шаллер движением руки очистил стол от листьев и поставил на него поднос. Взял другой поднос, точно такой же, оставленный накануне, с нетронутой едой, и унес его в дом.

„Селедка, — подумал Шаллер про свою жену без раздражения. — Что пишет, одному Богу известно...“

Он вновь вышел во двор и остановился, глядя на спину Елены, на торчащие лопатки — совсем как ошипан-

ные куриные крылышки... Из-за забора слышалось кудахтанье кур, перемежавшееся с похлопыванием крыльев.

Она скоро превратится в курицу, умирающую от истощения... Мальчишки, отличающиеся жестокостью, иногда натачивают вязальные спицы и одним движением убивают глупых кур, пронзая их крохотные сердца.

Шаллер представил, как он вонзает длинное жало в рыжее сердце жены, как она падает лицом на клавиши пишущей машинки, заклинивая лапки с буквами на белом листе бумаги.

Он вновь подошел к столу и взял стопку исписанных листов.

„Что это может обозначать? — думал Генрих, внимательно вглядываясь в написанное. — Какой-то анархический подбор букв. Что означает, например, КОМ-ЛДУГШРИ ВАР, ПЛРЦЗЕОЫАМТ или ППП ШШШ СТИМВАЧО? И таким текстом исписано более трех тысяч листов. Абсурд какой-то!“

Генрих Шаллер подумал, что все же его жена, вероятно, сошла с ума, строча вот уже почти год какую-то тарабарщину. Прошлой осенью она сообщила мужу, что начинает большую работу и оставляет Генриха на долгое время в одиночестве. Шаллер горько ухмыльнулся: как будто он до сей поры был обласкан вниманием своей красавицы жены.

Белецкая в тот же час села за старенький „драйтмахер“ и с этой минуты более ни на что не реагировала. В течение следующего года она не съела и крошки хлеба, не выпила и капли воды, хотя Шаллер три раза за день ставил перед ней поднос с едой. Первое время он пытался заговаривать с женой, но никакой реакции от нее не добился.

Обеспокоенный, он вызвал домашнего врача Струве, тот более часа ходил возле робота, отстукивающего непонятный текст, слушал сердце Елены со спины в трубочку, заглядывал в уши и не переставал удивляться вслух:

— Странное дело!.. Поистине странное дело...

Затем Струве трогал бока Белецкой, проверяя жировую прослойку.

— Вы говорите, что она вот уже месяц ничего не ест?

— Именно так, — отвечал Шаллер. — Ничего.

— Поразительно! Тогда каким же образом она сохраняет способность работать? И не пьет ничего?

— Ничего.

— Фантастика!.. Это первый случай в моей практике! Да и, пожалуй, в мировой! Вы позволите навещать вас чаще?..

— Как вам будет угодно.

— Благодарю вас.

После осмотра Елены Белецкой Генрих Шаллер и доктор Струве пили на веранде чай.

— Вы знаете, — говорил доктор, посасывая яблочную карамельку. — Природа странная штука... Иногда выкинет такой фортель, что голова кругом идет. Все, чему долгие годы учился, чему в конце концов посвятил жизнь, оказывается бесполезным перед какими-то явлениями. Существуют же индийские йоги, способности которых ни наука, ни медицина объяснить не могут. Какой-то человечешка с чалмой на голове удерживает на животе слона или сидит под водой в течение двух часов... А тут в журнальчике прочел, как один велел себя живьем закопать и не выкапывать целый месяц... Правда, когда экспериментатора этого через месяц выкопали, то черви успели сожрать его труп наполовину... Концентрация, дорогой Генрих Иванович, великая вещь — концентрация... Вот и уважаемая Елена Алексеевна, может быть, сконцентрировалась на чем-нибудь великом... Все бывает в этой жизни... Транс...

— Что же, она тоже йог? — спросил Шаллер.

— Может быть, и йог, или что-то в этом роде. Так или иначе, случай неординарный...

В дверях появилась рыжая курица. Она некоторое время разглядывала беседующих, вертя головкой, затем освоилась и принялась клевать с пола.

— Вот никчемная птица! — сказал Струве. — Странная штука, вы заметили, что со времени нашествия мы вовсе перестали есть курятину? Куры стали как голуби, живут, как хотят. Грязные никчемные птицы!

С тех пор доктор Струве стал навещать Шаллера каждую неделю и не переставал удивляться силе человеческого духа, способного удерживать тело без пищи и воды столь неограниченное время.

„Может быть, она из атмосферы всасывает в себя калории и воду? — думал Шаллер, разглядывая жену в окно. — Порами тела всасывает“.

Шаллер вновь представил себе отточенную спицу, торчащую из спины Елены, и, отгоняя от себя видение, решил пройтись к бассейну, расположенному на пустыре за его домом.

Как говорили, этот бассейн построили шестьсот лет назад китайские монахи для отправления своих религиозных нужд. В бассейне всегда была горячая вода из минерального источника, заключенного буддистами в трубы. Впрочем, горожане к бассейну не ходили, будучи православными ортодоксами. Чаше посещали русские бани с веничками и квасом и от этого получали свое наслаждение.

Шаллер же, наоборот, частенько наведывался к источнику, выливающемуся в большую, выложенную цветными изразцами ванну, плавал в ней нагишом и чувствовал себя от этого прекрасно. Одиноким пловец был скрыт от посторонних глаз полуразрушенной стеной из белого камня, а потому был свободен в выборе поз и выражении лица, не рискуя быть замеченным случайным прохожим.

Генрих разделся, аккуратно сложил вещи и, осторожно ступая по мраморным ступенькам, спустился в воду. Окунулся с головой и широкими саженками доплыл до противоположного бортика. Там достал ногами до дна, откинул голову на теплую плитку и закрыл глаза, наслаждаясь.

Шаллера всегда удивляла способность воды приво-

дять душу в состояние полнейшего спокойствия и удовлетворения. Своим теплом, миллионами крохотных пузырьков, поднимающихся со дна, йодистым запахом она умиротворяла все чувства Генриха, вплоть до эротических. В воде было приятно думать, мысль текла размеренно, сама собою, и радовала своей новизной.

„Почему рыбы так молчаливы и спокойны, особенно в тропических водах? — думал Шаллер. — Потому что им тепло, а в теплой воде много растительной пищи и можно без особого труда ее добывать. Теплая вода имеет удивительную способность рождать красоту, хотя красота отнюдь не обязательно имеет доброе начало, зачастую наоборот: тот, кто красив, тот ядовит, кто неказист — имеет светлую душу. Некрасивые люди часто погибают при столкновении с красотой, красота пожирает их души, питаясь ими. Красота не может быть прекрасной, ей свойственно хищничество, как цветку растения пескеи, приманивающему к своим разноцветным лепесткам дуру муху вроде как для любви, а на самом деле — к смерти“.

Шаллер открыл глаза и увидел в синем небе тусклую звезду.

Так и женщина приманивает своими прелестями незадачливого мужчину, жаждущего любви, но делающего шаг к смерти с каждой любовной утехой...

„Господи, сколько же лететь до этой звезды? — прикинул Генрих. — Столетия? Тысячелетия?.. Как же понять, как же осознать бесконечность? Как может чему-то не быть конца?! Но если действительно поверить, что существует бесконечное количество вселенных с их огромными величинами, то, вероятно, существуют и бесконечно малые величины... — Мысль Генриха, подгоняемая теплой водой, спокойно потекла, прокладывая новое русло. — Ведь если существуют штуки меньше атома, то существует что-то и меньше этих штук... Если взять секунду и разделить ее на тысячу, то получится одна тысячная секунды. А если разделить на миллиард, то одна миллиардная... Что же это получается? — поду-

мал Шаллер, чувствуя, что подобрался к чему-то важному. — Следовательно, секунда времени может делиться без конца, как и преумножаться. Значит, последнее мгновение жизни человека длится бесконечно... Так что же получается — человек бессмертен в своем последнем мгновении? Значит, человек бессмертен в бесконечно малой величине! Но бессмертен!.. — Генрих зажмурился от своего открытия. — Вот она истина, — прошептал он. — Истина — в бесконечно малых величинах!“

Шаллер поплыл. Он плавал от одного бортика к другому, вкладывая все силы своих могучих рук в каждый гребок, пока не привык к своему открытию, пока не понял, что оно принадлежит только ему, что он один знает о бессмертии человека.

Он шумно дышал, отдыхая на мелком месте, как вдруг ему показалось, что из-за кустов на него смотрят чьи-то глаза. Шаллер прикрыл неприличное руками и шарахнулся в глубину. Поглядел с другого конца бассейна, но ничего подозрительного не увидел.

„Показалось, — подумал Генрих. — Или кошка бездомная забрела“.

Шаллер еще некоторое время поплавал и, слегка устав, выбрался на берег. Трещали под ногами осенние листья. Он оделся на мокрое тело и направился к дому, решив все же поиграть железом.

Поднимая к небу двухпудовые гири, Генрих подумал, что на этот раз не случилось Лазорихиева неба, вполне вероятно, что небо не выдержало в один день двух великих прозрений.

Надо было, конечно, сначала гирями позаниматься, а уж потом в бассейн идти, заключил Шаллер. Придется из ведра ополаскиваться...

Генрих Шаллер стоял у зеркала и оправлял полковничий мундир. Он собирался в гости к Лизочке Мировой.

„Все же моя связь с ней слишком затянулась, — думал полковник. — Мне за сорок, и я должен пожалеть девушку. Вся ее жизнь впереди. Она переживет удар. Юность легче переносит любовное горе, чем зрелость.“

Зрелость сто раз взвесит, прежде чем на что-то решится, а молодость бросается в пучину чувств без оглядки, с головой. Может быть, юное создание и способно сильно страдать, но все сильное быстро проходит, тогда как взрослый человек мучится годами, тоскливо, словно мается больными зубами... Скажу ей сегодня, — решился Шаллер и подумал, что решался на это уже множество раз. — Сегодня скажу непременно!..“

Он вывел из гаража потрепанный „краузевергер“, залез в бак канистру горячего, попробовал плотность баллонов и, усевшись на кожаный диван, нажал на газ.

Дорога к дому Лизочки Мировой была хорошей, и если бы не тупоголовые курицы, то и дело бросающиеся под колеса, можно было бы развить приличную скорость.

Все же в конце пути „краузевергер“ подцепил бампером черного петуха, тот было заорал, но тут же попал под колесо и, хрустнув костями, замолчал навеки.

Шаллер был вынужден остановить автомобиль, чтобы стереть с шины кровь. Местные дамы столь впечатлительны, что вид крови может лишить какую-нибудь особенно нервную чувств.

С придорожного поля слетелось воронье и, восторженно каркая, принялось разрывать на части еще дрыгающегося в конвульсиях петуха.

Шаллер подъехал к дому Лизочки, когда на Чанчжоэ уже спустились сумерки. Судя по количеству авто, скопившихся возле ограды, гостей собралось изрядно. Вот роскошный „блендер“, принадлежащий губернатору, а это экипаж митрополита Ловохишвили — черный, блестящий, с никелированными подвесками и шофером-монахом, задремавшим на водительском месте. Автомобили попроще принадлежали поклонникам Лизочки.

„Хотя самый простенький автомобиль — мой“, — подумал Шаллер и вошел в дом, одернув китель.

— Господин Шаллер! — возвестил дворецкий, открывая перед Генрихом тяжелые двери.

Парадная зала была залита светом шести хрусталь-

ных люстр со множеством переливающихся подвесок. Генрих подумал, что изрядно опоздал, так как некоторые гости уже танцевали под струнный квартет заезжих музыкантов. Неслышно подошел официант с подносом шампанского, и Шаллер взял бокал розового. В отражении зеркала он увидел губернатора Контату, живо рассказывающего что-то отцу Лизочки, седому льву с орденом святого Лазарихия на смокинге. Тот заинтересованно слушал, изредка затягиваясь толстой сигарой.

В зале человек двадцать пять, прикинул Генрих. А где же Лизочка?.. Он огляделся, но девушки не обнаружил. Вероятно, в своей комнате, с поклонниками.

Возле мраморной колонны о чем-то чирикали Лизочкины подружки.

Это — Анна Лапа, дочь шерифа. Рядом с нею Франсуаз Коти — двадцатитрехлетняя красавица, к которой давно сватаются самые богатые юноши со всех окрестностей. И Фыкина Дарья — толстушка Берти, как называют ее подружки. Слишком любит пирожные, особенно те, что с заварным кремом.

Девушки уже заметили Шаллера и о чем-то шушукались, хитренько поглядывая на полковника.

„Как все же хороша Франсуаз, — отметил Генрих. — Но уж слишком недоступна. В позапрошлом году от несчастной любви к ней застрелился корнет Фурье. Выстрелил себе в висок медвежьей картечью... То-то крови вылилось из дурачка... До сих пор поговаривают, что Коти хранит девственность“.

— Генрих Иванович! — услышал он позади себя. — Полковник Шаллер!..

Генрих обернулся. К нему, чуть склонив тело вправо, спешила мать Лизочки.

Вера Дмитриевна, моложавая дама с хорошо сохранившейся фигурой, протянула руку в белой кружевной перчатке.

— Мы уж, грешным делом, думали, что вы не придете!

Генрих поцеловал руку Веры Дмитриевны и щелкнул каблуками сапог.

— Как же я мог не прийти, дорогая Вера Дмитриевна!

— Уже и губернатор о вас спрашивал, и шериф Лапа интересовался: где же наш Генрих Иванович?

— Прошу простить меня.

— Хочу с вами выпить! — громко сказала мать Лизочки, так что кое-кто обернулся, и позвала официанта.

А она подшофе, понял Генрих. Впрочем, она всегда чуточку пьяна, а оттого добродушна.

— За вашу силу! — произнесла тост Вера Дмитриевна. — За вашу необыкновенную силу, — посмотрела в глаза Шаллеру лукаво и с легкостью выпила шампанское до дна.

— А где Елизавета Мстиславовна? — спросил Генрих.

— Разбирается с ухажерами. Сегодня их особенно много!.. Молодой Кусков, Брагин, Геймгольц пожаловал... Какие новости, дорогой полковник?

— Да какие могут быть новости в нашем провинциальном городишке! Это вы, уважаемая Вера Дмитриевна, прибыли-с из столицы. У вас и новости. Вам и делиться.

— Ах да!.. Забыла сказать. Господин Климов умер!..

— Что вы говорите!..

— Да-да... В одночасье... Удар. Не молод был, батюшка, девятый десяток разменял... Все наследство неслетное — двум дочерям. Дочурки-то так себе, дурнушечки отчаянные, но муженьки будут у них самые что ни на есть раскрасивые, денежки лучше всякой косметики красоту наводят.

Шаллер краем глаза заметил, как Франсуаз Коти взглянула на него, но, встретившись с его взглядом, поспешно отвернулась.

„Господи, какая у нее чудесная кожа, — подумал Генрих. — Как хочется провести пальцами по шее от нежного ушка с жемчужной капелькой к глубокой ложбинке над корсетом, в которой сейчас лежит кулон, подвешенный на цепочке“.

— Акции Земляного общества подскочили аж на три пункта. То-то переполох на бирже был. Все бросились хватать, но их кто-то уже скупил... Целиком!.. Вы меня не слушаете, Генрих Иванович, — обиженно сказала Вера Дмитриевна.

Шаллер сглотнул и развел руками.

— Как же это я вас не слушаю, Вера Дмитриевна! Вы про акции Земляного общества говорите. Что подскочили они на три пункта и их все скупили.

— А знаете, почему они подскочили?

— Никак нет-с.

— Может быть, вы и про Земляное общество ничего не знаете?

— Вынужден признаться, что ровным счетом ничего, — рассеянно ответил полковник и вновь поймал быстрый взгляд Франсуаз Коти.

— Да что же это вы, батюшка, от жизни отстали! Разве так можно... Ну так я вам расскажу... Два жиденка, Савва Абрамов и Ефим Заболянский, решили выпустить акции под земельную собственность. Выпустили... Но кто эти акции, скажите мне на милость, покупать будет? Кто такие эти евреи?! Никто их не знает, видеть не видел, и земля какая-то мифическая!.. Незнакомцы, одним словом, в мире бизнеса. Так что они придумали, мерзавцы!.. Угадайте?

Шаллер пожал плечами.

— То-то и оно, что такое только еврей придумать может, своей кучерявой головой. Вот смотрите: Савва Абрамов продал акции на три рубля дороже Ефиму Заболянскому. Тот, в свою очередь, еще десятку набавил и сбыл... Кому бы вы думали?.. Савве Абрамову!.. Тот опять накинуд монету и спихнул Заболянскому... Конечно же, никто на бирже не знал, отчего дорожают акции. Евреи-то не афишировали, что друг дружке бумаги продают. Мошенники!.. Так они полгода продавали акции сами себе, пока те не взлетели в цене в тридцать раз. А потом очень простой ход: продали весь пакет акций третьему лицу, постороннему. Тот несчастный

полгода наблюдал, как бумаги растут в цене, пока не решился их купить. Бедняжка думал, что приобрел море земли, а купил дырку от бублика.

— А еврей? — поинтересовался Шаллер.

— А что еврей?.. Евреев и след простыл. С такими деньгами везде хорошо. Даже еврею...

— Господин и госпожа Смит!.. — возвестил дворецкий.

— Ну, я вас бросаю! — заторопилась Вера Дмитриевна. — Хозяйка есть хозяйка. Столько хлопот!.. Вы уж, пожалуйста, не скучайте!.. Новости я вам рассказала, поделитесь с другими!.. Надеюсь, что Лизочка скоро появится.

Мать Лизочки, склонив тело на этот раз влево, поспешила навстречу чете Смитов, взмахнув руками, словно крыльями.

Шаллер не стал дожидаться появления Лизочки, а решил сам поискать ее. Проходя, он по-солдатски кивнул головой губернатору. Контата знаками показал, что они обязательно побеседуют позже, и Шаллер вышел из парадной залы в коридор, ведущий на женскую половину.

„Зачем такой большой дом для трех человек? — думал он, заглянув в очередную комнату и не найдя в ней девушки. — Какие, должно быть, огромные расходы на содержание такой махины. Все эти позолоченные канделябры, тканые обои тончайшего шелка, ковры ручной работы — для чего это все?..“ Полковник спросил себя: отказался бы он от такого дома, если бы ему предложили?.. „Нет“, — ответил себе честно Шаллер и отворил дверь четвертой комнаты.

Лизочка Мирова сидела в кругу своих молодых поклонников и слушала, как один из них, худощавый и черноусый, читал нараспев стихи.

Гекзаметр, понял полковник и, подчинившись жесту Лизочки, сел на диван, чуть поодаль от компании.

Он почти не слушал стихов, а смотрел на профиль девушки, все более уверяясь, что именно сегодня ска-

жет ей о разрыве. Разглядывая Лизочку, он почему-то представлял себе Франсуаз Коти, сравнивал двух девушек подсознательно, еще вовсе не отдавая себе отчета, зачем это делает.

— Генрих Иванович, что вы думаете о гекзаметре Александра Александровича? — спросила Лиза, когда молодой человек закончил читать и манерно поклонился, шаркнув ногой в изящном лакированном ботинке.

— Я не слышал сначала, — уклонился от ответа полковник.

— А все же? — настаивала девушка.

— Не люблю гекзаметры. Особенно русские. Они слишком отзываются натугой.

— Почему же? — вызывающе спросил худощавый молодой человек.

— Очень просто, — пояснил Шаллер. — В русском произношении двух долгих слогов подряд не бывает. И вообще разница между долгим слогом и ударением утрачена. А оттого такое стихосложение слишком манерно, и как-то не по-русски все это звучит, право.

Молодой человек недовольно пожал плечами, сел в кресло и оглядел присутствующих.

— А вы сами что-нибудь сочиняете? — спросил Шаллера другой молодой человек, более плотного сложения.

— Нет, — ответил Генрих. — Не сочиняю. Не чувствую за собой талантов.

— Понятно. Обычно критиками становятся те, кто не имеет талантов, но очень завидует тем, кто ими обладает.

— Признаться, я критиковал не таланты нашего досточтимого поэта, а лишь способ стихосложения. Если я чем-нибудь обидел вашего товарища, то прошу простить меня, произошло это невольно.

— Господа, господа!.. — весело обратилась к присутствующим Лизочка. — Может быть, кто-то еще хочет что-нибудь прочитать?.. Ну же!..

Но никто из присутствующих читать что-либо при

Генрихе Ивановиче не пожелал. В комнате зависла неприятная пауза, и Лизочка, разряжая атмосферу, пригласила всех пить чай с марципанами. Все отправились в чайную комнату, а Лизочка и Шаллер задержались. Девушка подошла к полковнику и положила голову ему на грудь.

— Зачем ты так? — спросила она с такой нежностью в голосе, что Генриха передернуло. — Они такие молодые и обидчивые. А ты такой сильный... — Лиза погладила плечо Шаллера, глаза ее заблестели, тон голоса сменился на игривый. — Ты умный, ты самый умный из умных, а они все глупые... — Ее пальчики проворно расстегнули нижнюю пуговицу мундира и ухватились за пряжку ремня. — Такие глупые они все... Они мне так надоели, ходят каждый день... — Она потянула пряжку на себя, и та расстегнулась. — А ты не приходил целую неделю... Разве так можно поступать!.. — Прохладные пальчики скользнули под нательную рубашку.

— Подожди! — попросил Шаллер.

— Не могу, — честно ответила Лиза и сделала своими пальчиками чудесную штучку, сопротивляться которой Шаллер уже не мог. Он лишь успел закрыть дверь на запор и, увлекаемый Лизочкой в водоворот страсти, помчался по течению к самой высшей ее точке.

Вероятно, не случись этого интимного момента, Шаллер бы так и не решился на окончательный разговор с Лизочкой, но страсть еще более опустошила его душу, он почти не мог смотреть девушке в глаза от неприятного ощущения, а резкие слова так и просились наружу.

Лиза сидела абсолютно обнаженная, кокетливо выпячивая грудь.

— Оденься, — попросил полковник.

— Я тебя смущаю, дорогой? — Лизочка вздернула подбородок. — Мое тело тебя слепит?

Шаллера опять передернуло.

— Оденься! — повторил он жестко.

Девушка почувствовала перемену в его голосе и прикрылась платьем.

— Что-то случилось? — спросила она.

— Да... Мы должны с тобой расстаться.

— Что?

— Нам необходимо расстаться! — повторил Генрих. — Мы больше не можем так общаться.

— Как? — шепотом спросила девушка.

— Так... Давай останемся друзьями...

Лизочка стала судорожно натягивать платье. У нее это получалось неловко, она никак не могла попасть рукой в рукав и оттого еще больше занервничала. Шаллер смотрел на ее бедра и почему-то вспомнил первое прикосновение к животу Лизочки, трепыхание ее тела под его большими руками; ему вдруг стало жаль девушку, и он решил говорить с ней мягче.

— Пойми, ты молода, ты очень красива, у тебя все впереди...

— Что впереди? — нервно переспросила Лиза, наконец справившись с платьем.

— Мне сорок шесть лет!

— Ну и что!

— Я женат, и я не могу просто пользоваться тобой, не думая о будущем... Твоим будущим.

— Почему ты должен думать о моем будущем?! Я сама в состоянии подумать о себе!

На глазах девушки появились крупные слезы. Она подняла лицо, чтобы не пролить их, и Шаллер чувствовал, что с Лизой вот-вот может случиться истерика.

— Только не плачь, ради Бога! Ничего страшного не происходит! Просто я не могу общаться с тобой безо всякой перспективы! Я женат на другой женщине и никогда не смогу стать твоим мужем. Не плачь, пожалуйста!

— Мне этого не надо, — ответила Лиза, роняя слезы на ковер. — Будь женат на другой женщине. Я согласна.

— Господи Боже мой! Я не согласен так!

— Как?

Лизочка уже полностью потеряла контроль над своими чувствами, и слезы катились по ее лицу свободно, как струи дождя по оконному стеклу. Она задавала во-

просы, не думая об их смысле, просто цепляясь за концы фраз Шаллера.

— Я уже тебе объяснял!.. Мы не можем с тобой спать!

— Почему не можем спать?

— Пойми меня!

— Что понять?

— Пойми наконец, что все кончилось!

— Что кончилось?! — Лизу трясло. Она смотрела на Шаллера, заливаясь слезами.

— Черт побери! — не выдержал полковник. — Возьмите себя в руки, Елизавета Мстиславовна! — закричал он. — И не тряситесь вы так в конце концов, как сумасшедшая, а то я уйду!

— Хорошо-хорошо... Я не буду трястись, только не уходите!

Неожиданно Лизочка вскочила с кровати и бросилась на пол, обхватив руками ноги Шаллера.

— Генрих Иванович!.. Не бросайте меня!.. Умоляю вас!..

— Перестань, Лиза!..

Полковник попытался поднять девушку с колен, но та так сильно вцепилась в его ноги, что он испугался сделать ей больно.

— Не бросайте меня, а то я не знаю, что с собой сделаю! Я убью себя! — закричала она так громко, что Шаллер занервничал.

— Успокойтесь, Елизавета Мстиславовна! Нас могут услышать, случится конфуз!

— Пусть слышат!..

Неожиданно девушка отпустила колени Шаллера. Глаза ее мгновенно высохли от слез и наполнились решимостью.

— Пусть слышат! — твердо сказала Лизочка, вставая на ноги. — Только конфуз произойдет с вами! И еще какой конфуз!.. Если вы меня бросите, Генрих Иванович, так запросто, то я объявлю во всеуслышание, что вы взяли меня силой!

Пораженный, полковник смотрел на Лизочку, которая совершенно успокоилась и поправляла волосы, глядясь в зеркало.

— Боюсь, Елизавета Мстиславовна, вам не поверят.

— Поверят, еще как поверят!

— Неужели вы думаете, что после ваших угроз я с вами буду продолжать какие-либо отношения?

— Это ваше право выбирать, — ответила Лиза, и Генрих увидел, как зло сверкнули ее глаза в отражении зеркала. — В доказательство своих слов я объявлюсь беременной.

— Вы же не беременны, Елизавета Мстиславовна. Это легко удостоверить.

— А откуда вы знаете, что я не беременна? — повернула к Шаллеру лицо Лизочка.

— Я был осторожен.

— А вы что, единственный в мире мужчина, от которого можно забеременеть?

— Конечно, нет... Вы хотите сказать, что у вас есть еще любовник?

— А почему нет?.. — Лизочка взяла пудру и дунула на пуховку, пуская пылевое облачко. — Вы его сегодня видели... Тот, который гекзамер читал.

— Ну что ж, Елизавета Мстиславовна, он молод, — ответил полковник. — И у него есть некоторые литературные способности. Вам и карты в руки. Тем более что вы ожидаете ребенка.

— Значит, вы одобряете мой выбор? — спросила Лизочка, поправляя прядки волос над ушами.

— Во всяком случае, не порицаю, — ответил Шаллер. — Да и имею ли я право на это...

Лизочка села на краешек подзеркальника. Пуховка выпала из ее рук. Плечи девушки опустились, и она с тихой посмотрела на Генриха.

— Вы меня не любите, — мрачно проговорила она. — Теперь я это понимаю наверное... Конечно же, у меня нет никого, кроме вас. Я не беременна... Это все от отчаяния... Слова эти... Надеюсь, вы понимаете меня?..

Полковник кивнул.

— Я знаю, что после всего, что я вам наговорила здесь, вы меня будете ненавидеть...

Шаллер попытался что-то сказать, но девушка замотала головой:

— Не перебивайте меня, пожалуйста!.. Да-да, вы будете меня ненавидеть!.. Или, на другой случай, просто презирать, что отнюдь не лучше... Но знайте, что я вас любила. Вернее сказать, я вас и сейчас люблю, со всем безумием, на которое способна женщина!..

На глазах Лизочки вновь показались слезы.

— Нет-нет, не волнуйтесь! Со мной более не случится истерики! Просто я хочу договорить вам все, но не совсем владею собой...

Она провела по лицу тыльной стороной руки, размазывая слезы, и продолжала почти спокойным голосом:

— Вы были все это время для меня идеалом мужества! Вы великолепный и великодушный человек. В вас я нашла все то, чего желает от мужчины любая женщина. Вы, как великий музыкант, способны играть на струнах женской души, извлекая из нее те звуки и чувства, о которых не догадывалась и сама женщина... Спасибо вам, Генрих Иванович, за все! Спасибо хотя бы за то, что вы создавали иллюзию, что любите меня!..

В который раз за сегодняшний вечер Шаллер почувствовал, что его передергивает. Но сейчас он был готов простить девушке эту приторную высокопарность, тем более что это был момент расставания, когда благородная и чувствительная натура форсирует свои переживания, нарочно мучая себя все более. Такова была и Лизочка. Она готова была выпить чашу горечи до дна, сама тянула к ней нежные ручки, поднося отраву к алым губкам.

— Признайтесь честно, — трагически попросила девушка. — Любили ли вы меня когда-нибудь?

— Да, — сказал неправду Шаллер.

— Когда?

Полковник чуть было не расхохотался. Он чуть было

не ответил, что любил Лизочку с половины второго до трех часов пополудни по нечетным дням месяца, но взял себя в руки и усилием воли заставил соответствовать свое выражение лица происходящему.

— Будьте спокойны, Елизавета Мстиславовна. Я вас любил... И не в этом дело. Просто в жизни мужчины, особенно когда он достигает определенного возраста, возникает желание одиночества. Желание остаться наедине со своими сокровенными мыслями. А любое чувство к женщине отвлекает его от мышления... Надеюсь, вы меня понимаете, Елизавета Мстиславовна?

Девушка покорно кивнула в ответ, и Шаллер решил сделать ей приятное.

— Никто не знает, что преподнесет ему жизнь в будущем. Вполне возможно, что все мысли будут додуманы до конца, что наступит духовное опустошение и все вернется на круги своя. Чувства вернутся, и раскаяние охватит душу.

Полковник понимал, что поступает нехорошо. Он отдавал себе отчет, что этими туманными выражениями дает ей надежду, но ничего поделать с собой не мог, слишком сладостно было это чувство — владеть любовной ситуацией, направляя порывы Лизочки в различные стороны.

— Все может измениться, Лизочка!..

— Как я люблю вас! — воскликнула девушка, и ее щеки разгорелись. В ее душу вошла надежда.

— Жаль, Елизавета Мстиславовна, что мы с вами не родили галактику! — произнес Шаллер.

— Что?

— Да нет, ничего.

— Я готова, я готова вам родить! — со всем отчаянием заговорила Лизочка. — Я знаю, у вас нет детей и вы мучаетесь этим безумно. Я готова родить вам сына, даже не будучи вашей женой официально! Вы можете на меня рассчитывать, Генрих Иванович!

Шаллер понял, что надо немедленно заканчивать разговор, либо ситуация грозит полностью выйти из-под контроля и дойти до абсурда.

— Останемся друзьями! — жестко сказал полковник. — А сейчас, Елизавета Мстиславовна, приведите себя в порядок! Вы должны выйти к гостям, а то подумают о нас с вами Бог весть что!.. Я выйду первым...

— Хорошо, — покорно ответила Лизочка.

— И не жалейте пудры для своего прекрасного лица! — напутствовал напоследок Шаллер и четким шагом вышел из комнаты.

Полковник возвращался в парадную залу тем же длинным коридором, которым пришел. Несмотря на то что дело с Лизочкой Мировой решилось, Генрих не знал, радоваться этому или нет. В какой-то части его души притаилась тоска, грозящая перерасти в сомнение: правильно ли он поступил в этой ситуации? Вполне вероятно, что девушку можно было оставить при себе. Она не была навязчивой, не мучила его страданиями от неопределенности отношений и была прелестной в интимные моменты. С другой стороны, и полковник придавал этому немалое значение, девушке надо было строить свое будущее, и он, считая себя человеком вполне благополучным, не мог лишиться ее перспективы нормального брака. Но самым главным фактором их разрыва послужило то, что Шаллер никогда, ни единым мгновением не любил Лизочку Мирову, а потому устал от нее, утомился ее телом, слишком страстной любовью к нему и всем тем, что ее сопровождает... Однако в душе все же была тоска, и полковник списал ее на счет своей чувствительности и неспособности причинить человеку боль, после чего сразу же забыл об этом.

Генрих Шаллер вышел в парадную залу и тут же оказался в обществе губернатора Ерофея Контаты, который приобнял его и подтолкнул к дальней стене, где было не столь многолюдно.

— Ну-с, Генрих Иванович. — Контата заглянул в глаза полковнику. — Что нового, что приятного?

— Господин губернатор, только у сильных мира сего могут быть новости и в связи с ними всякие приятствениости.

— Полноте, Генрих Иванович! Во-первых, для вас я просто Ерофей Ерофеевич, а во-вторых, кто же тогда сильный мира сего, как не вы! — Губернатор, не переставая обнимать полковника, пощупал его бицепсы. — Сталь! Литье!.. Чугунное литье!.. Вы из тех русских богатырей, о которых нам бабушки в детстве сказки рассказывали. Вы — Лексис Залесский, победивший Лакуниса! — Губернатор убрал руку с плеча Шаллера и, сменив задорное выражение лица на серьезное, сказал: — Никогда не забуду того, что вы сделали для моего сына и для меня!

— Ерофей Ерофеевич, столько лет прошло... Да и сделал я то, что любой бы на моем месте сделал.

— Нет, голубчик мой! — потряс пальцем с изумрудом губернатор. — Не любой! Далеко не любой!.. Это были отъявленные звери... Знаете ли вы, что на их счету были десятки загубленных душ?! Они резали свои жертвы на множество кусочков, словно это были не люди, а свиньи, и перед смертью человек принимал такие мучения, что любой житель ада содрогнулся бы от такой картины... И ради чего мучили?! А не ради чего. Просто так. Просто для забавы! Не за деньги, а для наслаждения!.. Скоты!.. Но зверью и зверская смерть!.. — Контата перевел дух. — А знаете ли, Генрих Иванович, что после того, как изуверов четвертовали, патологоанатом извлек из их черепов мозги и констатировал, что они на четверть больше, чем мозги нормального человека. Не значит ли это, что человечество мутирует и чем больше у него извилин, тем больше оно звереет?

Шаллер задумался над предположением губернатора и согласился, что в его мысли есть нечто рациональное.

— Да, — ответил он. — Чем человек развитее, тем более изощренные развлечения ему требуются. Это правильное умозаключение.

— Вот-вот! И я так думаю!.. Когда-нибудь человек дойдет до такой степени развития, что придумает себе развлечение наподобие Апокалипсиса. Сам себе его устроит и Бога не попросит о помощи!

— Закон не допустит Апокалипсиса, губернатор.

— Полноте, Генрих Иванович! Какой закон, если человек желает зрелища смерти, как мужчина желает женщину после годового воздержания!

— Юриспруденция, Ерофей Ерофеевич, развивается вместе с развитием цивилизации. И с каждым новым прецедентом беззакония возникает прецедент создания нового закона. И не потому, что человечество столь морально, отнюдь нет. Просто юриспруденция — это наука, профессия. Ею занимаются профессионалы, и у каждого из них амбиции создать свой закон или на худой конец поправку к нему, так, чтобы в следующий раз не могла возникнуть ситуация, на которую бы не нашлось подходящего закона. Юристы отнюдь не святые. Среди них преступников не меньше, чем среди других членов общества, но они творят законы в силу своей профессии, исходя из общепринятых понятий о морали. Это точно так же, как вы, губернатор, следите за соблюдением законности на вверенной вам территории. И согласитесь, что вы также не чужды обыкновенных человеческих слабостей. Но тем не менее вы не насаждаете домов терпимости и не устраиваете гладиаторских боев, где можно ткнуть большим пальцем вниз.

Шаллер сомневался в том, что губернатор Контата поспевает за его мыслью, но сам увлекся этой темой и потому продолжил:

— Возьмите, Ерофей Ерофеевич, классический пример со святым Лазорихием. Ведь он убил свою мать за то, что она отравила двух его братьев и двух сестер. Уже после этого на процессе стало известно, что мать Лазорихия, подсыпая в пищу кристаллы цианида, отправляла на тот свет еще сорок шесть человек, проживавших в гостинице, ей принадлежащей. С одной стороны, все наши человеческие симпатии на стороне Лазорихия. Он свершил акт возмездия, спасая еще Бог весть сколько людей. Но с другой стороны, прерогатива казнить принадлежит государственной власти, то есть вещи, так сказать, неодушевленной, не персонифициро-

ванной. Ведь что такое государственная казнь? Она у нас не ассоциируется с палачом, у которого есть жена, который три раза в день принимает пищу и отправляет свои естественные потребности... Государство, как милующее, так и карающее, — понятие абстрактное. У него нет ни рук, ни мозгов. А святой Лазорихий — обычный человек с бородой и усами, решивший самостоятельно свершить правосудие. Он убил свою мать и до собственной смерти отчаянно мучился морально. Он уничтожил две ипостаси. Первую — свою мать и вторую — убийцу. Его психика раздвоилась. Он не какой-нибудь моральный урод, убивший свою родительницу. Он просто потерял точку отсчета морали... Все наши симпатии, наши человеческие симпатии принадлежат, еще раз подчеркиваю, ему. Но государство — не человек, у него нет лица. У него нет симпатий. И оно без сожаления казнило Лазорихия за убийство, пусть совершенное и в благородных целях. А вследствие этого и другие, замыслившие убийство, не будут рассуждать, благородна ли их цель, рискуя отправиться вслед за жертвой на плаху.

Шаллер взглянул на губернатора и понял, что Контата заскучал, так и не поспев за мыслями полковника. Впрочем, и сам Генрих не угнался за своими рассуждениями, а потому решил додумать их в одиночестве, еще раз уверившись, что понимающего слушателя, а тем более собеседника в этом обществе ему не найти.

— Между тем, — сказал губернатор, — между тем тысячи свидетелей казни Лазорихия, в момент отделения головы от туловища, видели некое уплотнение розового сияния, устремившееся из обезглавленного тела в небеса.

— Я тоже это видел, — подтвердил Шаллер. — Это душа мученика. А любой мученик — святой, что и позволило нашему митрополиту на Священном Синоде убедить архиереев канонизировать Лазорихия. Тем самым Ловохишвили и вся православная церковь еще раз показали, что существуют отдельно от государства.

— А я орден святого Лазорихия ввел, — задумчиво констатировал Ерофей Контата. — Впрочем, Бог с ними, с Лазорихием и государством... Хотя столько крови вытекло из шеи... Бог с ними, Бог... — замахал руками губернатор. — Я же вам хотел одно предложенье сделать...

Шаллер с любопытством посмотрел на губернатора и вдруг увидел проходящую невдалеке, с бокалом шампанского, Франсуаз Коти. Сердце полковника екнуло.

— Генрих Иванович. Вы же знаете, что наши предприятия, производящие куриную продукцию и экспортирующие ее во многие страны мира, день ото дня разрастаются?

Шаллер кивнул. В этот момент девушка обернулась и встретилась глазами с полковником. Она подумала, что кивок предназначен ей, и Генрих отчетливо увидел смешок, этакое еле уловимое растягивание пухлых губок в надменной улыбке. Девушка слегка поклонилась в ответ.

— Мы уже целиком и полностью застроили „климовское“ поле и собираемся откупить Гуськовский лес для дальнейшего расширения, — продолжал губернатор. — Ежегодно мы продаем до десяти миллионов куриных тушек в том или ином виде. Поэтому, как вы понимаете, нам нужно застраивать новые площади более современными производственными корпусами. Мы ввезем из-за границы самое лучшее оборудование и установим его в нашем родном городе. Тем самым мы рассчитываем утроить прибыли и значительно увеличить процент отчислений в казну Чанчжоз. Но с таким расширением предприятия нам становится все сложнее контролировать ситуацию в производстве... Улавливаете мою мысль, Генрих Иванович?

— Пока нет, — признался полковник.

— Сейчас поймете... Участились случаи намеренной порчи имущества на наших предприятиях. Один из рабочих-китайцев принес на ферму огнемет немецкого производства и живьем спалил тысячу кур. Вы не пред-

ставляете себе, какое зрелище предстало перед нами! Это сплошной ужас! Тысяча обугленных тушек!.. А вонь какая!.. До сих пор в носу сладость стоит! Никогда не думал, что живьем спаленная плоть так сладко пахнет. Хорошо, что пожар на ферме вовремя успели потушить!

— А что с рабочим? — поинтересовался Шаллер.

— Доктор Струве признал его невменяемым психически. Временное помешательство на почве куринофобии.

— У нас скоро у всех случится фобия.

— Вот в этом и смысл моего предложеньица, — подошел к самому главному губернатор. — Нам требуется более совершенная система охраны производства. На это мы тоже не пожалеем денег. Ввезем современные охранные системы, этакие электрические устройства, найдем квалифицированный персонал... Дорогой Генрих Иванович, я предлагаю вам возглавить службу охраны на всех наших предприятиях. В вашем подчинении будет более сотни человек!

Шаллер искренне удивился:

— Я же никогда этим не занимался!

— Все мы учимся! Все мы постигаем премудрости жизни лишь в самом процессе жизни. Так что научитесь, Генрих Иванович! Вас в городе уважают!.. К тому же жалованье для начала — сто тысяч годовых. Как вам это?! — Контата с жадностью экспериментатора заглянул в глаза Шаллера. — Как вам такое предложеньице? Ну-с?

— Вы меня огоршили, — честно признался полковник. — Не знаю, что и ответить вам, Ерофей Ерофеевич!

— Я знаю, что вы в конце концов ответите, дорогой полковник. Но вы все же не торопитесь с ответом. Переспите с моим предложеньицем ночь-вторую, а потом и скажете мне свое решение. Договорились? А теперь мне надо переговорить с уважаемым митрополитом, если найду его... Пьет, поди, портвейн в обществе Веры Дмитриевны, где-нибудь в дальних апартаментах. — Конта-

та огляделся по сторонам. — Думайте, полковник, думайте! Все-таки как я завидую вашему богатырскому здоровью, Генрих Иванович!

Губернатор отправился разыскивать митрополита Ловохишвили, а Шаллер заметил на другом конце залы Лизочку Мирову. Лицо ее было слегка припухшим, но это можно было списать за счет вечерней усталости. Она искусно подвела глаза, припудрила носик и о чем-то разговаривала с толстушкой Берти; рядом, на столике с тонкой ножкой, стоял разоренный поднос с заварными эклерами. Неподалеку крутились поклонники, а молодой человек, читавший гекзаметр, зло поглядывал в сторону полковника.

Шаллер решил уходить. Он поочередно раскланялся с гостями и напоследок кивнул Лизочке. Она как-то неуверенно улыбнулась в ответ, пошевелив пальчиками на покрасневшей ручке, и что-то беззвучно сказала, а что — полковник не разобрал.

Генрих Иванович прошел вдоль ряда автомобилей; судя по их количеству, гости еще не разъезжались, а, наоборот, прибывали. Монах-шофер по-прежнему спал в авто митрополита, а из приоткрытого окошка серьезно пахло вином.

Шаллер завел свой „краузвергер“ и не спеша вывел его на шоссе. Всю дорогу он размышлял над предложением губернатора. Сама работа полковника не интересовала, какой бы она ни была. Но деньги!.. От такой суммы нелегко отказаться, ой как нелегко... Сто тысяч!.. С другой стороны, работать за такие деньги придется не покладая рук, свободного времени будет крайне мало, если оно вообще будет... А как же тогда озарения? Как же с процессом мышления, если голова будет занята охраной куриных гузок?

Размышления Шаллера прервал затор на дороге. Через шоссе неторопливо переваливала колонна кур. Они никуда не торопились, поклевывая асфальт в свете фар. Пестрые и одноцветные, они вспыхивали в темноте маленькими красными глазками.

„Выделили бы средства на заграждения вдоль дорог“, — с легким раздражением подумал Шаллер и в зеркальце заднего обзора увидел свет фар приближающегося автомобиля. Машина поравнялась с авто полковника и затормозила, пережидая куриную колонну. В салоне зажегся свет, и Шаллер опознал в водителе Франсуаз Коти. Девушка читала газету. Полковник тоже включил свет. Затем слегка коснулся сигнала, „краузвеггер“ пискнул, и Франсуаз обернулась. Шаллер развел руками: мол, ничего не поделаешь, надо пережидать эту куриную реку, пасущуюся на проезжей части. Девушка кивнула в ответ и, взмахнув копной волос, вернулась к своей газете. Генрих Иванович немного обиделся и подумал, что с таким характером девственности Коти ничего не грозит... Он погасил лампочку, устроился на сиденье поудобней и резко вдавил педаль газа в пол. Машина рванулась, оставляя за собой кровавые лепешки в перьях.

„Пусть почитает“, — подумал полковник, представляя, какой гвалт взбешенных кур стоит сейчас на оставленном участке дороги.

Франсуаз Коти смотрела вслед автомобилю полковника Шаллера и надменно улыбалась. Она не была сентиментальной, а потому кровь раздавленных кур ее никак не волновала.

Джером зевнул. Боль постепенно проходила, уступая место желанию действовать. Мальчик встал с кровати, приподнял матрац и вытащил из-под него самопал. Изделие представляло из себя грубо обструганную деревяшку в виде ручки, к которой была приделана стальная трубочка, выкрашенная в черный цвет. Из тумбочки Джером достал большой спичечный коробок и принялся соскабливать в жестяную баночку со спичечных головок серу. Он делал это с особой тщательностью, чтобы с серой в баночку случайно не попали кусочки дерева.

„Куда бы пойти сегодня? — думал мальчик. — Где на этот раз выбрать позицию для стрельбы?“ Возле „климовского“ поля он был вчера, да и приметные там места, могут заметить, и тогда пощады ждать не придется. Будут бить чем попало!.. Джером подумал, что давно не залегал возле Плюхова монастыря, где водятся особенно жирные куры, и тем самым место было определено.

Джером прикинул, достаточно ли он начистил серы. Хватит на десять выстрелов... Он выудил из кармана шорт мешочек на длинном шнурке, раскрыл его и вывалил содержимое на стол... Тридцать две дробины, пересчитал он. Можно заряжать по три штуки зараз. Лишь бы ствол не разорвало...

Мальчик плотно закрыл банку и засунул ее вместе с мешочком в карман, затем достал из-под кровати пустую бутылку и поместил ее между ремнем и животом, прикрыв рубахой... Солнце уже садится, отметил он,

глядя в окно. Ну ладно, в случае чего буду ориентироваться по куриным глазам — они в темноте светятся, как красные мишени.

Джером вышел из комнаты и огляделся по сторонам. Коридор был пуст.

Больше всего неохота встречаться с Бибиковым, подумал он, шагая к выходу. Если все же встретится и будет лезть своими жирными руками, выстрелю из самопала прямо в свинячью рожу! Чтобы кровяшка из глаз брызнула!

Но Бибиков не повстречался Джерому. Зато возле самого выхода на голову мальчика неожиданно опустилась линейка г-на Теплого, как раз в это время входящего в здание интерната.

— Гулять? — рассеянно спросил г-н Теплый.

— Угу, — ответил Джером, увидев, что на этот раз линейка оказалась логарифмической.

— Ну-ну...

Учитель пошел по коридору, мыча про себя что-то нечленораздельное, а мальчик с удовлетворением отметил, что Бибиков пока еще не успел настучать на него. А то бы не видать ему сегодня охоты. Вместо нее пришлось бы всю ночь держать руки в холодной воде.

Джером смачно сплюнул вслед г-ну Теплому.

Снаружи было тепло. Вечернее солнце красило облака, застывшие на небосклоне, а деревья понемногу роняли листья, которые, медленно кружась, падали под ноги Джерома.

Путь к Плюхову монастырю лежал через городские пустыри, краем задевая корейский квартал. Мальчику нравилось проходить по кривым улочкам, по которым то и дело сновали маленькие человечки, обтянутые желтой кожей. Он любил заходить в их лавочки и часами бродить вдоль полок со всевозможными приправами в баночках с цветными этикетками. В магазинчиках нос Джерома вдыхал неведомые ароматы, сравнимые лишь с фантазиями о дальних странах, а глаза успокаивались на чужеземных надписях, называемых иероглифами.

Его никто и никогда не гнал из магазинчиков, наоборот, хозяева неизменно улыбались ему, когда он входил, а потом, когда он растворялся между полками, забывали о нем и щебетали по-птичьи между собой о чем-то своем...

Сегодня Джером не имел времени посетить корейскую лавку. У него была другая цель — поскорее добраться до Плюхова монастыря, а потому он быстро миновал любимые места и вышел из города на проселочную дорогу.

Быстро темнело, и по-человечьи свистели ночные птицы.

„Если бы я был птицей, — думал Джером, — я бы мог быстрее добираться до нужной цели. Я летел бы над рекой, вдыхая свежесть ее потока. Я бы вертел маленькой головкой и замечал все мелочи вокруг — всякие травинки и ползущих по ним насекомых. Я бы мог отдыхать на верхушках самых высоких деревьев и рассматривать всю округу. Я бы мог видеть всех людей и всех животных... Я был бы птицей-одиночкой и никогда бы не сбивался в стаю... Волкам необходимо быть в стае, иначе им не справиться с большим оленем или лосем... Одни волки загоняют, а другие нападают... Лось — красивое животное, хотя у него и неуклюжая морда. Такая большая и непропорциональная сильному туловищу... Странно, что животные всегда красивы, а лица людей часто безобразны... Если бы лось посмотрел на мое лицо, он бы наверняка решил, что мои черты уродливы... Странно, почему я сейчас вспомнил о лосе? Лося я видел только на картинках в учебнике по зоологии... Есть же на свете всякие умные ученые, которые составляют книжки и видели в жизни столько, сколько не видела даже птица, перелетающая на огромные расстояния. Если бы я был птицей, я мог бы сидеть на роге лося, ехать на нем и смотреть, что тот ест, наклоня морду к земле. Если бы на лося напали волки, я мог бы взлететь и посмотреть свысока, как тот погибает, загнанный волчьими укусами. Потом бы я увидел, как во-

лки едят лося. Таким образом, я бы смог узнать, как ест лось и как питаются лосем волки... Лишь бы не превратиться в курицу", — подумал мальчик.

Он шел по проселочной дороге вдоль реки, замечая то тут, то там стайки клюющих кур... В этом месте и дорога и река делали крутой поворот, за которым на холме стоял Плюхов монастырь с зеленым куполком, окруженный высоким забором.

„Нет, — подумал Джером. — Иногда и люди бывают красивыми“.

Мальчик вспомнил, как неделю назад, беспечно болтаясь по чанчжозьским окраинам, он случайно наткнулся на заброшенный бассейн с горячей водой. Бассейн испарял какие-то минералы, клубясь паром. На его поверхности плавали осенние листья, особенно яркие в воде. Джером было уже собрался искупаться, даже снял одежду, но тут на противоположной стороне появился человек в военном мундире, который о чем-то думал, был весь в себе и не обращал внимания на окружающую его природу. Он тоже разделся (Джером еле успел убраться в кусты боярышника) и забрался в воду. Глядя на голое тело незнакомца, мальчик искренне удивлялся. Оно было похоже на совершенство — тело, неторопливо рассекающее мощными гребками водную гладь. Могучая спина, на которой могли бы без труда усесться трое таких, как Джером, бугрилась мышцами, словно под кожей незнакомца работали шатуны огромного механизма. Ноги, подобные двум винтам, пенили воду, возбуждая мириады пузырьков... Человек некоторое время, фыркая, поплавал, затем откинул голову на борт, закрыл глаза и, казалось, заснул. Джером видел, как мерно вздымается его грудь, а руки, словно вырезанные из дерева, лежат на воде.

Мальчик, думая, что незнакомец спит, сделал неосторожное движение; затрещали ветки, и человек открыл глаза.

Джером был в полной уверенности, что огромный мужик его приметил. Он поднял с бортика голову и стал

вглядываться в заросли, щуя глаза. Мальчик замер и пересидел опасность... Мужик вылез из бассейна и, одевшись на мокрое тело, неторопливо пошел своей дорогой. Между ног у него было столь густо и темно, что Джером испугался: ему никогда не стать таким взрослым...

Мальчик подходил к Плюхову монастырю и думал о том, что непременно опять сходит к бассейну и искупается в нем. Еще ему было крайне интересно узнать, кто этот незнакомый мужик с телом Зевса, нарисованного в учебнике по античной истории.

Размышления Джерома прервала маячившая невдалеке фигура в монашеских одеждах. Монах не спеша шел в ту же сторону, что и мальчик. Видимо, Джером шел быстрее и нагнал его в дороге.

Отец Гаврон, узнал мальчик и замедлил шаг.

Монах нес в руках какую-то бутылку, сжимая ее бережно, словно дитя.

„Формоль“, — подумал Джером.

Поговаривали, что отец Гаврон был болен диабетом — сахарной болезнью и что он в муках изобрел какое-то вещество, лечащее его от тяжелого недуга, которое сам же и называл формолью. Поговаривали, что обыкновенное живое существо формоль убивала наповал двумя каплями, но только не отца Гаврона. Он принимал ее по полстакана натошак каждое утро, что давало ему возможность жить и работать на подворье самые тяжелые работы.

Особенно непослушных учеников интерната отдавали на перевоспитание в Плюхов монастырь, и попадали они непременно в келью отца Гаврона. Монах умел перевоспитывать, выбивая спесь из послушников непосильным трудом и коротким сном под утро. От этих послушников город и узнал про изобретенную монахом формоль.

Джером знал, что рано или поздно сам попадет под монастырский замок, но не огорчался, а, наоборот, надеялся, что ему удастся стащить хоть самую малость ле-

карства, являющегося сильнодействующим ядом. А уж он найдет ему применение.

Мальчик еще немного замедлил шаг, давая монаху возможность оторваться... Потом обошел монастырь по правую руку и отыскал пригорок невдалеке от речки, за которым было удобно устроить засаду. Он улегся на землю и стал наблюдать за курами, пасущимися на плодородном берегу. Их было в этом месте великое множество. Всех мастей и величин, глупые в своей безмятежности в этот вечерний час, они представляли собой великолепные мишени... Джером осторожно достал из кармана самопал и дробь. Насыпал в трубочку серы и отсчитал три дробины. Оглядевшись еще раз по сторонам, оттянул боек и приготовился к стрельбе, заметив двух жирных петухов, черного и пестрого, которые так важно вышагивали в траве, как будто только что узнали о присуждении им Нобелевской премии в области физики.

Мальчик тщательно прицелился и спустил курок. Заряд с грохотом угодил в пестрого петуха. Его голова, словно тухлый помидор, разлетелась на множество осметков, а обезглавленное тело в предсмертных конвульсиях забегало по мокрой траве, обливая кровью испуганных сородичей, бросившихся врассыпную.

— Есть! — заорал Джером во все горло. — Да! Да! Да!

Он рванулся вдогонку за убегающей жертвой, догнал ее, навалился всем телом и, пачкаясь в густой крови, дождался последних петушиных судорог.

Если бы кто-нибудь в этот момент видел Джерома, то понял бы, что мальчик счастлив этой минутой. Его лицо лучилось диким восторгом, губы растягивала широкая улыбка, а пальцы, сжимающие мертвую тушку за ноги, так и тряслись от возбуждения.

Джером вытащил из-под ремня бутылку и принялся педить в нее кровь из петушиного горла, давя на тушку коленом.

„Вот ведь как мало в курице крови, — думал Дже-

ром. — И стакана не наберется! Не то что в человеке — четыре литра! А в лосе, наверное, крови два ведра!..“

Отбросив обескровленное тельце, мальчик отер бутылку от крови и перьев и, успокаиваясь, вновь залег за пригорок.

На этот раз ему пришлось ждать гораздо дольше. Куры, испуганные грохотом самопала, перекочевали подальше и теперь клевали возле самой реки, но все же зернышко за зернышком приближались к лобному месту.

„Вот твари безмозглые, — думал Джером. — Можно тысячу перестрелять, а они так и не поймут, что происходит... Лось непременно убежал бы с этого места и никогда бы впоследствии к нему не приближался, а эти — прожорливые — ползут на смерть“.

Джером перезарядил самопал и прицелился в кудахчущую птицу.

На этот раз он попал курице в крыло. Жирная тварь завопила в гневе, хлопая по боку здоровым крылом, закрутилась на одном месте, пытаясь избавиться от боли.

Мальчик проворно выбежал из засады, прыгнул на раненую курицу и в одно движение скрутил ей голову. Затем повторил ту же процедуру, что и с предыдущей жертвой, — выдавил в бутылку теплую кровь и тщательно заткнул горлышко пробкой.

Джером уходил в засаду и стрелял, пока не кончилась сера и дробь. Ему удалось подстрелить еще шесть птиц. Дважды, когда совсем стемнело, мальчик промахивался, что приводило его в бешенство. Тогда он лежал на земле, смотря в небо, и ждал, пока самообладание не вернется к нему.

Бутылка на три четверти наполнилась густой кровью, чернеющей на глазах. Джером спрятал ее за ремень, согревая стекло теплом своего живота, и отправился в обратную дорогу.

„Ужин я пропустил, — думал мальчик. — Кто-нибудь из самых прожорливых сожрал мою свекольную котле-

ту и будет мочиться завтра борщом... Обидно, если на ужин все-таки дали картофельное пюре с селедкой..."

Джером взглянул на небо и увидел в нем луну — полную и со щербинками по краям.

„Пожалуй, двенадцатый час уже, — прикинул мальчик. — Весь интернат спит, и входные двери закрыты. Придется лезть через окошко туалета. Оно не запирается на ночь, проветривая помещение от хлорки и давая возможность припозднившимся попасть в свою кровать... Хочу быть министром иностранных дел у десятилетнего Базеля, коронованного на престол в прошлом месяце. Я мог бы ему многое рассказать про свои мысли. Десятилетние еще не могут думать по-настоящему, а потому нуждаются в помощи. А взрослый ребенку не помощник. Взрослый всегда — диктатор!.. Я бы рассказал Базелю, что есть в жизни вещи куда интереснее игрушек, например уничтожать кур. Базель бы выдал мне настоящее оружие, из которого бы я уж наверняка не промахнулся... Первым моим указом было бы запрещение разводить кур и разрешение на неограниченный отстрел одичавших... Я бы выдвинул ультиматум всем государствам, чтобы они в две недели уничтожили всех кудактающих птиц! Если же те не подчинятся — война! Война на полное уничтожение..."

Генрих Иванович сидел на террасе и пил пустой чай. Был первый час ночи, но полковник чувствовал, что ближайшие два часа сна не будет и что если он сейчас ляжет, то лишь напрасно промучается. До ушей доносился стрекот пишущей машинки, слегка раздражая. Раздражение не относилось к разряду механических шумовых воздействий. Скорее, Шаллера неприятно волновала интрига, скрывающаяся под непонятными словосложениями, изобретенными Еленой Белецкой. Полковник подсознательно боялся, что изобретение имеет свой смысл, что оно может в конце концов оказаться великим и Лазорихинево небо запылает кроваво не для него, призывая супружницу прикоснуться к истине.

Шаллер допил чай и отправился в ванную комнату. Он открыл кран с горячей водой и добавил холодную, смешивая струи до нормальной температуры. Затем бросил под струю английские шарики с персиковым маслом и квадратик прессованной соли, способной успокаивать нервную систему.

Пока ванна заполнялась водой, Генрих Иванович вышел на улицу и подошел к беседке, где в полной темноте Белецкая неумоимо щелкала клавишами пишущей машинки. Он подошел к жене сзади, некоторое время смотрел ей на затылок, что-то прикидывая в уме. Затем взял ее за подмышки и поднял со стула. Елена слабо застонала, пытаясь дотянуться до листов бумаги.

— Я тебя верну обратно, — зашептал полковник. — Нельзя же так! На кого стала похожа.

Он поднял жену на руки, ощущая, как легко ее тело, как чувствуются косточки под тонкой кожей. Белецкая слабо сопротивлялась, а когда Шаллер понес ее к дому, она заплакала.

Он внес жену в ванную и посадил на турецкий стульчик. Она невидящим взглядом уставилась в колени полковника и слабо взмахивала руками, словно дирижируя.

Печатает, понял Шаллер.

Он стал раздевать жену. Не торопясь, осторожно расстегнул пуговички платья и стянул его через голову Елены, ощущая кожей скопившуюся в материи грязь. Полковник бросил платье на пол и почти сдернул с Белецкой нижнее белье с истлевшими кружевами. Обнаженное тело Елены пахло осенью, а точнее, осенними листьями, пролежавшими всю зиму под снегом.

Шаллер опустил Елену в ванну, и жена опять застыла.

— Ничего-ничего, — проговорил полковник, с интересом разглядывая ее тело.

Так и недоразвившаяся грудь теперь и вовсе поблекла, а бесцветные соски от воды сморщились. Елена столь исхудала, что ребра выступили дальше, чем грудь, а угловатые бедра, казалось, способны издавать металлический звук при соприкосновении со стенками ванны.

Генрих Иванович стал набирать пригоршнями горячую воду и поливать ею плечи жены, наблюдая, как по ним бегут крупные мурашки, спускаясь по груди к низу живота, горящему слегка потускневшим золотом.

Он намыливал тело жены ласково и осторожно, словно это была кожа младенца, всего лишь неделю назад появившегося на свет. Благоуханной пеной намазывал подмышки Белецкой и тщательно выбривал

их своей старинной бритвой, когда-то принадлежавшей дяде... Он несколько раз мыл волосы Елены, пока они не заблестели на фоне ослепительно белого кафеля остатками рыжего...

Шаллер спустил воду и растер махровым полотенцем тело жены. Затем, распаренное, раскрасневшееся, он стал одевать его в свежее белье, старательно выбирая трусики и лифчик, чтобы не натирали от долгого сидения.

Закончив с одеждой, после всех кремов и питательных масел, которые Шаллер втер в кожу лица и шеи жены, он поцеловал ее в тонкие губы, тем долгим поцелуем, который случается от большого сострадания к родному и очень близкому человеку.

— Вот и хорошо, милая, — произнес Генрих Иванович. — Вот и хорошо...

Он вновь поднял ее, одетую, продолжающую по-детски хныкать, и отнес в беседку. Когда полковник усадил Елену на стул, она сразу перестала плакать, и ее пальчики со сломанными ногтями забегали по клавишам, сначала медленно, а потом все более разгоняясь, стремясь поспеть за зашифрованной мыслью.

Шаллер некоторое время еще постоял над Еленой, затем вдохнул полной грудью осень и ушел в дом, унося ее терпкий запах. Там он умылся холодной водой, тщательно вычистил зубы, вспомнил, что так ничего и не ел с утра, и отправился спать в свою комнату.

Он некоторое время лежал без сна, думая обо всем понемногу. Он вспоминал свои мысли о государственной казни, высказанные губернатору, и признавал их несовершенными и отвлеченными от текущей жизни. Также он немного грустил оттого, что причинил страдания Лизочке Мировой, и злился на Франсуаз Коти за ее надменность и за губки в высокомерной усмешке.

Последняя мысль, пришедшая полковнику перед сном, была идеей отнести Еленины страницы, исписанные непонятным текстом, учителю Интерната для

детей-сирот имени Графа Оплаксона, погибшего в боях за собственную совесть, слависту Теплому, известному городскому дешифровщику.

Полковник заснул. Все его большое тело расслабилось на прохладных простынях, широченная грудь вздымалась спокойно и равномерно, а голова в первые минуты сна была свободна от сновидений.

Джером подошел к зданию интерната. Ни одно окно не горело, а потому он, тихо ступая, зашел со двора, забрался на карниз и пошел по нему к туалетной комнате. Он широко раскинул руки по стене, чтобы сохранить равновесие, и маленькими шажками приближался к цели. Мальчик представил, что под его ногами разверзлась пропасть, и если он сделает неверный шаг, то его тело разобьется о скалы и он уже никогда не сможет думать.

Джером успешно добрался до незапертого окна, забрался на подоконник и спрыгнул на пол туалета.

— Ой! Кто это?! — услышал он испуганный голос.

— А ты кто? — в свою очередь спросил Джером.

— Я... я — Солдатов из второго класса, — ответил испуганный голос.

— А я — Джером из седьмого... Ты чего здесь делаешь?

— Сажу.

— А чего сидишь?

— Ты меня так напугал, что я мимо сделал...

— Не бойся! Я никому про это не скажу. Но и ты меня не видел. Понял?

— Понял, — отозвался Солдатов и грустно вздохнул.

Джером вышел из туалетной комнаты и, придерживая на животе бутылку, тихо побегал по коридору к спальням. Заглянул в свою комнату, учуял испорченный воздух и понял, что Супонин тоже вернулся и уже

спит. Мальчик осторожно затворил дверь и на цыпочках пошел к комнате, расположенной на другой стороне коридора. Он вошел в спальню, остановился посреди, прислушиваясь к дыханию спящих, затем вытащил из брюк бутылку, прислонил стекло к щеке, пробуя, согрелась ли кровь, подошел к кровати у окна и склонился над ней, рассматривая лицо спящего Бибикова. Гераня спал крепко, словно убитый. Он поджал под себя жирные колени, а толстая ладонка правой руки покоилась под свинячьей щекой. Рот Бибикова был приоткрыт, и от краешка губ к подушке тянулась дрожащая слюнка.

Джером открыл бутылку и осторожно стал поливать куриной кровью лицо Герани. Поскольку кровь нагрелась на животе, Бибиков не учуял ее липкости на своей физиономии и продолжал спать молодецким сном. Джером полил его щеки и шею, остатками измазал постельное белье и засунул опорожненную бутылку под кровать.

Потом мальчик присел на краешек матраса своего одноклассника и мягко потрепал его по плечу. Бибиков открыл глаза, чмокнул губами и втянул в себя слюну.

— Ты чего? — чавкнул он спросонья.

— Ты весь в крови, Гераня.

— Чего?

— У тебя из горла кровь хлещет, Бибиков, — пояснил мальчик.

Гераня сел в кровати и только сейчас почувствовал на своей коже липкое вещество, стекающее к брюху. Он мазнул по своему лицу пятерней и понюхал.

— Кровь, что ли? — произнес Бибиков удивленно. — Откуда? — попробовал на вкус.

— Я тебе горло перерезал, — сказал Джером. — Ты скоро умрешь. В человеке всего четыре литра крови, а из тебя уже полтора вытекло. Так что минут пять осталось. Не больше. Что ты сейчас чувствуешь, Бибиков?

Бибиков ошарашенно огляделся по сторонам, увидел темные пятна на белом пододеяльнике, завращал глазами, постепенно соображая, а когда наконец мысль в его

голове определилась, он в ту же секунду схватился за горло и завыл тихим голосом.

— Ты перерезал мне горло! — выл Гераня.

— Перерезал, — подтвердил Джером. — Кстати, а что сегодня давали на ужин?

— Ты убил меня...

— Да, сейчас ты умрешь...

— Мне больно...

— Потерпи мгновение.

— Я умираю...

Джером погладил Бибикова по голове, словно ребенка, у которого болит зуб.

— За все содеянное в жизни когда-то приходится отвечать, — заметил он. — А ответ может быть только один — смерть. Грешил ты или не грешил, все одно — смерть. Не так уж важно, рано или поздно ты сделаешь свой последний вздох.

Бибиков захрипел. Он держался обеими руками за горло, выпучив глаза, и ждал, когда сердце последний раз ударит в колокол души и та, лишившись равновесия, сдернется с места и устремится в неизведанное.

— Самое главное, дорогой Бибиков, *куда* направится твоя душа. Если говорить честно, положи руку на сердце, ей место там, — Джером ткнул пальцем в пол. — Но говорят, что дети в ад не попадают. А в раю тебя будет поджидать мой отец, капитан Ренатов.

— Мой отец — полковник, — жалобно выговорил Гераня. — Он тоже в раю... А твой — всего лишь капитан...

Джером задумался. В словах Бибикова была своя правота. Он решил переменить тему разговора:

— Скажи, Бибиков, что ты чувствуешь сейчас, когда тебе осталось одно мгновение? Ты видишь смерть?.. Как она выглядит?.. Тебе страшно?

Бибиков заплакал. Из его маленьких глазок потекли слезы, смешиваясь с куриной кровью. Он продолжал тихонько подвывать, боясь заорать во все горло, чтобы не ускорить свой конец.

— У тебя, Гераня, — продолжал Джером, — повреждена сонная артерия. Помнишь, мы проходили по анатомии. Артерия несет в себе кровь. Ее стенки снабжены эластичными мышцами. При каждом ударе сердца артерия сокращается, и оттого образуется пульс... Кстати, как твой пульс?

Джером взял Гераню за руку, нащупывая пульс на кисти.

— Ужас сколько крови! В тебе, Бибилов, почти столько же крови, как в лосе!.. А пульс твой нащупать не могу!

— Позови доктора Струве, — шепотом попросил Гераня. — Я боюсь...

— Доктор Струве не поможет. Когда он придет, твое тело уже начнет остывать и ты пойдешь синими пятнами!

Бибилов громко икнул.

— К твоим ногам привесят бирочку и похоронят на беднячком кладбище!..

На соседней кровати зашевелился Чириков — длинный, но очень худой подросток, крайне способный к математике. Он сел в кровати, протер сонные глаза и напялил на нос очки.

— Эй, что у вас там происходит? — Он протяжно зевнул. — Ночь на дворе, а вы лясы точите.

— Он мне горло перерезал... — заплетающимся языком проговорил Бибилов. — Я умираю...

— Чего-чего? — не понял Чириков.

— Я перерезал Бибилову горло, — отчетливо произнес Джером. — Он умирает. Не понял, что ли?!

Чириков охнул, слетел с матраса и включил в спальне свет. От открывшейся картины у него отвисла челюсть. Гераня сидел на краю кровати, сжимая руками горло. Вся его грудь и живот были вымазаны кровью, он трясся как в лихорадке, а по жирным ляжкам потекла желтая струйка, образуя на полу лужу. Долговязый подросток присел возле Бибилова и, кривя лицо, стал его рассматривать.

— За что ты его, Ренатов? — с ужасом спросил он.

— Нашло что-то, — ответил Джером. — Какая-то сила заставила...

— Эй, погодите-ка, погодите!.. — встрепнулся Чириков. — А что-то я раны не вижу!.. Ну-ка! — Он оторвал негнущиеся руки Бибикова от горла и внимательно рассмотрел его шею. — Ну, так и есть, раны-то нету, откуда кровь тогда?.. Странное дело...

Джером продолжал сидеть на кровати Герани, отвернувшись в сторону окна.

— Эй, Бибиков, у тебя чего-нибудь болит? — спросил Чириков.

— Горло, — просипел Гераня.

— Но раны-то нету... Просто кровь... Может, из носа?

— Я, пожалуй, пойду, — безразличным голосом сообщил Джером и встал. Звякнула бутылка, задетая его ногой. Она по-предательски выкатилась из-под кровати, сочась капельками куриной крови из горлышка.

— Та-ак!.. — протянул Чириков. — Так-так...

— Умираю, — прошептал Бибиков, ничего не замечая вокруг. — Последняя минута настала...

— Пошел я, — еще раз сообщил Джером.

— погоди! — Чириков схватил его за руку. — Не стони! — рыкнул он Геране. — Не сдохнешь ты! Не резал он тебе горло! Видишь — бутылка на полу!

Бибиков покрутил глазными яблоками. Он глянул сначала на пол, потом на Джерома, туго соображая.

— Ну, теперь понял?

Гераня ощупал свое горло и грудь, затем ноги, мокрые от мочи.

— Он же тебя просто вымазал в крови! Ничего он тебе не резал! Теперь-то ты понял?!

— Ну, чего схватился? — спросил Джером Чирикова, выдергивая руку.

— Тебе конец, Ренатов! — с сожалением отметил долговязый подросток. — Сейчас он придет в себя и тогда... Не завидую тебе...

— Так, значит, я не умру? — с надеждой в голосе спросил Гераня.

Джером хмыкнул. Чириков отпустил его руку и сел на свою кровать, с любопытством ожидая продолжения.

— Значит, говоришь, он меня вымазал кровью?

— Вымазал, — подтвердил Чириков. — Как дважды два...

И тут Гераня заревел, как бешеный медведь. Он вскочил с кровати, оскалив пасть, сжал кулаки и прыгнул на Джерома.

— Да я тебя, падла!.. — ревел он, осыпая голову мальчика ударами. — Я тебе, куриная потрошина, кишки выпущу и на шею намотаю!..

Избивая Джерома, Бибиков брызгал слюной, выплевывая ругательства, а Чириков воодушевленно наблюдал за этой картиной, изредка вскрикивая:

— Тише, ребята, тише!

— Бибиков, миленький!!! — визжал Джером. — Пожалей меня, родной! Я для тебя все сделаю!.. Пожалее-еей!..

— Тише, ребята, тише!..

Тут дверь в комнату отворилась. На пороге спальни стоял г-н Теплый в измятой пижаме и с метровой линейкой в руках...

„Это — конец“, — подумал Джером.

Г-н Теплый, будучи молодым человеком, закончил один из славнейших университетов Европы и считался в свои годы передовым представителем молодежи. Получив степень магистра филологии и являясь знатоком России, он свободно мог получить отличное место при Венском университете и читать студентам лекции о таинствах российской души. Ему также предлагали стать специалистом по России при японском императоре и переводчиком при герцоге Эдинбургском. Но от всего этого молодой человек отказался, примкнув к мистической секте под названием „Око“. Поговаривали, что это секта сатанистов, что на ее собраниях происходит нечто ужасное, вплоть до поедания органов, извлеченных из трупов, дабы продлить себе жизнь. Но слухи есть слухи... На самом деле никто доказательно не ведал о происходящем в секте. Ни одна душа своими глазами не видела разделанных трупов. Впрочем, чтобы вокруг „Ока“ не возникало нездорового ажиотажа, австрийские власти попросили сектантов выбрать место дислокации в какой-нибудь другой стране, определили им на выезд двадцать четыре часа и дали понять, что если сатанисты не уберутся, их ожидает тюремная камера.

Члены секты перебрались в Германию, где на вокзале им вручили листок с уведомлением, что они элементы крайне нежелательные в стране, и „Око“ транзитом перебралось в Венгрию. На таможенном посту мадьяр сектантов жестоко избили прикладами ружей. Особенно досталось Теплому. Молодой человек шесть месяцев

пролежал в госпитале, а на его голове на всю жизнь осталась вмятина.

После излечения славист пытался найти своих единомышленников, но следы местопребывания „Ока“ как в воду канули. Теплый решил было воспользоваться вакансиями, предложенными ранее, но в Венском университете ему отказали под тем предлогом, что все сроки ожидания вышли и место уже занято другим русоведом. Японский император прислал Теплому маленький ножищек для разделки мяса, с азиатской ухищренностью намекая слависту, что его дело быть мясником, а не консультантом при императоре. От герцога Эдинбургского ответа не было вовсе.

Теплый решил было вернуться на родину и попытать счастья устроиться при каком-нибудь университете, хотя бы в Казани. Но оказалось, что Россия изобилует знатоками русской филологии, надобность еще в одном отсутствовала, и, чтобы не умереть с голоду, сатанист Теплый согласился на место учителя в чанчжозейском Интернате для детей-сирот имени Графа Оплаксона, павшего в боях за собственную совесть.

Не имея средств, Теплый обосновал себе крохотную квартирку в самом интернате и на досуге занимался расшифровкой всяких замысловатых надписей, из-за злобности оставленных далекими и близкими предками, подрабатывая этим себе на жизнь.

Его способности к решению самых трудных ребусов проявились еще в больнице, когда он заживлял пробитый череп и маялся скукой. Как-то, пролистывая газеты, он наткнулся на статью известного археолога Беркгауза, нашедшего в Африке следы древнейшего народа, процветавшего четыре тысячи лет назад и владевшего письменностью. Об этом говорила небольших размеров гранитная плита с начертанными на ней символами. В статье Беркгауз сообщал, что ему не удалось найти ключа к расшифровке надписи, но он не теряет стремления, в самом ближайшем будущем надеясь найти разгадку. А еще в газете был помещен фотографический

снимок той самой плиты, найденной в саванне, с хорошо пропечатавшимися символами.

Поскольку никаких развлечений в больнице не было, Теплый употребил все ленивое время на расшифровку африканской надписи, выписав для этого всю необходимую литературу из букинистического магазина, и через месяц ему это удалось. Он тут же в восторге отписал десятистраничное письмо Беркгаузу, в котором привел перевод надписи и систему ее расшифровки. Африканская надпись гласила: „Я любил тебя, как Бог Дьявола“. К расшифровке Теплый приложил убедительные доказательства, что гранитные начертания относятся к более позднему периоду, приблизительно двести лет до нашей эры, а сама плита с надписями на ней вовсе не принадлежит древнему африканскому народу, а привезена на континент еврейскими поселенцами. Таким образом, открытие теряет свою заявленную ценность.

Через месяц Теплый получил письмо от археолога, в котором тот в грубой форме просил молодого невежду не лезть своим свиным рылом в царские покои классической мысли.

„Кретин! — писал Беркгауз. — Если ты еще раз приплешь мне карюли со своими глупостями, я отправлю тебя в самую вонючую тюрьму Пакистана, где тебе в уши будут засовывать ядовитых пауков!“

Более Теплый не сносился с Беркгаузом.

В Чанчжоэ Теплому удалось расшифровать надпись на могильной плите, высеченную перед смертью дедом Мстислава Борисыча Мирова, мужа Веры Дмитриевны, и ужасно интриговавшую весь город на протяжении сорока лет. „Не завидую вам, потомки, — гласила эпитафия. — Те, кто полз по земле, — взлетят, те, кто летал в поднебесье, — будут ползать, как гады. Все перевернется, и часовая стрелка пойдет назад“.

Надо отметить, что расшифрованная эпитафия не уняла интриги, а, наоборот, вселила в горожан какое-то мистическое уныние, так как покойный обещал потомкам в будущем что-то неприятное. Так или иначе, Ми-

ровы выплатили Теплому приличный гонорар, который он до копейки истратил на атласы судебной медицины, вставшие десятками тяжелых томов на книжных полках его казенной квартиры.

Утерав всяческую возможность блестящей карьеры, очутившись вместо императорского дворца в захолустном интернате для сирот, которым по тысяче раз приходилось втолковывать прописные истины, Теплый, как и множество русских интеллигентов, пустился по лесенке жизни в нескончаемый путь падения. Нет, он не запил, не колол себе в вены морфин, просто что-то приключилось с его сознанием, ставшим вдруг иным, нежели когда-то — нездоровым.

Коллеги-учителя замечали в Теплом какую-то странную безразличность ко всему окружающему, неряшливость натуры и тела. Более наблюдательные ловили странный блеск его глаз, особенно когда славист смотрел на некоторых детей, но предпочитали не обращать на это внимания, боясь выдать за действительное то, чего на самом деле не существует. Г-н Теплый ни с кем не общался, да и к нему никто не стремился, так как преподаватели в основной своей массе были мещанского сословия и считали филолога из падших аристократов, которые куда как хуже мещан. Лучше, как говорится, выслужиться до ефрейтора, чем из генералов быть разжалованным в старшины. Русский человек готов страдать пьяницам и убийцам, но никак не свергнутым царям.

Сегодняшним вечером к Теплому пришел посетитель. Это был богатырского телосложения мужчина в военной форме с полковничьими погонами на покатых плечах. В руках мужчина сжимал портфель свиной кожи.

— Генрих Иванович Шаллер, — представился гость.

— Чем могу-с?

— Разрешите войти?

Теплый пожал плечами, пропуская незнакомца в свою комнату. Сам зашел следом и поспешил закрыть некоторые книги, лежащие на письменном столе.

Генрих Иванович успел заметить какие-то странные фотографии. Ему на мгновение показалось, что на них запечатлены покойники и у некоторых из них выпущены наружу внутренности. Еще Шаллер услышал звуки скворчащей сковородки, по всей видимости находящейся за фанерной перегородкой.

„Однако какой странный человек“, — подумал он и уселся на предложенный стул.

— Э-э... Простите, как вас величать?.. — спросил Генрих Иванович.

— Теплый. Гаврила Васильевич Теплый. Чем могу-с?

Полковник на секунду замялся, думая, с чего начать.

— Я слышал, уважаемый Гаврила Васильевич, что вы закончили Венский университет?..

— Так точно.

— Хотя... Хотя к моему делу это отношения не имеет... Я...

— Секунду! — спохватился Теплый. — У меня там... — Он указал на фанерную перегородку, из-за которой уже потянуло горелым. — Я сейчас... — И вышел вон.

„Странный человек“, — уверился Шаллер. Какие у него длинные и сальные волосы, как у нигилиста, — именно такими он себе их представлял... Генрих Иванович оглядел книжные полки и с удивлением обнаружил на них книги с одной и той же надписью на разных языках: „Атлас судебной медицины“. „Вот тебе и филолог... Неприятный запах... Интересно, что он там себе готовит? Запах жареной селедки... Неужели этот тщедушный человек с нездоровым цветом лица когда-то закончил один из лучших университетов Европы?..“

Мысли урывками проскакивали в голове Шаллера, пока Теплый снимал с плиты сковородку с подгорелой кровяной колбасой и открывал форточку, проветривая кухню. Сам Гаврила Васильевич испытывал недовольство от неожиданного визита красавца полковника и нервно гадал, что того принесло под вечер. Он черпнул из ведра воды, прополоскал рот и вышел к гостю.

— Я, по всей видимости, оторвал вас от ужина?

— Ничего, — успокоил Теплый. — Я успею.

— Простите, мне трудно собраться с мыслями. Хотя... — Полковник положил портфель себе на колени, щелкнул замочком и вытащил из него толстую пачку исписанных листов. — Вот. — Он положил листы на стол. — Я слышал, что вы обладаете феноменальными способностями к разгадыванию всяких тайных надписей и ребусов.

— Это сильно сказано, — ответил Гаврила Васильевич. — Но у меня есть некоторый опыт.

Генриху Ивановичу показалось, что при этих словах Теплый хмыкнул. „Он не лишен тщеславия“, — подумал Шаллер и продолжал:

— Дело в том, что моя жена, Елена Белецкая, уже длительное время пишет. И не то странно, что она пишет и написала уже значительно, а то, что при письме она использует какой-то шифр...

— И вы хотите, чтобы я нашел ключ к этому шифру? — поспешил Теплый.

— Да, — подтвердил полковник. — Я готов заплатить за труды. Столько, сколько вы укажете.

Гаврила Васильевич задумался. Он сидел, скривившись, и поскребывал стол длинными ногтями.

— Не кажется ли вам, что это не совсем этично? — спросил Теплый. — Ваша жена что-то пишет, шифруя. Значит, она не хочет, чтобы кто-то посторонний прочитал ее записи.

Шаллеру стало неприятно.

— Вы еще не все знаете, — несколько резко сказал он. — Дело в том, что моя жена пишет, находясь... э-э, как сказать... в состоянии некой психической нестабильности... Я и доктор Струве подозреваем, что ее душой овладело какое-то озарение, вытеснившее сознание. Именно в состоянии озарения Елена Белецкая шифрует свои записи... Но может так случиться, что мы с доктором Струве ошибаемся. Что это вовсе не озарение, а просто помешательство, что на бумаге не шифр, а просто галиматья...

— Могу я полюбопытствовать? — спросил Теплый, протягивая руку к бумагам.

— Конечно. — Шаллер передал слависту листы.

Гаврила Васильевич разложил их перед собой, разглаживая первый, помятый и засаленный, глядя на бумаги внимательно, но подозрительно. Где-то под ребрами у него что-то зашевелилось, давая предчувствием понять сердцу, что перед ним не просто бред сумасшедшего, а плод изощренного мозга, немало потрудившегося над изобретением зашифрованного слова. Чем внимательнее Гаврила Васильевич вглядывался в напечатанные символы, тем более его охватывало волнение. Ничего похожего на своем веку он не видел, ни о чем подобном не читал, а потому щеки его окрасились румянцем, а душа наполнилась благоговением перед тайной, которую ему предстояло открыть.

Глядя на Теплового, полковник уже не сомневался, что тот возьмется за работу. Что-то магически привлекло учителя к бумагам, глаза подернулись туманом, а оттого в животе Генриха Ивановича страшно екнуло, и он уже наверное знал, что не параноидальный бред охватил тисками мозг его жены, а именно озарение.

— Ну что, возьметесь? — спросил Шаллер.

— Что? — переспросил Теплый, с явной неохотой отрываясь от бумаг.

— Беретесь ли вы отыскать ключ к шифру, если это шифр, конечно?

— Это — шифр, — заверил Гаврила Васильевич. — И я берусь.

— Сколько вам понадобится времени?

— Не знаю. — Теплый замотал головой. — Даже представления не имею... Ничего похожего я никогда не видел...

— А все же?.. Неделя? Две?

— Может быть, неделя... А может, и несколько лет... Вашу жену действительно посетило озарение. Не знаю, какой текст она зашифровала, бред или откровение, но, чтобы изобрести такой шифр, безусловно, нужно, чтобы

снизошло. Можете быть в этом уверены! Ваша жена — гений!

— О нескольких годах не может быть и речи! Постарайтесь сделать быстрее!

— По-моему, вы меня не поняли! Я только что сказал, что ваша жена сочинила гениальный шифр, и чтобы найти к нему ключ, нужно быть гением вдвойне. Безусловно, я постараюсь сделать все возможное, что от меня зависит. Но если бы я обещал вам сделать это быстро, то заведомо бы обманывал. Наберитесь терпения... — Теплый аккуратно сложил листы. — Мне тоже приходится рассчитывать на озарение... Я жду Лазорихино небо!..

Шаллера передернуло. Его неприятно удивило, что этот нечесаный и немывтый человек тоже, как и он, догадался про Лазорихино небо и тоже ждет озарения. Но Генрих Иванович не подал вида, что слова Теплого произвели на него такое сильное впечатление. Он напряг мышцы живота и выдохнул через нос.

— Вы правы, — согласился полковник. — Не будем спешить... Какие средства вам понадобятся?

— Это непростой вопрос! — Гаврила Васильевич задумался, продолжая царапать ногтями по столу. — Буду говорить откровенно. Безусловно, я бы взялся за эту работу даже только из академических соображений, но если вы мне предлагаете гонорар, то почему бы мне отказываться от него. — Теплый закатил туманные глаза. — Ну, скажем, десять тысяч за ключ и столько же за расшифровку.

Шаллер цокнул языком.

— Однако это недешево!

— Да и работа непростая.

— Согласен, — ответил Шаллер.

— Хорошо. Теперь я должен спросить у вас: все ли бумаги вы мне принесли?

— Нет. Проблема в том, что моя жена болезненно реагирует на то, что я беру ее бумаги. Я взял листы из середины.

— Могут понадобиться и другие.

— Я постараюсь...

Когда Генрих Иванович выходил из интерната, он вдруг представил себе, как славист ест прямо со сковородки что-то пригорелое, подцепляя пищу ногтями, топясь и чавкая.

„Странный человек“, — еще раз подумал полковник.

Между тем Теплый отнюдь не бросился в кухню поедать кровяную колбасу. Он попросту забыл об ужине, с головой уйдя в принесенные гостем бумаги. По опыту он знал, что, сколько ни вглядывайся в лишенные логики символы, в первые дни толку не будет. Но взгляд его напивался свинцовыми буквами, расставленными хаотично в строчки; радовался их таинственному порядку. Он словно мальчик, любующийся голыми женскими телами, дрожал от их нестройных рядов, трогал пальцами листы, прикрывая, как слепой, глаза.

Лежа в несвежей постели, Теплый уже чувствовал, предугадывал, что озарение рано или поздно сойдет на него — неожиданно, как снежная лавина на альпийские луга, и тогда над головой запылает Лазорихиево небо...

Именно в этот момент, в минуты наивысшего душевного подъема, г-н Теплый услышал дикие крики, доносящиеся из детских спален, расположенных дальше по коридору. Возвышенное возбуждение исчезло, растворившись в атмосфере без следа. Лицо слависта искривилось, тело передернуло, он выскочил из кровати и, схватив метровую линейку, помчался босой по коридору к детским спальням. Если бы кто-нибудь увидел Гаврилу Васильевича бегущим по коридору, то, вероятно, этот случайный наблюдатель испытал бы немало неприятных ощущений. Ему стало бы страшно.

„Это — конец”, — подумал Джером, глядя на учителя.

— Что здесь происходит? — спросил Теплый, разглядывая залитую кровью спальню. Губы его тряслись от злости, а костяшки пальцев побелели, намертво сжимая линейку. — Я еще раз спрашиваю: что здесь происходит?!

— Это ненастоящая кровь, господин учитель! — поспешил успокоить Теплового Чириков. — Здесь никто не умирает!

От вида крови Гаврила Васильевич несколько успокоился. Красная и липкая, она всегда действовала на его душу умиротворяюще и способствовала спокойному течению мыслей... Славист внимательно рассмотрел лежащего на полу Джерома, отметил, что из носа и рассеченных губ мальчика вытекает кровь именно настоящая, стопроцентного содержания, и подумал, что это не так уж и плохо. Затем Теплый окинул пристальным взглядом жирного Бибикова, тело которого было вымазано почерневшей кровью, а глаза вспыхивали злобой, словно бенгальские огни.

— Я еще раз спрашиваю: что здесь произошло?

— Понимаете, господин учитель, — замылся Бибиков, сделав шаг навстречу Гавриле Васильевичу. — Еще сегодня днем Ренатов обозвал вас одним неприличным словом...

— Жирная свинья! — прошипел Джером в сторону Бибикова.

— А я не мог просто снести, когда моего учителя оскорбляют! Я вынужден был проучить Ренатова, хотя, как я думаю, он вовсе не Ренатов, а самозванец!

— Тупой боров!

Гераня запнулся, глянул на Джерома и попытался поймать ускользающую воробушком мысль.

— Так вот... это... А ночью он пришел в нашу спальню и залил ее из бутылки кровью! Я так думаю, что он в морге достал эту кровь! Вон на полу бутылка лежит.

— Каким было оскорбление? — спросил Теплый.

— Господин учитель!.. — развел руками Бибилов.

— Не стесняйтесь, говорите.

— Непросто мне это...

— Я сказал, говорите!

— Он вас называл... э-э... дебилом! А я вот думаю, какой же вы дебил, если вы наш учитель! Я не мог снести такую несправедливость по отношению к вам. Ведь мой отец герой войны!..

— Ренатов пойдет со мной! Вы, — Теплый кивнул в сторону Чирикова и Бибилова, — вы остаетесь. Уберете спальню — и немедленно спать. Я сам разберусь с Ренатовым!

Когда Джером выходил вслед за учителем, он увидел торжествующего Бибилова, задорно подмигивающего вслед, и Чирикова, во взгляде которого сквозило безграничное любопытство.

— Ну-с, молодой человек, позвольте поинтересоваться, вы действительно считаете меня дебилом? — спросил Гаврила Васильевич, заперев дверь своей квартирки и усадив Джерома на табуретку. — Вы действительно меня так называли?

Джером уставился носом в пол и на вопрос учителя лишь цокнул языком.

— Ну-с, я вас слушаю.

— А чего это я должен отвечать? — пробубнил мальчик.

— Смелости не хватает?

— Хватает.

— Тогда что же вас удерживает от ответа на мой вопрос?

Джером облизал кровоточащие губы и поглядел на учителя.

— Я сейчас не злой, — ответил он. — А когда я не злой, мне трудно назвать человека в лицо дебилом... Даже если он на самом деле дебил...

— И почему же вы считаете меня дебилом? — Теплый ухмыльнулся и шлепнул линейкой себя по колену.

— Потому что вы ни за что бьете детей по голове линейкой.

— Интересный довод... А откуда кровь? Бибигов сказал, что вы взяли ее из морга... Вы что же, интересуетесь трупами?

Джером съежился. В глазах Теплого он рассмотрел неподдельный интерес.

— Не бойтесь, отвечайте! Для вашего возраста интересоваться покойниками — дело самое естественное. Позже этот интерес, правда, перерастает в желание осмыслить смерть... Кстати, вы, Ренатов, знаете, что рано или поздно умрете?.. Что вы будете лежать на льду, ожидая, пока вас закопают в землю?

— Вы тоже, — прошептал Джером.

— Что? — не понял Гаврила Васильевич.

— Вы тоже сдохнете! Ой!.. — Мальчик спохватился: — Я хотел сказать, что вы тоже умрете... Все умирают.

— Ты прав. Я тоже сдохну.

— Но вы, господин учитель, умрете раньше, чем я.

— Почему же это?

— Потому что вы старше.

— Совсем не факт, что старший умирает раньше младшего. Совсем не факт. — Теплый тряхнул сальными волосами и внимательно посмотрел мальчику в глаза. — Хочешь удостовериться в этом?

И, не дожидаясь ответа, встал, подошел к книжным полкам, проглядел корешки и вытащил книгу красного переплета.

— Смерть бывает не только вследствие старения, как бы ты, Ренатов, этого ни хотел. Прелесть и ужас смерти — в ее неожиданности. Она может прийти в виде несчастного случая или насилия...

Учитель сел рядом с Джеромом, положив красную книгу на стол.

„Атлас судебной медицины“, — прочитал про себя мальчик. — „Дети“.

— Раскрой, — предложил Гаврила Васильевич.

Джером раскрыл книгу и прочитал под заглавием: „В этом атласе описано более трех тысяч детских смертей, причиной которых стало насилие“.

— Можно смотреть дальше?

— Да-да, конечно.

Мальчик повернул страницу и увидел множество крохотных фотографий детских лиц с закрытыми глазами. На лицах не было никаких повреждений, но что-то неуловимое говорило Джерому, что души этих детей давно на небесах.

— Переворачивай дальше, — предложил славист. — Дальше будет интересней.

Джером еще повернул страницу. То, что он увидел, куда более затронуло его чувства. В половину книжной страницы была помещена цветная фотография мертвого обнаженного подростка, лежащего на патологоанатомическом столе. Грудь мертвеца была испещрена множеством ран, которые уже не кровоточили, а бордовыми полосками украшали мертвенно-бледную кожу. Голова мальчика лежала неестественно — как понял Джером, по причине увечья. В области височной кости была огромная вмятина с рваным краем, из которой выглядывало мозговое вещество. Руки покойника находились в области вскрытого живота и как бы поддерживали вылезающие из брюшины кишки.

„Ему, наверное, столько же лет, сколько и мне, — подумал Джером. — У него еще не росли волосы на лобке“.

„Тринадцатилетний К., жертва серийного маньяка, — было написано над фотографией. — Многочисленные проникающие ножевые ранения в области груди. Открытая черепная травма. Множественные разрывы кишечника...“

Другая фотография на странице рядом была портретом жертвы. Умерший мальчик смотрел с фотографии на Джерома, и была в лице его печаль.

— Так он же живой! — вскричал Джером.

— Нет-нет! — замотал головой Теплый. — Он умер. Просто ему открыли глаза и направили в них свет. Это такой эффект. Поэтому кажется, что он живой... Ты не хочешь есть?

— Что? — переспросил Джером.

— Тебя сегодня не было на ужине. Наверное, ты хочешь есть. У меня есть жареная кровяная колбаса. Хочешь? Только ее нужно разогреть.

— Нет, — ответил Джером. — Спасибо. Что-то не хочется есть...

Теплый закрыл книгу.

— На первый раз достаточно. Теперь ты понял, что смерть приходит не только за стариками. Смерть с удовольствием подкарауливает юность.

— А что такое — маньяк? — спросил мальчик.

— Это такой криминальный термин. Это спорный термин... Я расскажу тебе об этом как-нибудь в следующий раз. А теперь тебе надо умыться. Смой с лица кровь и отправляйся спать!

— Значит, вы не будете сегодня бить меня линейкой по пальцам?

— Не буду, — ответил Теплый, пристально разглядывая Джерома. — Тебе и так сегодня досталось. Можешь идти...

Придя в свою спальню, Джером разделся и укрылся

одеялом с головой. Он слышал дыхание Супонина и его постанывания во сне. И почему-то представил Супонина вместо К. лежащим на патологоанатомическом столе, отчетливо увидел, как он держит в руках свои кишки... Только у Супонина, в отличие от К., растут на лобке волосы... У К. никогда уже ничего не вырастет... Джером потрогал ладошкой у себя внизу живота, грустно вздохнул и заснул...

Прежде чем уснуть, Гаврила Васильевич немного думал о зашифрованной рукописи, о полковнике, ее принесшем. Долгими мысли были о Джероме. Теплый вспоминал разбитые губы мальчика и худые ноги в старых шортах.

„Он совсем не испугался“, — думал славист, вспоминая, как Ренатов с любопытством разглядывал атлас... Придет время, и он испугается...

Губернатор Контата собрал у себя членов городского совета.

— Господа! На повестке дня у нас два вопроса! — возвестил глава города. — Во-первых, нам надо наконец решить проблему с начальником охраны! Участились случаи нападения на кур на нашем производстве. Вследствие этого мы несем ощутимые убытки, несет убытки и город.

— Вы говорили нам о полковнике Шаллере, губернатор, — напомнил митрополит Ловохишвили. — Достойная кандидатура. Смел, волевой и не избалован аристократической мишурой...

— Да-да, — согласился скотопромышленник Туманян. — Очень достойный человек.

— К сожалению, — пояснил Ерофей Ерофеевич, — к сожалению, полковник Шаллер отказался от должности.

— Мало предложили? — поинтересовался г-н Бакстер.

— Достаточно.

— Почему же он тогда отказался? — спросил г-н Персик, хотя ему было вовсе наплевать на Шаллера. Он его попросту не знал.

— У Генриха Ивановича другие интересы. Они несколько расходятся с нашими.

— Говорят, у него с женой что-то не в порядке, — высказал версию г-н Мясников. — Говорят, что она слегка сошла с ума и сочиняет какой-то труд на непонятном языке.

— Это кто же вам сказал? — спросил митрополит, приглаживая бороду.

— Кто, кто!.. Все говорят.

— Мне, например, ничего такого не известно.

— А вы, митрополит, у нас не от мира сего! — констатировал Бакстер. — Вам доподлинно известно только одно — величина вашего состояния. — Он вытащил из футляра трубку и набил ее табаком, искоса поглядывая на Ловохишвили.

— Господа, господа! — недовольно протянул Контата. — Довольно пикировок. Скоро уже десять лет, как мы с вами выбраны в городской совет, а все одно и то же происходит. Умерьте свои чувства! Ведь общее дело делаем!

Губернатор прошелся по кабинету, втягивая в себя аромат трубки, раскуриваемой г-ном Бакстером.

— Итак, есть ли у вас другие кандидатуры на должность начальника охраны?

— Уеду я отсюда... — с грустью сказал г-н Персик.

— Ну к чему вы сейчас это!

— Я?! Не знаю... Как-то вырвалось...

— Да пусть едет! — сказал г-н Туманян. — А процент его поделим! Все равно бесполезная фигура!

— Господа, господа! — заскулил Персик. — Не знаю, как это у меня получилось! Может быть, от романтики!.. Считайте, пожалуйста, что я этих слов не говорил!

— Тогда предложите кого-нибудь в начальники охраны!

— В начальники охраны?.. Я сейчас... Мне кажется, что лучшей кандидатурой... — Персик замаялся, но через некоторое время лицо его просияло: — Отец Гаврон! Да, конечно, отец Гаврон! Вы помните, как он отличился на строительстве? Во всех отношениях достойная фигура!

— А что... — прикинул Контата. — В этом что-то есть!

— Почему все время мои люди?! — рассердился митрополит. — Что вам, мирских людей не хватает? При

чем здесь куриное производство и монахи?! Какая связь? У нас монастырь вегетарианский! Мяса монахи не едят, почему они должны охранять производство, вместо того чтобы служить Богу?! Бред какой-то!

— Это хорошо, что вегетарианцы! — поддержал г-н Бакстер. — Кур не пожрут!

— Это неостроумно, — заступился за митрополита губернатор. — Но согласитесь, святой отец, что лучшей кандидатуры, чем отец Гаврон, мы не найдем! Опять же, значительные отчисления от доходов идут церкви!

— Хорошая кандидатура! — поддержал г-н Туманян.

— Не пойму, как монах будет ходить с ружьем?..

— Так и будет. Наперевес, — пыхнул дымом Бакстер.

— Ай... — Митрополит махнул белой рукой и принялся рассматривать пейзаж за окном.

— Если мы решили с первым вопросом, а я думаю, что так оно и есть, тогда переходим к вопросу второму. — Губернатор прокашлялся. — Неделю назад на имя городского совета пришла бумага интересного содержания. Всем нам известная организация купца Ягудина просит разрешить строительство на главной площади и помощь в финансировании этого строительства.

— А что за строительство? — спросил г-н Мясников.

— В том-то и дело! В этом-то и завыка!.. — Контата на некоторое время замолчал, собираясь с мыслями. — Строительство небывалое...

— Не тяните, губернатор! — не выдержал митрополит.

— Ягудинцы хотят возвести на площади башню.

— Какую башню? — спросил Персик. — Водонапорную?

— Нет, не водонапорную... Они хотят возвести Башню Счастья...

— Что?! — не понял Ловохишвили.

— Вы не ослышались, митрополит. Ягудинцы желают строить Башню Счастья, чтобы уйти по ней на небе-

са. Они считают, что таким образом избавятся от смерти, перейдя по кирпичам в лоно Божие.

Губернатор пошевелил на столе бумагами и вытащил одну.

— Вот проект, — показал он. — Ягудин обещает закончить строительство в два месяца и основные расходы понесет самолично.

— Чушь! — выпалил митрополит. — Не понимаю, Ерофей Ерофеевич, для чего вы вообще нам об этом сказали! Бросьте эту бумагу в урну, и забудем об этом! Нонсенс! Эка глупость — Башня Счастья!

— Я тоже так считаю, — согласился губернатор. — Башня Счастья — абсурд! Но организация Ягудина — не абсурд, а реальность! Это политическая сила, которую в последнее время поддерживает большая часть горожан! И знаете, что самое интересное?.. — Контата выдержал паузу. — Самое интересное, что даже корейцы поддерживают идею постройки Башни Счастья! Лютые враги объединились под одной идеей! Вот почему, дорогой митрополит, я не мог умолчать об этой бумаге.

— А зачем нашему народу нужна Башня Счастья? Разве он не счастлив? — удивился г-н Персик. — Такие средства расходуем на благосостояние населения. Интернаты строим, больницы...

— Пусть строят! — сказал г-н Бакстер и пустил колечко дыма в потолок. — Чего мы от этого теряем?

— А сколько этот Ягудин денег просит? — полюбопытствовал г-н Мясников.

— Полмиллиона, — ответил губернатор.

— Ну, не построим одну больницу. Всего-то... Желание народа все-таки!..

— Идиотизм! — закричал Ловохишвили. — Какая башня?! Какое счастье?! Вы что, все с ума здесь посходили?! Народ собрался уйти на небеса, а вы ему еще денежки на это даете!

— Вас что более беспокоит, — спросил г-н Туманян, — что народ на небеса уйдет или что мы ему деньги выделяем?

— Господа, господа! Образумьтесь! — Митрополит схватился за крест. — Нельзя попасть на небеса по лестнице! Если бы такое было возможно, то всякая нечисть греховная поползла бы в рай! На небеса есть лишь один путь — через смерть и отделение души от плоти!

— Успокойтесь, святой отец. — Контата подошел к Ловохишвили и обнял его за плечи. — Никто не подвергает сомнению, что только душа может попасть на небо, но никак не тело. Суть дела не в этом. Надо дать народу возможность совершить поступок, пусть он и абсурден. Пусть народ сам поймет, что заблуждался. Пока в его жилах бродит кровь, ему не объяснишь, что нужно делать, а что нет...

— А какова должна быть величина этой... Башни Счастья?.. — недовольно спросил Ловохишвили.

— Ягудин рассчитал, что никак не менее версты.

— Позвольте! — развел руками г-н Персик. — Но на такой высоте уже летают самолеты. Летчики бы сказали о счастье, если бы его там нашли!

Все члены городского совета посмотрели на г-на Персика.

— Мы не об этом сейчас говорим, — отчетливо произнес г-н Туманян. — Не об этом.

Г-н Персик замолчал и покраснелся лицом, сообразив, что чего-то не понял.

— Я так думаю, — резюмировал губернатор, — пусть строят... Деньги мы им дадим и помощь всяческую окажем! Пусть эта Башня Счастья станет громоотводом политических страстей... Господин Персик, потрудитесь, чтобы в завтрашних газетах было опубликовано наше решение!..

Всю последующую неделю чанчжойцы обсуждали строительство Башни Счастья. Город опять будоражило и трясло. Возникали стихийные митинги и шествия. Особенно радовалась строительству беднота, не ведавшая такого понятия, как счастье, но ощущавшая в этом слове благодущие, созвучное ленной сытости.

Газета „Флюгер“ поместила передовицу, в которой говорилось о научной обоснованности счастья как некоей физической субстанции, которая достигается лишь на определенной высоте по отношению к земной коре. Под передовицей стояла подпись известного физика Гоголя. Ему в городе верили.

Еженедельник „Курьер“ выразил надежду, что строительство будет успешным и закончится в отведенные для него сроки. Ниже „Курьер“ привел биографические данные купца Ягудина, стержнем которых было то, что Ягудин с детства отчаянно страдал, ощущая нехватку всенародного счастья.

Даже бульварная газетенка поручика Чикина „Бюст и ноги“ поместила на своих страницах карикатуру возвышенного содержания. На вершине Башни Счастья стоят, обнявшись, голые чанчжозэйцы. Часть из них уже шагнула за борт и идет по облачной тропе к Богу. И подпись: „Отец наш, мы возвращаемся к тебе!“

В городе по случаю начала строительства проходили народные гулянья, на которых русский люд братался с корейским нелюдем. Корейцы по такому случаю раздавали бесплатную водку со всякими корешками и змейками в бутылках. Впрочем, некоторые боевики Ягудина, разгоряченные спиртным, придавили—таки нескольких косоглазых, списав это на бытовое недоразумение, а не на национальную вражду. В общем, все происходило празднично.

Генрих Иванович лежал в китайском бассейне, слегка шевеля ногами, возбуждая ими со дна пузырьки. Полковник Шаллер сегодня тосковал и, расслабляясь в теплых водах, пытался определить причину своей тоски.

„Когда она вошла в меня своей прозрачностью? — думал Генрих Иванович. — Может быть, когда я занимался поднятием тяжестей?.. Нет. Когда гири взметались к небесам, тоска уже тревожила душу.. Когда же?.. Может быть, с трещанием пишущей машинки?.. Нет... Скорее всего, ранним утром, когда я проснулся... Я тогда подумал о смерти...”

С течением времени полковник все чаще задумывался о смерти. Его теория бесконечно малых величин более не успокаивала сердца, а, наоборот, пугала возможностью ошибки.

Шаллер оглядел свое голое тело, слегка искаженное под водой, и подумал, что до смерти все же далеко, а осенние листья плывут по бассейну, слегка подталкиваемые легким ветерком. Осень — пора умирания осенних листьев... Пора умирания для человека — круглогодична.

Генрих Иванович подумал, что размышления о смерти приходят лишь тогда, когда человек несчастлив. Когда же счастье окрыляет душу, человек забывает о течении времени, не чувствует скорости прохождения земного пути и похож на красивое животное, беззаботно пасущееся под скалой, готовой вот-вот обвалиться...

„Выходит, что я несчастлив, если думаю о смерти? — спросил себя Шаллер. — Но что такое счастье? Может быть, это неизменное ощущение радости?.. Вряд ли. Постоянное чувство радости могут испытывать и имбецилы. Но они лишены почти всех удовольствий земных. Радость их беспричинна, она рефлекторна и психически неосознанна. Скорее всего, счастье — это точка пересечения двух диагоналей, мгновение, пик вершины, взгляд, мысль...”

Полковник глотнул воздуха, погрузился в воду с головой, затем вынырнул и фыркнул.

Счастье — это умиротворение. Жизнь без потрясений, размеренная. Все любовные потрясения и переживания должны происходить в юности, в ней же и остаться. Полнота любовных эмоций одинакова как в юности, так и в старости, с той лишь разницей, что к старости ты знаешь, как может твоя душа любить, как готова страдать она от неразделенной страсти, а юность лишь тычется слепцом, нащупывая пути для слез, и удивляется радости страданий. Старость должна иметь плод любви, который принесет ей умиротворение. Любовь в старости — это как динамо-машина, которая не подсоединена к лампочке, а просто распыляет электричество в пространство...

Полковник оттолкнулся от бортика ногами и переплыл на другую сторону бассейна.

Генрих Иванович подумал, что прошел уже месяц с того момента, как он отдал рукопись жены слависту Теплому, а известий от него никаких нет. Надо проведать завтра учителя, решил полковник и, оттолкнувшись от дна ногами, выбрался из бассейна.

За процессом купания Генриха Ивановича наблюдал Джером. Мальчик вновь удивлялся могучести тела мужика и прицокивал языком. Он отнюдь не мечтал о такой же силе и строении тела, а просто разглядывал незнакомца, как слона в зверинце, восхищаясь невиданной животинной.

Джером незаметно последовал за мужиком и вы-

яснил, где тот живет. Мальчик обнаружил в саду, в беседке, худую как жердь женщину, которая что-то печатала на машинке, не обращая внимания на окружающую среду. Наверное, это его жена, сообразил Джером. Как бывают непохожи муж и жена, подумал он.

Мальчик лежал на земле, сокрытый ветками крыжовенного кустарника, и рассматривал силача сквозь стекла веранды. Рядом с его неподвижной фигуркой прогуливалась рябая курица, противно потрясывая гребешком и клюя рядом с рукой наблюдателя. Незнакомец пил самоварный чай и поедая один за другим большие бутерброды с вареньем. Джером облизнулся и молниеносным движением схватил курицу за шею. Птица рванулась, изо всех сил хлопнула крыльями, но сломанная шея уже перекрыла ток крови к крохотному мозгу, и курица легла трофеем на землю, закатив свои чудесные карие глаза... Джером продолжал наблюдать. Незнакомец переоделся в военную форму, вышел в сад, а затем через калитку на улицу. И запагал по дороге, не замечая, как от дерева к дереву, скрываясь, за ним следует худой подросток.

Генрих Иванович прогуливался по окрестностям и думал о чем-то незначительном, ошметками проносящемся в мозгу. Он то и дело случайно заглядывал через ограды домов и ухватывал обрывки картин чужого быта.

„Люди живут, — думал Генрих Иванович. — И у всех у них свои счастливые мгновения. Кто-то счастлив осенним солнечным лучом, неожиданно теплым, так что капельки пота образуются на лбу. Кто-то, наоборот, горюет от этого последнего луча, уже заранее расстраиваясь, что луч — последний этой осенью, а может быть, и в жизни“.

Шаллер заглянул за ограду небольшого, но изящного дома, и спокойное течение его мыслей оборвалось. На шезлонге возле клумбы с огненными астрами возлежала римской наложницей Франсуаз Коти. Она была абсолютно голой, расположившаяся в бесстыдной позе, раскинув в разные стороны стройные ноги. Ее груди вели-

коленно торчали навстречу солнцу, огромные глаза были закрыты, а руки, закинутае за голову, манили белеющими подмышками. Возле шезлонга стояли хрустальный сосуд с клюквенным напитком, ваза с кусками колотого льда и стакан, до середины наполненный красной жидкостью.

„Она загорает, загорает! — пронеслось в мозгу Генриха Ивановича. — Она бесстыжая!.. Господи, какая красавица!.. Господи, как прекрасен ее живот!.. Какие великолепные ноги!..”

Полковник стоял за оградой, вытягивая шею, не в силах оторвать взгляда от полных бедер, спелых и показных, как медовые груши.

С другой стороны ограды, в щель, на Франсуаз Коти уставилась другая пара глаз, не менее восторженных, но и изрядно напуганных. Это были мальчишечьи глаза, еще ни разу до этого не лицезревшие великолепия женского тела. Два открывшихся до предела черных зрачка пожирали наготу и подавали странные сигналы животу подростка, который неожиданно затвердел камнем и наполнился переливающейся истомой.

Генрих Иванович вздохнул грудью, и девушка открыла глаза.

— Здравствуйте! — сказала она Шаллеру, приподнимаясь в шезлонге. — Какими судьбами?

— Да так вот... Прогуливался случайно... Добрый день...

Полковник был не в силах оторвать взгляда от девичьей груди, открывшейся в другом, новом ее ракурсе. Он отчаянно чувствовал всю дурацкость своего положения, но тем не менее смотрел на девушку открыто, словно та была в вечернем туалете.

— Хотите зайти? — спросила Франсуаз, бросив прозрачный шарфик себе на живот.

— Не знаю, удобно ли?.. Вот так вот, незванным гостем...

— Заходите, не стесняйтесь. Это гораздо удобнее, нежели глазеть на меня из-за забора. Вход с другой стороны. Откроете калитку и не бойтесь, собаки нет.

Шаллер обошел участок с другой стороны и взялся за ручку металлической калитки. Если бы он не был так возбужден ситуацией, то, вероятно, увидел бы, как из кустов к дальним деревьям рванула мальчишеская фигура, отчаянно драпая.

Пока Генрих Иванович обходил участок, Франсуаз успела набросить на себя шелковый халатик с китайскими цветами, который чрезвычайно подходил к ее стройной фигуре.

— Коли вы уже пришли, предлагаю остаться в саду. Уж больно погода хороша. Садитесь вот за этот столик. А я пока приготовлю чай. Вы какой предпочитаете — липовый или корейский с жасмином?

— Липовый, если позволите, — ответил полковник и, пока Коти готовила где-то в глубинах дома чай, судорожно думал, что ему еще ай как далеко до старости и к черту все размышления о смерти, а также о различиях между юностью и старостью. Перед глазами Шаллера все еще стояла, отчаянно волнуя, картина обнаженной девушки, особенно ее бесстыдно раскинутые ноги, и к моменту появления Франсуаз он еле сумел справиться с наваждением, прикусывая себе до крови язык.

— Что расскажете? — спросила девушка, когда Шаллер взял с подноса маленькую чашечку и хлебнул пахучего чая.

— Изумительные погоды стоят, — проговорил Генрих Иванович, с неудовольствием отметив мещанское построение фразы.

„Эка я разволновался, — подумал он. — Эка необычно для меня“.

— Чудесная осень, — согласилась девушка. — Кстати, знаете новость?

— Какую же?

— Лизочка Мирова обручилась с купцом Ягудиным.

Шаллер с интересом посмотрел на Франсуаз. Этой новости он еще не слышал.

— Когда же?

— На прошлой неделе. Неужели вы не знали?.. Кому же, как не вам, это знать?

— Почему вы, собственно, решили, что я это должен знать в первую очередь?

— Потому что вы находились с Лизочкой в интимной связи.

— Это она вам сказала?

— Зачем же. У меня у самой глаза есть... — Франсуаз посмотрела на Шаллера и ухмыльнулась. — Она вас любила, а вы ее нет... По-моему, она вас и сейчас любит.

— Но почему с Ягудиным? — спросил вслух как бы сам себя полковник.

— Потому что Ягудин сейчас самая заметная фигура в городе. Он — звезда! Опять же, богат и строит Башню Счастья. Его имя у всех на устах, он как бы является примиряющим звеном между высшим и низшим классами.

— Пренеприятная фигура! — сказал Генрих Иванович, чувствуя раздражение. — Ограниченная злобная личность!

— Это в вас собственник говорит! — улыбнулась Коти, зачерпывая ложечкой вишневого варенья. — Вы же никогда не любили Лизочку...

— Почему вы знаете?

— Я не права?

Генрих Иванович промолчал. Эта девушка, сидящая напротив в халатике на голом теле, запросто теребила своими тонкими пальчиками укромные местечки его души, наблюдая за ее реакциями, как психиатр за рефлексамы психически больного.

— Могу я задать вам встречный вопрос?

— Безусловно. — Франсуаз повела головой, перебрасывая копну каштановых волос с одного плеча на другое. Открылось изящное ушко с дырочкой в мочке. — Спрашивайте.

— Вы когда-нибудь любили?

Девушка задумалась, накручивая на мизинец прядку волос.

— Да, я любила.

— Извините за бестактность, но вы — девственница и, следовательно, не можете судить о полноте любовных ощущений, о изощренных сторонах любви. Мне кажется, что вы обвиняете в неосострадательности, тогда как сами некогда довели своего воздыхателя до самоубийства. Бедный юноша разнес себе мозги медвежьей картечью! Другая бы на вашем месте всю последующую жизнь провела в монастырской келье, замаливая грех.

Шаллер мстил девушке за ее прямоту.

Франсуаз Коти с удивлением смотрела на полковника.

— Вы говорите так, как будто вы мой врач и свидетель нерушимости моей девственной плевы! Откуда вам про это известно? Господи, до чего все мужчины очаровательны в своей уверенности! — Коти улыбнулась. — И потом, дорогой Генрих Иванович, я абсолютно далека от идеи сострадательности в любви. Наоборот, я уверена, что сострадание неуместно в любовных отношениях, оно бесплодно и, как ни парадоксально, причиняет еще больше зла. Чем более вы жестоки по отношению к объекту, который вас любит, а вы им только пользуетесь, тем менее болезнен для несчастного разрыв! — Франсуаз подцепила ложечкой вишенку и отправила ее в рот, показав на мгновение свои крепкие зубки. — Признаюсь вам по секрету, что в свое время я сострадала неразделенной любви корнета Фурье ко мне. Я даже отдалась ему из сострадания, будучи совсем юной... Видите, к чему все это привело! Так будьте уверены, что я стою на тех же позициях, что и вы. Мне совсем не жаль тех, кто меня любит и к кому я равнодушна... Налить вам еще чаю?

— Спасибо, — отказался Шаллер. — И прошу простить меня.

— За что же?

— За то, что я поддался обывательскому мнению.

— Это вы о моей девственности?

Генрих Иванович кивнул.

— Забудьте! Меня мало волнуют условности. Я вовсе не комплекую по поводу общественного мнения о моей персоне. Иногда даже любопытно, когда о тебе фантазируют то, чего на самом деле не существует. Я не любительница афишировать свою личную жизнь и вам не советую этого делать! Мужчины более восприимчивы к недостоверным слухам о себе.

— Какие же слухи обо мне ходят? — спросил Генрих Иванович, вдруг уловив некую схожесть во взглядах Франсуаз и его жены. Такая же напористость и самостоятельность.

— Хотите честно?

— Предпочитаю.

— Говорят, что вы превосходный любовник.

— Интересно... Что же еще?

— Что вы несчастны. Что у вас что-то не заладилось в жизни... Может быть, какие-то душевные переживания. Вам все сочувствуют.

— Ерунда! — отрезал полковник, но тем не менее почувствовал прилив жалости к себе. Глаза заблестели.

— Все слухи возбуждают в женщинах пристальный интерес к вам! Есть в женщинах противная черта — проверять слухи.

Шаллер с удивлением оглядел Коти. Она опустила лицо, слегка покраснев щеками.

— Что вас больше интересует — хороший ли я любовник или мои душевные переживания?

— И то, и другое. — Франсуаз овладела собой и прямо посмотрела в глаза полковника. — Кстати, скажите, зачем вы раздавили тогда кур?.. Мальчишеский поступок. Была целая река крови.

— Вы мне нравитесь. Даже старик, увлекшись девичей, совершает мальчишеские глупости.

— Вы не старик. — Франсуаз положила ладонь на руку Шаллера и погладила его крепкие пальцы. — И давайте не будем долго ухаживать друг за другом. Я вам нравлюсь, вы мне тоже. — Коти провела ноготками по могучему колену полковника и опять улыбнулась. —

И потом, у меня давно не было мужчины. Надеюсь, я не очень шокирую вас?

За всем этим диалогом в щель ограды наблюдал вернувшийся Джером. В какой-то момент ему стало скучно, так как он не улавливал смысла разговора. Мальчик уже было собрался уходить, как вдруг мужик положил руки на плечи девушки и принялся целовать ее губы, лицо, плечи, приспуская до локтей халат. Джером видел, как Шаллер ласкает языком груди Франсуаз, как соски превращаются в орешки, твердея на глазах, как девушка, откинув голову, выпячивает грудь вперед, словно вталкивая ее в рот партнеру, а тот, словно младенец, сосет ее, оставляя на коже мокрые красноватые следы.

Несмотря на то что эта сцена абсолютно не нравилась Джерому, он продолжал подглядывать, чувствуя, как живот опять схватило бетоном, и если минуту назад ему хотелось помочиться, то сейчас это желание прошло.

То, что случилось дальше, мальчик не пытался осмысливать тут же, он просто вперился глазами в происходящее, забыв обо всем на свете.

Халат соскользнул с бедер девушки, обнажив плоский живот с черным треугольником, к которому приник в жадном поцелуе мужик. Джером отчетливо видел, как дрожат его ладони-лопаты, охватывая ее зарозовевшую задницу, как изгибается широченная спина...

„Господи, — лихорадочно подумал Джером. — И у нее на лобке растут волосы! Что же это у меня?..“

Девушка приподняла за локти мужчину, перехватывая влажными губами его рот, целуя в колючий подбородок, теребя волосы. Ее пальцы пытались расстегнуть пуговицы мундира, но ногти соскальзывали с латуни, туго сидящей в петлях, и она вновь и вновь повторяла свои попытки, пока верхняя пуговка не выстрелила куда-то в клумбу, раскрывая бычьей шее Шаллера.

Держа одной рукой девушку за бедро, второй полков-

ник судорожно расстегнул мундир, сдернул его и повалил Коти в траву. Он чувствовал на своем теле скользкие змейками пальцы Коти, ласкающие его живот, забирающиеся во влажные подмышки, слегка корябая кожу на груди.

Джером со всей силой прижался лбом к щели и смотрел, как девушка дернула за ремень кобуры, сбрасывая ее в траву, как расстегнула брючные пуговицы, как блеснул белизной зад мужика, как выскочило из галифе невероятно выросшее естество, как оно устремилось к черному треугольнику, вонзаясь в него... Дальнейшее Джером квалифицировал как куриную жизнь. Один, как петух, скакал на другой, как на курице, с единственной разницей, что происходило это гораздо дольше. Джером даже на мгновение пожалел, что с ним нет его самострела, а то бы он пострелял. Бетон с его живота стек, он потерял интерес к происходящему, отлип от щели и зевнул во весь рот. Захотелось помочиться.

„Вероятно, я наблюдал то, о чем мне не хотел рассказывать Супонин. Теперь я знаю, что происходит между женщиной и мужчиной. То же самое, что и между курами. Экая мерзость — жизнь!”

Джером еще раз заглянул в щель. На тело девушки вновь был надет китайский халат, лицо ее было красным, словно она натерлась клубникой, а рот растянулся в глуповатой улыбке. Мужик, натянув штаны, пил прямо из графина клюквенный напиток, хрустя кусками льда, и попутно утирал со лба пот. Джерому некуда было идти, и он от нечего делать лег неподалеку под деревом, закусив травину.

Между тем Франсуаз Коти, отдышавшись, закурила тонкую сигаретку, вставленную в янтарный мундштук с серебряным колечком, пыхнула дымом вверх и посмотрела на Шаллера спокойным и удовлетворенным взглядом.

— Будете ли вы взбираться на Башню Счастья? — спросила она.

— Вы шутите?

— Почему?

— Неужели вы думаете, что можно еще при жизни шагнуть в рай?

— Не думаю... Но ради экскурсии...

— За два месяца башню такой высоты выстроить невозможно! — констатировал полковник и засмеялся. — Право, забавные события происходят в нашем городе!

— Ее строят одновременно тысяча человек.

— Все равно невозможно.

Франсуаз стряхнула с сигаретки пепел и перекинула копну волос с одного плеча на другое.

— Не хотите ли прогуляться? Может быть, поедем посмотрим на строительство? Все-таки любопытно, когда столько народу делают одно дело!..

Генрих Иванович пожал плечами.

— Если вам хочется... Что ж, давайте прогуляемся.

— Тогда подождите меня на улице, пока я переоденусь и выведу из гаража авто.

Девушка скрылась в доме, а Шаллер в прекрасном расположении духа вышел за ограду, насвистывая какой-то незатейливый мотивчик. Он с удовольствием вспоминал нагретое солнцем тело Франсуаз, его изгибы и извивы, — как человек, который только что вкусно пообедал и перебирает в памяти поглощенные блюда, отменно приготовленные...

Прогуливаясь возле дома, Генрих Иванович увидел лежащего под деревом дремлющего подростка, разморенного осенним солнцем. Когда полковник приблизился к нему, тот открыл глаза, безразлично посмотрел на Шаллера и во весь рот зевнул. Под глазами мальчика переливались всеми цветами радуги огромные синяки, и благодушие на лице отнюдь не гармонировало с ними.

— Ну-с, молодой человек, отдыхаете? — спросил Генрих Иванович, сыто улыбаясь. — Время сейчас учебное, а вы прохлаждаетесь!.. А как же знания, мой юный друг?

— Чего? — протянул Джером. — Чего надо?

— А что это вы такой грубый? — удивился полковник.

— А чего вы лезете?

— Извините, если я вам помешал. Отдыхайте, дорогой, отдыхайте!..

— Я же вам не мешал, когда вы на ней скакали, как петух на курице!

Шаллер оторопел.

— На ком?

— На ней, — ответил Джером, тыча пальцем в сторону дома Франсуаз. — Ух, как вы вспотели! А курицы не потеют, потому что они в перьях! А откуда у вас такие мышцы?

Генрих Иванович еще приблизился к мальчику.

— Так, значит, вы подглядывали?

— Угу, — согласился Джером.

— Разве вас не учили родители, что это дурно?

— У меня нет родителей, я в интернате живу.

— Понятно, — кивнул головой полковник. — Ну и что вы увидели там?

— Все.

— Понятно. И какое впечатление на вас это произвело, молодой человек?

— Пренеприятное... Не понимаю, почему вам и Супонину это нравится.

— А кто это — Супонин?

— Соученик мой. Правда, он старше меня на два года.

Шаллер некоторое время думал, что сказать мальчику.

— Придет время, и вы все поймете.

— Может быть, — пожал плечами Джером и скорчил гримасу как будто от боли.

Он вскочил на ноги, некоторое время возился с шортами и тут же, на глазах у Генриха Ивановича, помочился под дерево, обливая осенние листья.

— Можно, я приду к вам в бассейн купаться? — спросил он, заправляя рубашу в шорты. — Ведь это не ваш собственный бассейн! Вы же его не сами строили...

Полковник оторопел.

— Что же вы, давно за мною наблюдаете?

— Так случайно вышло...

Из гаража выехало авто. Франсуаз махнула рукой Шаллеру, призывая его поспешить.

— Ну что ж, приходите купаться, если хотите, — согласился Генрих Иванович. — Бассейн действительно не мой... Кто же это вас так побил? — поинтересовался он, разглядывая лицо мальчика.

— Мое дело, — буркнул Джером и отвернулся.

По дороге к центральной площади Шаллер рассказал Коти о подростке с набитой физиономией.

— В таком возрасте им интересно все, что с этим связано, — ответила девушка.

— А вас не смущает, что за нами наблюдали и видели все подробности?

— Абсолютно. Честно говоря, есть какая-то изюминка, когда кто-то глазами поедает то, что ты чувствуешь телом... Надеюсь, что мальчику понравилось.

Полковник не стал более развивать эту тему. Почему-то приятное настроение несколько испортилось. Генрих Иванович пока не понимал, почему это произошло, и стал смотреть на придорожные яблони, роняющие в пыль свои переспелые плоды.

— Я слышала, что ваша жена писательница?

— Если можно так сказать, — рассеянно отвечал Генрих Иванович.

— Сейчас модно, когда женщина пишет. — Франсуаз резко крутанула руль, объезжая куриный выводок. — Роман или поэма?

— А Бог его знает...

Девушка коротко посмотрела на Шаллера, жмурящегося от солнца, и вновь уставилась на дорогу. Весь дальнейший путь они ехали молча, ощущая какую-то случайную неловкость, возникшую между ними.

Вокруг в природе было покойно и тихо. Летали в небесах птицы, а по земле ходили куры.

Гаврила Васильевич Теплый трудился над рукописью Елены Белецкой, возвращаясь к ней во всякое свободное от педагогической деятельности время. За последние недели он еще более осунулся, еще больше засалились его длинные волосы, особенно слипшись на затылке. Коллеги при встрече с ним отворачивали головы, пытаясь попридержать дыхание, чтобы не унюхать кислого, застоявшегося запаха пота, исходящего от слависта. Ученики во внеурочное время старались не попадаться Теплому на глаза, так как чуяли, что учитель находится в дурном расположении духа и может огреть своей линейкой по макушке.

И действительно, у Гаврилы Васильевича не ладилась работа, а оттого злоба то и дело полоскалась в его желудке.

Теплый, сидя над рукописью, старался подавить глухое раздражение, так как давал себе отчет, что оно во все не помощник, а, наоборот, самый что ни на есть враг, тормозящий мыслительные процессы.

Славист часами комбинировал буквы, переставляя их с места на место, гадал над чередованием шипящих и пытался уловить смысл гласных, встречающихся по три подряд во многих словах.

„Безусловно, это не простая перестановка букв, — размышлял Гаврила Васильевич. — Это не подмена одной буквы русского алфавита другой... Что же это тогда? Может быть, существует какой-нибудь текст, с по-

мощью которого был создан шифр? Если так, как обнаружить этот текст?..”

Г-н Теплый пытался читать рукопись вслух, стараясь нащупать какой-нибудь ритм и с помощью чередования ударных и безударных слогов поймать разгадку.

Если бы кто-нибудь в этот момент проходил под его окнами, он, вероятно, мог решить, что учитель тронулся умом, разговаривая с самим собой на тарабарском языке.

— Аоудлыр бтьу бтьу бтьу! — декламировал Гаврила Васильевич. — Щшжпооо крутимс!..

Иногда в тексте попадались известные слова, такие, как: слон, нос, жмых, и соединяющие: как, но, а. Славист не склонен был полагать, что эти слова могут послужить ключом к разгадке, а считал, что это просто случайные созвучия, встречающиеся в русском языке и способные увести работу в тупиковое направление.

Лишь поздними вечерами Теплый позволял себе отвлечься, зазывая в свою квартирку Джерома и показывая мальчику атласы по судебной медицине. Он наблюдал за реакциями подростка, за всем их спектром, от удивления до леденящего ужаса. Причем Джером не всегда реагировал так, как предполагал Гаврила Васильевич. То, что должно было, по мнению учителя, напугать мальчика, могло вызвать у него улыбку, и наоборот, какая-нибудь незначущая деталь, например снимок отрубленной кисти грудного младенца, разливала по лицу ученика мертвенную бледность и вызывала тошноту.

Славист мог по часу зачитывать Джерому про признаки насильственной смерти, про появление трупных пятен, про смысл странгуляционной борозды и ее цветовую гамму. Свои чтения он сопровождал показом иллюстраций и иной раз с замиранием сердца представлял себе Джерома лежащим на патологоанатомическом столе с различными насильственными повреждениями.

Частенько он не мог заснуть ночью, видя перед собой картины вскрытия — как он в резиновом переднике кол-

дует над бездыханным телом Джерома, искусно раздвигая его блестящим в свете софитов скальпелем. Зажелтевшая кожа мальчика покорно расходится под лезвием, обнажая внутренние органы, одетые в блестящую пленку. Это — сердце, маленькое и холодное, как яблоко в первый мороз. А вот — печень, не тронутая болезнями, свежая, как у барашка...

Иной раз картинка морга могла дрогнуть и смениться длинной чередой букв, составленных бессмысленно привлекательно, и тогда Гаврила Васильевич открывал глаза и долго думал, уставившись в ночь, уж не провокация ли это, уж не специально ли ему подсунули эти бумаги, чтобы он сломал себе голову в бессмысленных поисках разгадки. Может быть, и не существует никакого шифра, а просто какой-то придурок нащелкал сотни страниц глумливыми пальцами?..

Нет! Все не так! Славист чувствовал, что за толстой пачкой листов, исписанных идиотическим текстом, кроется вполне разумное мышление, а может быть, и великое прозрение.

После таких умозаключений в душу Теплого закрадывалась пустота. Он нервничал, что ему будет не по силам разгадать этот великий ребус, что он так и останется на веки вечные в этом поганом городишке в своей презренной должности и никогда более не увидит цивилизованной Европы с ее чистыми площадями и прозрачными фонтанами. И тогда пустоты Гаврилы Васильевича заполнялись злобой, и, перед тем как заснуть, он скалил на потолок свои желтые зубы, глухо завывая и пугая приبلудную кошку, ночующую на крыльце.

Два дня назад, в приступе пустоты, Теплый сорвался и избил Джерома.

Мальчик пришел к нему, как всегда, поздно вечером и, уже изрядно обвыкшись в учительской квартирке, сам подошел к книжным стеллажам, порывлся между толстыми фолиантами и выудил тонкую брошюру с затертой обложкой под названием „Его облик“.

Учитель в это время находился в кухне и жарил на чугунной сковородке коровье вымя, которое до того противно воняло паленым волосом, что першило в горле.

Джером раскрыл брошюру и пролистал ее. Книжица была издана плохо, и, в отличие от атласов судебной медицины, в ней не было фотографий, а лишь одни рисунки. Зато рисунки были прелюбопытные. На одном был изображен лежащий мужчина с закрытыми глазами. Вокруг его обнаженного тела сидят несколько человек. Один, по-видимому самый главный, орудует над мертвецом скальпелем, выуживая из живота печень. На другом рисунке он откусывает от этой печени кусок, и по лицу его разливается наслаждение... Под рисунком была подпись: „Обретение вечной жизни“.

— Кто разрешил тебе рыться в книгах? — услышал Джером голос учителя.

Гаврила Васильевич стоял в дверях, держа на вытянутой руке скворчащую сковородку с воняющим выменем.

— Мне никто этого не запрещал делать, — ответил мальчик. — А что это за книга? И что обозначают эти рисунки?

Теплый прошел в комнату, поставил сковородку на стол, отер о брюки руки и приблизился к мальчику.

— Никогда ничего не бери без спроса! Понял? — Лицо Гаврилы Васильевича скривилось от злобы, а правая щека задергалась.

— А чего вы так занервничали? — удивился Джером. — Могу вообще не ходить к вам! Подумаешь!..

— Сядь! — приказал Теплый.

— Ну, сел. — Джером оседлал табуретку. — Чего дальше?

Гаврила Васильевич попытался взять себя в руки, закусывая дергающуюся щеку.

— Эту книгу тебе рано смотреть! — процедил он. — Еще будешь рыться без спроса — сломаю тебе руку.

Джером ухмыльнулся. Он потянулся всем телом, вытянул ноги и зевнул, всем своим видом показывая, что ему наплевать на угрозы учителя.

— И чего вы все время такой грязный ходите? — спросил он сквозь зевоту. — От вас так воняет какой-то дрянью!.. У вас есть женщина?

После этих слов Теплый и накинулся на Джерома с кулаками, лупя его вслепую, задыхаясь от ненависти и разбрызгивая слюну.

— Я вырву твою печень! — кричал он в аффекте. — Я выколю тебе глаза!

Джером старался уворачиваться от ударов, прячась под стол.

— Чего вы на меня накинулись! — причитал он. — Сами в гости зовете, а теперь бьете!

Порыв Гаврилы Васильевича вскоре прошел, и, дыша словно собака, он пытался помириться с мальчиком.

— Теперь ты видишь, что в жизни могут произойти всякие случайности! Я мог в гневе убить тебя, и ты умер бы молодым, прожив жизнь много короче, чем я... Теперь ты понял это?

— Ага, — ответил Джером, сглатывая кровавую слюну. — Я бы умер внезапно, а вы бы долго мучились, ожидая казни за убийство.

— Будешь есть вымя? — спросил Теплый.

— Буду.

Они поели, после чего мальчик долго не мог выковырять из зубов застрявшие волосы.

Гаврила Васильевич отпустил Джерома, дав ему два медных пятака, чтобы он прикладывал их к синякам.

— Приходи завтра, — пригласил учитель.

Вот эти самые синяки, оставленные на лице мальчика кулаками Теплого, и увидел полковник Шаллер.

Сидя над рукописью Елены Белецкой, тщетно пытаясь сосредоточиться, Гаврила Васильевич отчетливо произнес вслух фразу: „Я убью его!“

Славист составил таблицу наиболее часто встречающихся созвучий, наложил сверху лист папиросной бумаги, срисовывая на нее буквы в различной последова-

тельности. Он комбинировал слоги, используя старинную методику Граббе, построенную на мистической теории проникновения в тайну слова. Непременным условием теории была медитация — абсолютное представление слова как единственного жизненного понятия. Буквенный символ должен был отчетливо запечатлеться в мозгу, врезаться в него, вытеснив ощущение собственного „Я“. Само подсознание, соединившись с космосом, должно было выдать ответ.

Гаврила Васильевич, полагаясь на интуицию, выделил из всей рукописи наиболее главное слово, вычертил его на листе ватмана черной тушью, долго на него смотрел, а потом закрыл глаза. Слово отпечаталось красным контуром на внутренней стороне век. Слово было — ШШШШШШ. Славист контролировал свое дыхание, пока оно не стало покойным. Выделение слюны замедлилось, язык сделался сухим, а биение пульса сократилось до сорока ударов в минуту. Озарение стало неизбежным...

Авто Франсуаз Коти, скрипнув новой резиной, остановилось рядом с главной городской площадью. Дальше проехать было невозможно из-за скопления народа. Лица людей были возбужденными и источали какое-то внутреннее сияние. Народ жаждал счастья, стараясь быть поближе к его строящемуся символу.

Девушка взяла Генриха Ивановича за руку и потянула за собой, углубляясь в толпу. Они прошли по узкой улочке, ведущей к главной площади, рассматривая лица прохожих, гордо воздевших над собой транспаранты с надписями типа: „Мы достойны счастья! Мы сделаем шаг к нему навстречу!“ Повсюду продавали воздушные шары, всякие сладости и лимонад. Народ гулял...

Наконец Франсуаз и Шаллер вышли на площадь. В центре ее из мощного бетонного основания уходила к небу башня. Генрих Иванович задрал голову и с удивлением сказал:

— Господи, я не предполагал, что они за такое короткое время столь много построят!.. Это невероятно!

От основания башни к ее нутру тянулась цепочка рабочих, как русских, так и корейских. Из рук в руки рабочие передавали красные кирпичи, раствор и всякий необходимый строительный материал. Делали они это так быстро, как будто хотели закончить строительство уже сегодня до захода солнца.

— Пожалуй, в башне уже футов четыреста! — предположил полковник.

— Пятьсот, я думаю, — высказала свое предположение девушка. — Велик русский народ в своем стремлении к иллюзиям!

На вершине башни, на строительной площадке, были установлены усиливающие голос устройства, чтобы народ мог не только следить за происходящим, но и слышать, что творится между рабочими, какие следуют команды.

— Мы кладем трехсоттысячный кирпич! — прокатился над площадью голос.

— Ягудин, — определила Франсуаз. — Какой мощный голосовой аппарат.

— Вы знакомы с ним лично? — поинтересовался Шаллер.

— Видела пару раз.

— И что он за тип?

— Любопытный. Он может быть и романтиком, и изувером. Чем-то на вас походит.

— Что же, я похож на изувера?

Девушка не ответила, так как ей помешал голос Ягудина, вещающий с высоты.

— Сograждане! — возвестил голос. — Хочу обратиться к вам с речью! Позвольте ли мне сделать это?..

— Позволяем! — донеслись голоса из толпы. — Говори, Ягудин! Мы рады услышать тебя.

Ягудин прокашлялся.

— Я хочу сказать, что вы, собравшиеся на главной площади, есть народ! Не побоюсь сказать, что вы — прогрессивное человечество! Ваши лица устремлены вверх, вы собрались в кучу, чтобы стать непосредственными соучастниками величайшего события, творящегося на ваших глазах! Ваши уши, ваши глаза направлены на уникальное строительство Истории — Башню Счастья!.. Я слышу ликующие возгласы людей, исходящие из самых потаенных глубин сердец! Ваши ли это голоса, или ангельские призывы?..

Народ внизу заволновался и закричал:

— Наши голоса, наши! Мы с тобой, Ягудин!.. Продолжай!.. Ура-а!..

— По-моему, он издевается, — зашептала в ухо Шаллера Коти.

— Но делает это тонко, — добавил полковник.

— Крики „ура“ непрерывно сотрясают площадь и мои уши! — продолжал вещать Ягудин. — Ваш порыв напоминает мне огнедышащий вулкан, и его можно сравнить с радостью миллионов одновременно разродившихся женщин! Никогда еще человечество не сталкивалось с таким массовым проявлением мира, дружбы и солидарности между русским и корейским народами! Нам будет что оставить в наследство нашим детям, внукам и правнукам! Мы оставим им Башню Счастья!

— Хотим тебя видеть! — закричала толпа. — Появись перед нами! Видеть тебя хотим!

— Вы ощущаете приближение счастья?

— Ощущаем! — ответила толпа в слаженном порыве.

— Громче!

— Ощуща-а-ем!

— Смотрите, вон он, — показала наверх Коти. — Лезет на стену.

И действительно, на самую вершину, на только что выложенные кирпичи, взобрался бородатый человек, воздевая к небесам руки.

— Вы хотите счастья? — спросил человек.

— Хотим! — дружно отозвалась толпа.

— Вы верите, что по Башне можно перейти в райские кущи?

— Верим!

— Верите?

— Верим!!!

Человек на вершине на мгновение замолчал, а потом вдвое громче заорал:

— Ну и идиоты! Кретины! Быдло!

После этих слов Ягудин чуть присел, затем расправил руки, словно птица крылья перед полетом, оттолкнулся ногами от свежей кирпичной кладки и с диким криком полетел...

— Быдло-о-о!..

Сначала показалось, что он летит параллельно земле, а на мгновение почудилось, что даже и набирает высоту, но это, вероятно, был оптический обман.

Народ замер, наблюдая свободный полет Ягудина. Франсуаз прикрыла рот ладонью, словно сдерживая крик. В народе потеснились, образуя площадку на месте вероятного приземления купца. Ягудин пару раз взмахнул руками, крутанул, словно орел, шеей и рухнул патлатой головой на булыжную мостовую. Голова его не раскололась, как следовало ожидать, а глухо ухнула о камни. Глаза Ягудина вертелись еще несколько секунд после падения, он попытался что-то сказать, но изо рта вышла кровавая пена, пузырясь и лопаясь, мешая предсмертным словам.

Ягудин дернул ногой, и душа его отошла. Толпа сомкнула свои ряды, вознесла тело купца над головами и в траурном молчании потащила его куда-то по улицам.

— Уйдемте отсюда, — сказал Генрих Иванович, беря девушку под руку.

— Бедная Лиза, — проговорила Коти. Во взгляде ее была твердость, а щеки покрылись румянцем. — Бедная Лиза! — повторила она.

Авто Франсуаз катило по пустой мостовой, удаляясь от центра города в сторону загородных поселков. В прозрачном небе горела дневная звезда, и, глядя на нее, Шаллер загрустил, вспоминая свои давние теории о животворящем космосе.

„Вот ведь как происходит, — думал полковник. — Как подчас неожидан человеческий конец. Лузгаешь семечки, а через мгновение твоя голова может быть расплющена сорвавшимся камнем. А ты в этот миг размышлял о чувственном наслаждении, лелеял его в

своих членах, не задумываясь о предстоящей минуте. А дома тебя ждал привычный запах. Запах стен, нагретой крыши, запах жены и свой собственный аромат... Ах, я опять думаю о смерти", — поймал себя Генрих Иванович.

— Вы сейчас думаете о смерти? — спросил он девушку, которая одной рукой уверенно управляла автомобилем, а другой поправляла прядь волос, упавшую на глаза.

— Я никогда не думаю о смерти, — ответила Франсуаз. — Это бессмысленно. Особенно для женщины. Женщина, думающая о смерти, уже умерла. — Коти нажала на клаксон, разгоняя с мостовой кур. — Право, какой странный был человек этот Ягудин. Вся жизнь напоказ. И смерть напоказ! Сначала создает идеалы, а потом рушит их на веки вечные!

— У него найдется преемник.

— Вряд ли. В Башню Счастья можно поверить единожды. А когда ее создатель смеется над поверившими глупцами, миф рассеивается безвозвратно. Народ не прощает оскорблений!

— Вы плохо знаете свой народ. Тем, кого толпа любит и боготворит, она прощает все, и прощает заранее. Вот увидите, что Ягудина будет хоронить весь город и его имя останется в чанчжойской летописи навечно.

— Вы так думаете?

— Уверен.

— Интересно. Мне Ягудин так и говорил: „Мое имя останется на века! Я буду прославлен, как великий романтик и как великий изувер!“

— Так вы его знали лично? — удивился Шаллер.

— Я была его любовницей.

— Вы?!

— А что вас так удивляет?.. — Девушка сбавила скорость. — Он был хорош как мужчина, и с ним совсем не было скучно.

Полковник усмехнулся.

— Почему же вы... э-э... расстались? Простите за нескромный вопрос.

— Все очень просто. Мне стало с ним скучно.

— Парадокс.

— Нет, не парадокс. Просто даже самые интересные люди становятся скучными. И вообще, человек интересен только тогда, когда лишь соприкасается с другим, не давая возможности узнать себя полностью.

— Вы максималистка? — спросил Генрих Иванович, все более удивляясь мыслям девушки, вернее, не столь их содержанию, сколь холодку равнодушия, с каким она их высказывала.

— Я не максималистка. Я просто говорю то, что думаю. Поверьте мне, что это не наносное — от молодости, просто так уж с детства повелось, что я говорю то, что думаю, и стараюсь делать то, что хочу. Например, я сейчас краем глаза вижу ваши сильные руки и вспоминаю, что произошло между нами несколько часов назад. Как вели себя ваши руки, соприкасаясь с моим телом. Честно говоря, я бы не против это повторить, прямо сейчас.

После этих слов Генрих Иванович почувствовал необычайное волнение, тело его напряглось, готовое отдать напряжение души, и он опять подумал, что в этот момент от него уходит мысль о смерти, уносится куда-то к чужой душе...

— Тормозите! — уверенным тоном произнес он.

Девушка улыбнулась, нажала на педаль тормоза, и машина медленно скатилась в кювет.

Франсуаз Коти действительно делала то, что хотела, совершенно не сдерживая себя, не имея ханжеских представлений о приличиях. Это очень нравилось полковнику, но одновременно и пугало. Он понимал, что их связь долго не продлится, так как в полковнике могла родиться ревность к прошлому девушки, вероятно, столь же откровенной в своих желаниях с предыдущими любовниками, как и с ним. Стоя возле автомобиля, он представил на своем месте Ягудина, к животу

которого в страстном поцелуе приникла девушка, и хоть не испытал приступа ревности, но ощутил его вероятность впоследствии, в самом ближайшем будущем.

Шаллеру не удавалось целиком отдаться наслаждениям, так как он нервничал из-за возможного появления автомобилей на дороге. Он боялся, что их могут узнать и в городе пойдут всякие сплетни, а поручик Чикин не преминет опубликовать в своей газетенке и фривольную карикатуру.

Полковник легонько подтолкнул девушку к яблоням, за которыми стояла еще высокая, хоть и пожелтевшая, трава. Девушка поддалась, чувствуя некоторую скованность любовника, глаза ее были столь глубоки, а руки так требовательны, что как только они оказались сокрыты от случайных взглядов сухими зарослями, напряжение оставило Шаллера, сознание растворилось, и он отправился в короткий путь безумия.

Они опустели разом в тот момент, когда солнце расставалось с Чанчжоз, уходя к другим параллелям, согревая чужие просторы.

Похолодало. И вместе с нашествием прохладного воздуха похолодела и душа Генриха Ивановича. Лежа на расстеленном мундире, обнимая одной рукой плечи Франсуаз, он подумал о Гавриле Васильевиче Теплом, о том, удалось ли ему расшифровать записи Белецкой, и решил навестить учителя завтра под вечер.

— Проведайте Лизу, — шепотом сказала Коти. — Ей сейчас тяжело.

Слова девушки вызвали в полковнике легкое раздражение. Ему не совсем нравилось, что она так назойливо акцентирует ушедшие в небытие отношения между ним и Лизочкой Мировой. Тем более что все так перемешалось: Лизочка была и его любовницей, и разбившегося Ягудина. В свою очередь, Франсуаз обнимает сейчас его, Шаллера, а когда-то принадлежала ры-

жебородому купцу. Или он ей принадлежал. Не все ли равно...

Прокукарекал петух. И тут же со всех сторон отозвались десятками голосов его соплеменники, сообщая всему миру, что наступает вечер.

— Пора, — сказал Генрих Иванович, высвобождая из объятий свою руку. — Холодно.

Они оделись и, оглядываясь по сторонам, вышли на шоссе.

— Я вас отвезу, — предложила девушка, усаживаясь за руль.

— Могу я повести, если хотите.

— Не надо.

Авто, освещая фарами дорогу, помчалось к дому Шаллера. За весь путь они не сказали друг другу ни слова и равнодушно попрощались возле дома полковника.

— Как-нибудь заходите, — предложила на прощание девушка через боковое стекло автомобиля, помахала пальчиками и включила скорость.

Когда авто Коти скрылось за поворотом, Шаллер чему-то улыбнулся, глубоко вдохнул грудью и вошел в дом. Он неспешно поужинал, погруженный в свои мысли, убрал со стола посуду и вышел в сад к беседке, где неумоимо трудилась его жена.

Вот ведь и в темноте видит, в который раз удивился Генрих Иванович, глядя на бегающие по клавиатуре машинки пальцы Елены. Как кошка...

Он поднял жену на руки, не обращая внимания на ее слабое сопротивление, и внес в дом. Белецкая дрожала всем телом, и на мгновение полковнику показалось, что она прижимается к нему, желая согреться.

Генрих Иванович посадил жену на стульчик в ванной и, пустив горячую струю, раздел ее, слегка поглаживая по голове, словно больного ребенка.

Лежа в ванне, Елена вскоре согрелась, ее перестал бить озноб, и Шаллер, вооружившись мочалкой, при-

нялся намыливать ее истончившуюся кожу — нежно, слегка касаясь. Он ласкал жену и неторопливо рассказывал ей о событиях, происходящих в городе.

— Сегодня разбился купец Ягудин. Ты его знаешь. Это он верховодил над погромщиками. Ну помнишь, помнишь?.. Ну, он еще организовал побоище в корейском квартале. Еле сам ноги унес... А разбился он, конечно, странным образом — прыгнул с Башни Счастья, которую сам же и строил... Вот ведь странный поступок! Не оступился, а сам прыгнул — напоказ!

Белецкая, казалось, слушала, о чем рассказывает Шаллер, ее руки успокоились, перестав щелкать по воображаемым клавишам, и она не пыталась уклонить голову от пальцев Генриха Ивановича, мылящих ее волосы.

— То-то завтра шуму будет! — продолжал полковник. — Вся общественность взбудоражится, вознесет славу Ягудина до небес! Второго Лазорихия вылепит!..

То, что Шаллер увидел в следующий момент, обрывало его мысль на середине. Промывая волосы жены, перебирая их выпцветшие пряди пальцами, он наткнулся в области затылка Елены на белые мокрые перышки. Сначала полковник подумал, что это ветер их впутал, но после тщательного осмотра убедился, что они самостоятельно растут из шеи, из того места, где кончаются самые нежные волоски.

— Господи! — вырвалось у полковника.

Шаллер наклонился над женой, рассматривая перышки с близкого расстояния. Он насчитал их с десяток, растущих в рядок, потрогал пальцем их ворсинки и еще раз сказал: „Господи!“

Генрих Иванович наскоро растер тело жены полотенцем и вынес ее, голую, в комнату, где уложил на кушетку. Он встал рядом на колени и тщательно осмотрел все тело Елены, пядь за пядью изучая его, заглянул даже в низ живота и перебрал золотистые волоски.

Вскоре полковник убедился, что перышки растут только из затылка, что, слава Богу, они не проклюну-

лись в других местах, хотя черт знает, что будет дальше.

Укрыв Белецкую пледом, Шаллер хотел было позвонить доктору Струве и спросить того, что бы это могло значить, но быстро передумал, боясь, что происшедшее может получить огласку, а хорошо это или плохо, Генрих Иванович пока не знал.

Елена заплакала. Она зашевелилась под пледом, скидывая его на пол. Ее пальцы вновь застучали по воображаемым клавишам машинки, и она протяжно завывала.

Генрих Иванович одел жену, натянул на нее теплый свитер, повязал голову шерстяным платком, на руки надел тонкие лайковые перчатки, чтобы не мешали движениям пальцев, поднял Белецкую на руки, вынес в сад и усадил перед пишущей машинкой.

Елена тут же успокоилась и принялась быстро-быстро печатать, как будто наверстывала упущенное.

Полковник вернулся в дом, гадая, что бы это все могло значить и что ему со всем этим делать.

„А перышки-то — куриные! — внезапно догадался Шаллер. — Куриные перья!”

Генрих Иванович Шаллер был прав. Хоронили купца Ягудина всем городом. Хоронили пышно, с траурными митингами и передовицами во всех газетах. Для тела поборника счастья было выделено место на мемориальном кладбище возле чанчжозейского храма, на котором вот уже сорок последних лет никого не закапывали по причине малого количества свободных площадей. Отпевал Ягудина сам митрополит Ловохишвили в присутствии всех членов городского совета. На процедуру были допущены лишь самые близкие, в том числе и Лизочка Мирова, которую сочли невестой покойного, а потому главные люди города выражали ей соболезнования, а народ возле храма шептался, что все-таки купец оставил людям кусочек счастья в лице девушки. Может, кого еще осчастливит.

На отпевании митрополит Ловохишвили предложил хоронить героя не на мемориальном кладбище, а устроить ему усыпальницу прямо в недостроенной башне, что с восторгом было принято большинством.

— Вы, уважаемый митрополит, просто дипломат и стратег! — шепнул на ухо Ловохишвили губернатор Контата. — Замечательная мысль. Таким образом, никто уже не будет достраивать эту идиотскую башню на костях ее родителя. Поздравляю!..

На панихиде Лизочка то и дело падала в обморок, взмахнув ручками и бледнея лицом. Ее ловко подхватывал молодой человек, сочиняющий гекзаметры, сжимал

ее в своих объятиях, пока сознание девушки не возвращалось на место, а взгляд не падал на восковое лицо Ягудина, лежащего в гробу красного дерева.

Безусловно, в народе обсуждалась причина прыжка Ягудина с Башни Счастья, вернее, с ее основания. Большинство склонялось к тому, что сам Дьявол вмешался в историческое строительство, помутив рассудок купца и лишая русского человека счастья при жизни. Другие считали, что путь к звездам лежит через тернии, что так, за здорово живешь, к счастью не подобраться, нужно страдать и приносить жертвы. Таким образом, купец Ягудин — первая жертва счастья... Возникал вопрос: кто будет жертвой второй?.. Охотников не нашлось, во всяком случае, на траурных церемониях никто не пытался взять из мертвых рук ягудинское знамя счастья и понести его дальше к заоблачным высотам во благо народа.

Ягудина похоронили, как и предложил митрополит, в основании башни, завалив гроб осенними цветами и залив его бетоном. Состоялся траурный митинг, на котором выступили все желающие.

Один из сторонников Ягудина высказал свою концепцию счастья.

— Надо всем выдать по фунту грецких орехов! — предложил он и выдержал значительную паузу. — Ведь что такое грецкий орех, если подойти к нему со всей глубиной понятия? А вот что это такое!.. Большинство наших горожан работает зимой на улице. Работая в суровую стужу, горожанин теряет калории тепла, следовательно, он мерзнет! Если горожанин мерзнет, ему нужен полушубок, дабы согреть душу. А что такое полушубок? Полушубок — это пять зарезанных овец! Если мы перемножим количество горожан, работающих на улице, на зарезанных овец, то мы получим астрономическую цифру погибшего скота. А если горожанин перед работой на снегу съест всего лишь два грецких ореха, то калории тепла не будут расходоваться напрасно и ему не нужен будет полушубок. А следовательно, и

овцы будут целы. Грецкий орех — это единица нашего счастья!

Оратору никто не аплодировал. Его сочли безумцем, каких во всех городах наберется определенное множество. На трибуну взобрался следующий оратор, по виду еще более безумный, чем предыдущий. У него была абсолютно лысая голова и кудрявые бакенбарды.

— Мы зашорены! — печальным голосом произнес лысый. — Мы не понимаем, что происходит вокруг нас. Даже построй мы Башню Счастья — ничего бы не изменилось! Не было бы счастья!

В народе зашумели и зашикали. Многие были согласны с выступающим, но для таких слов сейчас было неподобающее время.

— Выход простой! — продолжал оратор. — Надо перенимать заграничный опыт! Надо перестать изобретать колесо! Оно уже есть! Там! — Лысый указал рукой за горизонт. — Его надо просто взять у них и приспособить для своих нужд! Хватит ютиться в пещерах и думать, как блоха, что ослиный зад — весь мир!

В народе нарастало возмущение. Никто не уподоблял себя блохе, а оттого все оскорбились.

— Заграница — это кузница новейших технологий, которые способны принести нам истинное счастье, а не какое-то там заоблачное, вымышленное! Если кто-то сомневается, что я патриот своей страны, то заявляю во всеуслышание: я — патриот! Я не хочу жить за границей, но я желаю, чтобы вы наконец поняли, что наша культура совершенно несамостоятельная! Она не имеет своих корней! Сколько раз Россию бороздили армии сопредельных стран! И после каждого нашу Родину потрясал новый демографический взрыв! Все блага цивилизации, которые мы сейчас имеем в своем активе, — просочились оттуда! — Оратор вновь указал рукой за горизонт. — Даже велосипед сочинен не нами! А все почему? Потому что мы, русские, самая ленивая нация! У нас нет собственного самосознания! Мы — потомки татар и монголов!..

Народ, оскорбленный до самых глубин сердечных, засвистел и заулюлюкал, так что окончание речи оратора потонуло в народном неодобрении. Лысый был вынужден слезть с трибуны, а на его место взобрался здоровенный детина лет тридцати пяти и, потрясая огромными кулачищами, начал ответное слово:

— Страшно, соотечественники! Страшно! Этак вот как подумаю, волосы дыбом встают от того, что вам этот лысак наговорил! Этак взял бы его, раздел догола, обмазал хреном и сожрал бы живьем!

В толпе засмеялись, выражая одобрение.

— Козел он! — продолжал детина. — Что наплеал, ирод! Нет культуры у нас!.. Надо же такое сказать!.. А наша литература? А наши отцы-пустынники, создавшие славу русской философии?! Вся эта заграница коровьей лепешки не стоит!.. Сколько освободительных войн мы вели, но ни одна русская женщина не расстелилась перед врагом, ни одна не зачала от иноземца! Мы самая чистая нация! Русский человек придумал баню, а не какая-нибудь немчур! Это мы изобрели колесо, а они, — детина указал толстым пальцем за горизонт, — они у нас его сперли и выдали как за свое изобретение! Это они, заграничные прощелыги, превратили нашу чистоту в гигиену, нашу святость — в религию! Хватит нам обманываться, как малым детям!.. Давай наше счастье! — заорал детина. — Давай счастье отечественное!

Детина закончил. Ему долго аплодировали и голосами выражали согласие. Оратор хоть и не указал путей к отечественному счастью, но ободрил чанчжозейцев и закрепит в них уверенность в себе, подтвердив, что их матери и бабки никогда не путались с татарами.

На трибуну вылез всеобщий городской любимец — физик Гоголь. Это был застенчивый человечек с умопомрачительной близорукостью. У него имелся слабенький голосок, словно у переболевшего туберкулезом, зато глаза за бифокальными очками горели, как сердце Данко. Гоголь мял в руках бумажку, ожидая, пока толпа уgomонится и обратит на него свои взоры.

— Давай, Гоголь, говори! — донеслось из толпы. — Вещай, Моголь!

Толпа притихла.

— Я тут вычисления кое-какие сделал, — начал физик, расправив бумажку. — И так вот получается, что Ягудин, ну, как бы это сказать... Эка, право, фантастика... так получается, что купец Ягудин обладал способностью, э-э... к полетам...

— К каким полетам? — спросил голос из толпы. — Выражайся яснее, Моголь!

— Я имею в виду, что Ягудин умел немножечко летать! Способность у него такая была.

— Ты что, Гоголь, тронулся? — поинтересовался голос.

— Я сейчас поясню. Не перебивайте меня, пожалуйста!.. Посмотрите на башню! — предложил физик, указывая себе за спину. — Вон она где стоит. А куда приземлился Ягудин?

Толпа разом повернула головы в обратном направлении, разглядывая место падения купца, заваленное сейчас подвядшими цветами.

— Теперь видите? Где башня, а куда упал Ягудин. Я подсчитал, что от основания башни до места падения сто футов! Ведь не ветром же снесло купца!

Толпа замерла, осознав происшедшее. Кое-кто из слабонервных женщин подавил в себе крик изумления. Мужчины стояли опустив головы, медленно осмысливая информацию.

— Я так понимаю, — продолжал Гоголь. — Я так понимаю, что в самый последний момент Ягудин ощутил желание полета. Он понял, что человек создан не только чтобы пачкать свои ноги о землю, а произведен Богом для полетов в бесконечных просторах Вселенной. Мы просто пока еще не осознали свой дар и не научились им пользоваться! Но мы обязательно осознаем и научимся!.. Мы полетим. Мы воспарим к небесам и уподобимся вольным птицам. Мы поднимемся выше облаков и уже никогда над нашими головами не будет черных туч.

Свободные лучи солнца и голубое небо. Птицы и мы. Мы и птицы... — Физик простер руки над народом. — Мы построим гигантский воздушный шар и вознесемся. И ни один увечный, ни один слепой, горбатый и слабый не останется на этой земле. Мы полетим все! На нашем шаре хватит места для всех! Наше счастье — это воздушный шар минус гравитация всей земли!

— Что, корейцев тоже возьмем? — спросил голос из толпы.

— Ну, если они захотят... — замялся физик.

— А я вот летал на аэроплане, — подал из толпы свой голос мелкий мужичонка и сплюнул под ноги семечковую шелуху. — Летал выше птиц и выше облаков. Никакого счастья там нету! Али мне не встречалось?..

После лирического выступления физика Гоголя траурный митинг закончился. Народ потянулся с площади, каждый в свою сторону. Но что-то такое произошло с людьми непонятное — то ли смерть Ягудина подействовала на них печальным образом, то ли его фантастический полет или слова Гоголя затронули их души, но почти у каждого внутри появилась какая-то несладкая маета — предчувствие чего-то нехорошего, как будто вскоре зубы заболят.

На следующий день в городе все газеты вышли с выступлениями всех ораторов. Речи были изрядно отредактированы и выглядели почти приличным образом. Чанчжоз самым достойным манером попрощался с погибшим героем, оплакав его и помянув. И только газетенка поручика Чикина „Бюст и ноги“ поместила на первой странице глумливую карикатуру, изображающую летящего над землей купца Ягудина, из ширинки которого торчит первопричинное место в виде якоря, мешающее герою унести в заоблачные высоты. И подпись: „Чтобы взлететь, надо сорвать все якоря!“

Эта карикатура вызвала в городе скандал. Поручика даже хотели отдать под суд за оскорбление памяти покойного, но на закрытом совещании правоохранитель-

ных органов шерифу города открылся истинный смысл подписи.

— А не аналогия ли это со смертью графа Оплаксиха? — спросил он у собравшихся юристов. — Не имел ли в виду поручик Чикин, что только душа скопца способна к полету и святости, как душа Ван Ким Гена? Если так, то не можем же мы осудить человека за религиозные взгляды, отличные от наших!

Юристы решили сначала допросить поручика, а уж потом выносить свое решение. Поручик, увидев возможность избежать наказания, подсказанную самим шерифом, подтвердил религиозную подоплеку карикатуры, заявив, что вскоре сам собирается стать каженным и ехать в Первопрестольную бить в Ивановский колокол.

Поручика решили не привлекать к суду и отпустили с миром, глядя с состраданием на его брюки с выпирающим из них хозяйством.

Постепенно жизнь в Чанчжоэ наладилась на старые рельсы и пошла своим чередом.

К назначению на роль начальника охраны куриного производства отец Гаврон отнесся философски. Это было личное распоряжение митрополита Ловохишвили, а приказы командования, тем более церковного, не обсуждаются и не подвергаются сомнениям.

Отцу Гаврону выдали семизарядную винтовку системы „фоккель-бохер“ и отвели ему место на вышке, возведенной над „климовским“ полем. Монах целыми днями просиживал на вышке, кутаясь в овчинный тулуп и созерцая с высоты куриное море. Иногда от такого многоцветия в глазах отца Гаврона рябило, и он закрывал их, отключаясь от кудактанья и думая о чем-то своем.

Раз в три часа монах откупоривал большую бутылку с формолью и наливал себе стаканчик, чтобы умерить болезнью. Полечив себя, он вновь отключался от мирской жизни, смотрел в никуда и уплывал в какие-то туманные дали.

Отец Гаврон постригся в монахи, когда ему исполнилось сорок три года. До пострига это был обычный человек, в меру религиозный, и звали его Андреем Степлетром.

И отец, и дед, и прадед монаха были садовниками, а следовательно, и Андрею было на роду написано продолжить садоводческую династию. Что он и сделал, с малолетства прививая, окапывая и удобряя.

В отличие от предков мальчик отнесся к своему делу творчески — не только как производственник, но и как ученый-экспериментатор. Нытьем и мольбами он уло-

мал отца купить ему учебники по ботанике и просиживал над ними ночи напролет, грезя волшебными семенами, из которых можно вырастить хлебное дерево. Андрей брался за любую культуру, попадающуюся ему под руку. Он экспериментировал с клубникой, пытаясь скрестить ее с крыжовником, колдовал над вишней, мечтая, чтобы она стала такой же крупной, как азиатская слива, но особенно ему нравилось работать с яблонями.

В четырнадцать лет Андрею удалось вывести новый сорт яблок, который он назвал в честь любимой бабушки, скончавшейся до его рождения. „Фрау Мозель“, сладкие и сочные плоды, мгновенно получили признание не только в Чанчжоз, но и далеко за его пределами. В сад юноши стали наведываться селекционеры со всех ближних и дальних окрестностей, дабы перенять садоводческий опыт человека, создавшего удивительную „Фрау Мозель“. Когда посетители, ожидавшие лицезреть увеленного сединами новатора, видели вместо этого безбородого подростка с оттопыренными ушами, их лица краснели от смущения и они долго не решались высказать свои пожелания. Но вскоре, обезоруженные бесхитростностью мальчика, его искренним радушием и улыбкой, они расслаблялись и с удовольствием наблюдали, как Андрей применяет на практике все свои теории по созданию новых фруктовых сортов.

К восемнадцати годам на счету Степлера уже было шесть новых яблочных сортов. Ему таки удалось скрестить клубнику с крыжовником, а вишни стали размером хоть и не с азиатскую сливу, но изрядно покрупнели.

Как-то ранним осенним утром возле дома Андрея Степлера остановилась нарядная карета с двумя напудренными лакеями на запятках. Дверка открылась, и из нее появился небольшого роста человек в мундире, обшитом золотом.

Из дома высыпало все семейство Степлеров, заспанное, но любопытствующее, кто бы это мог быть такой столично-франтоватый.

— Кто из вас Андрей Степлер? — спросил человек,

слегка приседая, чтобы размять колени после долгой дороги.

Все стояли с открытыми ртами, никто не отвечал, лишь дед Андрея протяжно зевнул, дважды перекрестив беззубый рот.

— Я спрашиваю, кто здесь Андрей Степлер? — переспросил человек. — Есть ли среди вас таковой?

— А чего надо? — спросил отзевавшийся дед.

— Ты кто? — спросил столичный франт.

— Я — Степлер, — ответил дед.

— Андрей?

— Не Андрей, а Драгомил Антонович. Чего надо?

— Если ты не Андрей, то и не лезь! — разозлился приезжий. — Кто Андрей?

— А чего ты такой грубый? — не унимался дед. — Я и палку взять могу. Да и по шее.

На деда шикнул отец Андрея и доброжелательно посмотрел на франта.

— Чего надо? — спросил отец.

— Так ты Андрей? — раздраженно спросил владелец кареты.

— Нет. Я Михаил Драгомилович. А чего надо?

Приезжий побагровел щеками и заскрипел зубами.

— Да я вас шомполами прикажу! До смерти засеку!

— Я — Андрей. — Юноша сделал шаг вперед, противя со сна глаза. — Чего надо?

— Издеваться!.. — заорал владелец кареты и стал судорожно вытаскивать саблю из инкрустированных золотом ножен. — Да я вас!.. Всех!..

— Чего злиться-то? — спросил Андрей. — Я и есть Андрей Степлер. Не смотрите, что такой молодой, но это правда. Я — Андрей Степлер.

— Ты? — с сомнением спросил приезжий. — Ты Андрей Степлер — селекционер?

— Я.

— Это ты произвел „Фрау Мозель“ и крыжовенную клубнику?

Юноша скромно опустил глаза.

— Плодовита Россия талантами, — сказал незнакомец. — Что ни дом, то талант, что ни город, то родина гения!.. Я граф Опулеску — поверенный Его Величества Самодержца России. Надобно мне, чтобы ты в полгода произвел на свет красивый и вкусный фрукт, доселе невиданный! Чтобы не было в природе ничего похожего и подобного! Понял?

— Тебе нужно или царю? — спросил дед Андрея.

— А с тобой, старик, я разговора не веду!

— Ну и езжай своей дорогой, — махнул рукой дед. — У Андрюшки и без твоего фрукта дел навалом! Езжай, любезный!

„Ну и семейка, — подумал про себя граф Опулеску. — Если бы не причуда царя, всех бы порубал!“

Поверенный вытащил из-под мундира грамоту с сургучом и протянул Андрею:

— Вот тебе царский указ! И помни: полгода сроку!

На этом Опулеску забрался в карету и отбыл в своем направлении.

Через полгода царю на десерт была подана неизвестная ягода с удивительным вкусом. Ягода пьянила, сластя язык, и будоражила воображение юношескими фантазиями.

— Что за ягода? — спросил царь.

— Драгомилка, — ответил повар.

— Не слыхал... А где взяли?

— Так по вашему указу. Чанчжозэйский селекционер Андрей Степлер произвел.

— Ах да!.. — вспомнил царь. — Славная ягода!

Более царь ничего не сказал, доел ягоды и отправился на военный совет.

Когда Андрею исполнилось двадцать пять лет, он влюбился. Девушку звали Дусей, и была она вся хлебная и соблазнительная. Дусе тоже нравился Андрей, ей льстило, что ухажер известен не только на всю округу, но даже и самому царю, если народ не врет. Она даже была готова выйти за садовода замуж, но, видимо, бес толкнул ее под ребро, или еще что — только когда мо-

лодой Степлер, собравшись с духом, сделал ей предложение, она ответила, что обязательно за него выйдет, но лишь тогда, когда он произведет на свет синие яблоки.

— Пусть они станут свадебным подарком! — сказала Дуся и тут же поняла, что натворила, ведь для выведения нового сорта яблок понадобится не менее года.

Девушка была слишком горда, чтобы отказаться от своего условия, а оттого Андрею ничего не оставалось делать, как взяться за работу.

Селекционер трудился не покладая рук, подбирая яблоки с проблесками синего и неутомимо скрещивая их. Все, казалось бы, шло как надо. Прививки распустились весной яблоневым цветом, к середине лета цветки превратились в зеленые яблочки, и Андрей в уверенности своей назначил день свадьбы.

Но, как оно зачастую бывает, человек предполагает, а звезды располагают. Яблоки поспели и попадали на черную землю, но среди них не было ни одного синего плода. Были и красные, и желтые, и разноцветные, но, увы, ни одного синего.

— Может быть, тебе на следующий год повезет! — сказала Дуся в своей горделивой жестокости. — Подождем следующей осени.

Но и на следующий год не получилось синих яблок.

Семнадцать лет Андрей отчаянно трудился, чтобы достичь желаемого, а Дуся, поникшая в своем девичестве, по привычке ждала обусловленного свадебного подарка, такая же гордая, как и много лет назад.

Осенью Андрей собрал урожай, в котором нашел черное яблоко. Садовод понял, что разгадка близка и что на следующий год он получит синие яблоки и наконец женится. Он ничего не сказал своей возлюбленной, а стал терпеливо пережидать зиму.

Весной Андрей сделал новые прививки, а осенью яблоня осыпалась синими плодами.

— Я женюсь, — сказал Андрей своему отцу, собрав яблоки в лукошко.

— На ком, сынок? — спросил Михаил Драгомилович.

— На Дусе, папа. Ты же помнишь ее.

- Так она же замужем! — удивился отец.
- Как замужем?!
- Разве я тебе не говорил?.. Уж второй год.

Андрей уронил лукошко, и синие яблоки раскатились по полу.

— Второй год за порядочным человеком... За капитаном Ренатовым, что ведает хозяйством в дивизионе Блюянова...

Через полгода Андрей заболел. Доктор Струве поставил диагноз — диабет. Хорошего лекарства от этой болезни не существовало, а оттого врач смотрел на больного с человеческим состраданием.

Но будучи естествоиспытателем, привыкнув работать со всякими удобрениями и химикатами, Андрей вскоре изобрел чудотворную жидкость, поддерживающую его больной организм, и назвал ее формолью.

А еще через два месяца умер отец Андрея Михаил Драгомилович. Схоронив на городском кладбище последнюю родную душу, сорокатрехлетний садовник продал свое хозяйство и постригся в монахи. Все вырученные деньги он передал чанчжозьскому монастырю, а также принес ему в подарок бережно выкопанную яблоню, родящую синие плоды, которую и посадил в монастырскую землю.

Эти синие яблоки и приносил митрополит Ловохишвили на городской совет.

Нельзя сказать, чтобы отец Гаврон часто вспоминал свою жизнь. Нет. Он не был тем человеком, который любит смаковать свои горести, бередя душу нарочными воспоминаниями. Если же что-то и напоминало в природе отцу Гаврону его несбывшиеся мечты, то монах в такие моменты просто грустно вздыхал и читал про себя какую-нибудь длинную молитву. Это помогало.

Безусловно, он простил Дусю сразу, оправдав ее поступок тем, что сам не обладал достаточным садоводческим талантом, дабы в первый год произвести на свет синие яблоки.

Судьба Дуси тоже сложилась не лучшим образом. Побыв несколько времени счастливо замужем, она во время

знаменитого чанчжэйдского нашествия разом потеряла все — и своего возлюбленного, разорванного на кусочки ошалелыми курами, и дом, рухнувший теплыми стенами внутрь.

Отец Гаврон по-свойски, по-родственному отпевал капитана Ренатова, а вернее, то, что осталось от отставника, — небольшой сапог, наполненный кровавой жижицей.

Через некоторое время, через год, что ли, он встретил Дусю на городском базаре. Они постояли несколько возле картофельных гор, смотря друг другу в глаза.

„Как ты, Андрей?“ — спрашивали Дусины глаза.

„Ничего“, — отвечали Андреевы.

„Может быть, что-нибудь изменим в нашей жизни?“ — хлопала ресницами женщина.

„Ушло наше время. Поздно“.

— Ну что ж, Андрей, — сказала Дуся на прощанье. — Всего тебе хорошего...

Отец Гаврон поежился от ветра, забирающегося ледяными лапами под его тулупчик, и посмотрел вниз с вышки. Что-то в курином столпотворении, какая-то дисгармония привлекла его внимание. Монах пригляделся, прищулив глаза, и различил ползущую на четвереньках фигуру. Куры шарахались в разные стороны от крадущегося, наскakивая друг на друга и недовольно кудахтая.

„Вор“, — подумал отец Гаврон и тут же спохватился: зачем кому-то понадобилось воровать кур, когда их и на воле достаточно.

Монах еще более внимательно пригляделся и увидел, как человек ловко схватил рыжую курицу за крыло и свернул ей в одно движение шею. Через мгновение он произвел ту же процедуру с другой несущкой, а затем и с третьей.

— А ну-ка стой! — закричал с вышки Гаврон. — Стой, стрелять буду! — И передернул затвор „фоккельбохера“.

Человек поднялся с четверенек и рванулся к бетонной стене, стараясь с разбегу наскочить на нее и перепрыгнуть. С первой попытки ему это не удалось, а со второй он дотянулся до бетонного края, закинул на него ногу, но застрял, удерживаемый колючей проволокой.

„Слишком малого роста вредитель, — подумал монах. — А то бы перескочил!“

Гаврон спустился с вышки и побежал к ограде, распугивая на бегу жирных кур.

„Господи, — подумал он, добежав до стены. — Да это же мальчишка!“

— А ну слезай! — приказал монах.

— Не могу, — ответил Джером.

— Почему это?

— Потому что застрял. Проволока в ноги впилась.

Монах поглядел на стену и заметил, как из голой ноги мальчишки сочится кровь.

— Ты, это, не шевелись, — предложил отец Гаврон. — Я сейчас за лестницей схожу.

Монах отправился за лестницей, размышляя, зачем мальчишке понадобилось сворачивать курам шеи. Садист, что ли, предположил он. Среди детей много садистов...

Между тем Джером висел на стене и думал, что с ним произойдет, когда вернется с лестницей отец Гаврон и снимет его. Мальчик попытался отцепиться самостоятельно, но ежик колючей проволоки еще крепче впился в его ляжку, вгрызаясь в самое мясо.

„Бить будет“, — подумал Джером.

Через несколько минут отец Гаврон воротился, волоча за собой длинную лестницу, подставил ее к стене и, скинув тулупчик, забрался на стену.

— Больно! — взвизгнул Джером, когда монах попытался вытащить из его голой ноги железную колючку.

— Терпи! Не я вором прокрался на производство, а ты.

Мальчик закусил губу от боли, а монах распатывал проволоку, зубьями зацепившуюся за кожу.

— Сейчас!.. — И резко дернул.

— У-у-у! — завопил Джером.

Отец Гаврон отвел мальчика в охранное помещение, где туго перебинтовал его поврежденную ногу, затем наладил самовар и, разомлевши в тепле, кинул свой тулупчик в угол.

— Ты кто? — спросил он Джерома.

— Воспитанник Интерната имени Графа Оплаксона.

— Как звать?

— Джеромом.

— А фамилия?

— Ренатов.

— Ренатов? — удивился монах. — Ты Ренатов?

— А что? — удивился в свою очередь такой реакции Джером.

— Нет, ничего... Просто я знал одного человека с точно такой же фамилией, как у тебя.

— Кого?

— Да так... К тебе он не имеет никакого отношения. Был когда-то такой капитан Ренатов, царство ему небесное...

— Это мой отец, — сказал мальчик и поморщился от боли в ноге.

— Как твой отец? — изумился монах. — У капитана Ренатова не было детей!

— Были.

— Да ведь не было! Я бы знал об этом!

— Отпустите меня, — попросил Джером. — У меня нога болит!

— Вот интересно-то!.. Сын капитана Ренатова... А зачем же ты курам головы сворачивал?

— Зачем, зачем!.. Они заклевали моего отца!.. Ну отпустите! — взмолился мальчик.

— Да ты хоть чаю попей! — засуетился монах над кипящим самоваром. — Согрейся! Поди, совсем замерз в коротких штанах!

— Ладно, — согласился Джером. — Чаю попью.

Отец Гаврон разлил по стаканам чай, достал из шкафа-

чика что-то, завернутое в тряпочку, развернул ее и выложил на блюде медовые соты, блестящие точно так же, как самоварный бок, и полные густого тягучего меда.

— Ешь, — предложил он. — Согревайся.

Мальчик взял янтарный кусочек и равнодушно принялся его посасывать, запивая чаем. Иногда он косился на отца Гаврона, словно проверяя того — не задумал ли он какую-нибудь пакость. Но монах покойно пил свой чай, позвякивая стаканом о блюде, и смотрел в ответ на Джерома с какой-то грустью, словно вспоминал что-то сентиментальное.

— Надо же, сын капитана Ренатова, — сказал себе под нос отец Гаврон. — Ну ладно, пусть будет так.

— А вы чего, сторож? — спросил Джером.

— Сторожу, — ответил монах.

— А как же вы — монах и с ружьем? Застрелили бы меня?

— Застрелить бы не застрелил, но в воздух бы пальнул.

От горячего чая лоб мальчика заблестел мелкими капельками пота.

— Первый раз вижу монаха с ружьем, — сказал он.

— Что поделаешь, все когда-то происходит в первый раз...

Отец Гаврон задумался, взял было кусочек медовых сот, но затем положил его обратно на тряпочку.

— Все ж ты кур не убивай. Твари-то они живые. Не ты им жизнь давал, не ты и забирай.

— А чего их здесь так много? — спросил Джером, пережевывая воск и завязнув в нем зубами. — Чего они к нам в город пришли? И вообще, чего они все время клюют, жрут без конца?!

— А это только одному Богу известно.

— Я так вот считаю, — продолжал мальчик. — Если в природе кого-то много, значит, произошла какая-то ошибка. Обычно те, кого много, не приносят пользы, зачастую только вред. А те, кого мало — благородны. Вот, например, лоси. Их мало, они красивы, никому не при-

чиняют зла, просто живут себе, пережевывая травку. Очень хорошее животное.

— Людей тоже много, — заметил монах.

— А что люди? Лучше бы стало, если бы их было столько же, сколько лосей. Да, людей много, а потому им всегда чего-то недостает. Поэтому они ищут и делают то, чего мало. Люди едят лосей после охоты, и лосей от этого становится еще меньше.

Джером глотнул из стакана остатки чая, звучно рыгнул и вытер рукавом губы.

— Отпусти-и-те меня!.. — внезапно заканючил он. — Мне идти-и надо... Меня и так все бьют!.. Мне совсем не хочется, чтобы вы меня бя-и-ли!..

— Да кто ж собирается тебя бить! — рассердился отец Гаврон. — Иди себе на здоровье на все четыре стороны!

— Спасибо за чай, — сказал мальчик обычным голосом и направился к выходу. Возле дверей он обернулся: — А вы любите курятину?

— Что?.. Курятину?.. Нет, я вегетарианец, — ответил монах.

— А-а, — кивнул головой Джером и выскользнул наружу.

„Странный мальчик, — подумал отец Гаврон. — Считает себя сыном капитана Ренатова и сворачивает курам шею...”

Пробили часы.

Пора лезть на вышку, спохватился монах, натянул тулупчик и повесил на плечо семизарядный „фоккельбохер“.

„А действительно, чего у нас в городе столько кур? — задумался отец Гаврон, созерцая с вышки океан из перьев и гребешков. — Чего они пришли? Чего клюют безостановочно?.. Хорошо это или плохо, что их так много?..”

Монах откупорил бутылку с формолью, налил жидкости в стаканчик, опрокинул его в себя, затем спрятал лицо в косматый воротник и задремал под завывание ветра.

— Удалось ли вам отыскать ключ? — с порога спросил Генрих Иванович и поморщился, глядя на Теплового. Уж больно неприятное зрелище он собою представлял. Глаза учителя ввалились, а белки подернулись красным. Волосы были еще более нечесаны и при любом движении с них валилась крупная перхоть. — Отыскали разгадку?

— Деньги принесли? — поинтересовался глухим голосом Гаврилы Васильевич.

От этого вопроса Шаллер одновременно и обрадовался, и почувствовал, как под сердцем что-то екнуло, затем лопнуло, выпуская в кровь адреналин.

— Денег не принес, — растерянно произнес полковник. — Вам удалось это сделать?!

— Да, мне это удалось, — с высокомерием ответил Теплый. — Поверьте, это было нелегко. И это стоит моего гонорара.

— Деньги я вам принесу завтра или, если хотите, сегодня вечером... Могу ли я взглянуть на расшифровки?

— Погодите! Я только ночью второго дня отыскал ключ. Вы принесли мне более пятисот листов, и, даже зная ключ, требуется значительное время, чтобы расшифровать и переписать такое количество страниц... Помнится, вы говорили, что это лишь малая часть того, что написала ваша жена?..

— Да, это примерно шестая часть, — подтвердил полковник. — Но хоть что-то вы переписали?

Шаллер нервничал, и это не ускользнуло от Теплого.

— Пока не стоит так переживать! — сказал он и взмахнул веником своих волос. — Я переписал что-то около десяти страниц.

Генрих Иванович быстро посмотрел в глаза учителя.

— То, что я прочитал, — продолжал Гаврила Васильевич медленно, с расстановкой, — то, что я прочитал, представляется мне летописью... Летописью города Чанчжоз... Знаете, к какому выводу пришла ваша жена уже на первой строке своих записей?... К выводу, что название Чанчжоз переводится как Куриный город. Не скрою, мне это льстит.

— Могу я посмотреть эти страницы?

— Да, конечно.

Теплый взял со стола папку, открыл ее, вытащил с десяток рукописных листов и передал их Шаллеру.

— Надеюсь, я заслужил свой гонорар?

— Что вы говорите? — спросил полковник, уставившись в бумаги.

— Я говорю, что моя работа заслуживает обусловленного гонорара.

— Да-да, конечно! Я же сказал вам, что деньги будут сегодня вечером. — Полковник не спеша проглядывал страницы. — Но я бы хотел, чтобы вы также передали мне и ключ к шифру.

Гаврила Васильевич замялся.

— Дело в том... э-э... Вся проблема заключается в том, что ключа как такового не существует.

— Как это?

— Понимаете ли, полковник, ключа к шифру вашей жены традиционным способом найти невозможно. Шифр совершенен. Единственное, что я мог сделать в такой ситуации, — это... — Теплый передернул плечами. — Боюсь, что вы мне не поверите...

— Говорите.

— Ну как бы мне это вам объяснить попроще... Ваша жена, как мне представляется, не конструировала шифра. То есть она не изобретала его специально. Он явил-

ся ей сам, путем прозрения или озарения, как хотите это называйте. В общем, разгадать такой шифр, лишенный видимой логики, обычным путем анализа и сравнений — невозможно. Честно говоря, в какой-то момент я отчаялся справиться с задачей. Мне оставалась лишь единственная возможность — ждать озарения. Как видите, я его дождался.

— Странно, — сказал Шаллер.

— Вы мне не верите?

— Ну, а как вы хотите? Я плачу вам солидную сумму за ключ, а вы говорите, что его не существует. Может быть, вы, не справившись с задачей, хотите подсунуть мне, как вы говорите, летопись Чанчжоз, написанную вами, а не моей женой. Может быть такое?

Теплый опешил.

— И вдобавок получить с меня гонорар!

Все высокомерие, протекающее из Гаврилы Васильевича минутами ранее, в мгновение улетучилось. Вся его фигура, выражение лица и глаз, все напоминало несправедливо побитую собаку, верой и правдой служившую хозяину и от него же претерпевшую побои.

— Честно говоря, я не подумал об этом.

— Видите... И что бы вы сделали на моем месте? Как бы поступили?

— Честно говоря, я не знаю.

Генрих Иванович держал в руках бумаги и молчал. Молчал и Гаврила Васильевич. Казалось, что его красноватые глаза были вот-вот готовы пролиться слезами, но тут внезапно лицо его просветлело, как будто туча открыла солнце, и серая кожа щек зарумянилась, как у девушки от стыда. Он встрепенулся и сделал длинный шаг навстречу Шаллеру.

— Да как же, как же!.. Есть доказательство!.. Там, в бумагах... Дайте мне их! — Теплый почти вырвал из рук полковника листы. — Вот же, на десятой странице!.. Смотрите!.. — И зачитал: — „Елена Белецкая. Родилась восемнадцатого сентября третьего года чанчжозского летосчисления“. — Теплый заискивающе по-

смотрел на Генриха Ивановича и захлопал глазами. — Ваша жена родилась восемнадцатого сентября? Ведь так?

— Да. Моя жена родилась восемнадцатого сентября.

— Ну вот видите? Мог ли я, спрашивается, знать об этом?

— Могли, — ответил Шаллер. — Вы могли без труда об этом узнать. Информация не секретна.

Славист вновь погрузился, и плечи его опустились.

— Значит, все мои усилия напрасны? — печально спросил он.

— Вполне вероятно, что в последующих страницах будет больше доказательств, — жестко ответил полковник.

— Наверное, вы просто не хотите платить мне денег?

— Вы нуждаетесь?

— Отчаянно.

Генрих Иванович вытащил бумажник и достал из него сотенную купюру.

— Вот вам за десять страниц. В ваших интересах поскорее закончить расшифровку и предоставить мне доказательства. Тогда вы сможете вести достойную жизнь в течение двух лет.

Теплый взял из рук полковника сотенный билет, сложил его вчетверо и спрятал в нагрудный карман.

— Я буду приходить каждые три дня, и вы будете мне передавать переписанные страницы. Каждую неделю я буду выплачивать вам по сто рублей до тех пор, пока из бумаг не будет явственно видно, что написаны они моей женой. Согласны?

— Вы меня зажали в угол! — тяжело вздохнул учитель. — Мне больше ничего не остается делать.

Шаллер свернул страницы трубочкой и засунул за борт кителя.

— Всего хорошего, — попрощался он и вышел вон.

Как только полковник закрыл за собой дверь, Гаврила Васильевич совершенно преобразился. От его вида побитой собаки ровным счетом ничего не осталось. Лицо

учителя оскалилось в ярости, он глухо зарычал, сжимая кулаки, и со всей силы ударил ногой по стеллажу с книгами. От такого внезапного сотрясения книги с верхней полки не удержались и посыпались на пол, как коровьи лепешки. Падая, они раскрывались в тех местах, где имелись цветные иллюстрации, и через мгновение весь пол маленькой комнаты стал похож на стенд патолого-анатомической выставки.

Глядя на фотографии вскрытых тел, на их кровавые повреждения, Теплый впал в состояние аффекта. Из уголков его губ показались пузырьки пены, глаза подернулись мглой, а пальцы на руках быстро сжимались. Славист раскачивался на ногах, с пятки на носок, как засохшее дерево, и испытывал непреодолимое желание убить. Он отчетливо представил себе картину, как его длинные ногти впиваются в кадык полковника, разрезая кожу на шее, словно бритвой, как кадык вываливается из обнаженных мышц скверным яблоком, как полковник хрипит и пучит в дикой боли глаза, моля о пощаде. Но Теплый не ведает сострадания, он продолжает убивать с улыбкой превосходства на лице, пока большое тело полковника не падает бездыханным на пол.

Гаврила Васильевич очень хотел уехать из Чанчжоз, все его существо стремилось в сердце Европы, а потому нежная душа не выдержала столь сильного удара судьбы и трансформировалась в душу с необузданными страстями.

Генрих Иванович заперся на веранде и разложил перед собой страницы.

„История Чанчжоз насчитывает чуть более сорока лет, — прочитал он первую строчку. — Первый день летосчисления приходится на осенний день, когда луна стояла против солнца. Сорок лет назад на месте города была голая степь. В этой степи, безветренной и сухой, в небольшой землянке поселился первый чанчжозейский житель, отец-пустынник Мохамед Абали, человек до-

стойный в своем послушании божественному зову. Откуда и зачем пришел в нищую степь Мохамед Абали — ничего этого не известно. Единственное, что имел при себе пустынный из мирских вещей, была жестяная кружка, в которую он с вечера насыпал песок, а к утру получал из него воду.

Все время дня, от бледного рассвета до кровавого заката, Абали проводил в чтении Ветхого Завета и размышлениях о бытии земном. Его душа была покойна и постоянно глядела своим острым концом в небеса, готовая сорваться к облакам по любому мистическому знаку природы. Таким непритязательным образом Мохамед прожил несколько месяцев, пока какая-то болезнь не посетила его тело. Осчастливленный пустынный уже было собрался отправиться к отцу всего живого, как возле его землянки появился некий человек с кожаным саквояжем, назвавший себя доктором Струве и ставший впоследствии вторым чанчжозским жителем.

Несмотря на активные протесты Мохамеда Абали, доктор Струве освободил его больное тело от недуга и поселился рядышком с землянкой пустынного, выстроив себе нечто вроде хижины.

Вскоре в Чанчжоз, нагруженные поклажей, вошли еще пять жителей с черным цветом кожи. Это была семья африканских переселенцев, состоящая из двух взрослых и троих детей. Негры принесли с собой пятых кур-несушек и одного худого петуха, который без устали снабжал стол переселенцев свежими оплодотворенными яйцами.

Восьмым жителем города стала молодая особа, назвавшая себя мадмуазелью Бибигон и родившая в законное время троих мальчиков доктору Струве. Вследствие этого отец троих детей был вынужден выстроить для своего семейства более подобающее жилище. Доктор возвел чудный двухэтажный домик и разбил вокруг него садик с яблоньками и помидорными кустиками.

Но не только один доктор Струве показал чудеса строительства. Не сидели сложа руки и негры. В невоз-

можные сроки африканцы возвели в отдалении церковь, в которой по вечерам пели джаз, прихлопывая в такт в ладоши и стремясь таким манером развеселить Бога.

К концу первого года чанчжозйского летосчисления в городе появился бравый генерал Блуянов, приведший с собой двадцатерых солдат, которые усиленными темпами принялись строить казармы улучшенного типа. По вечерам солдаты вышагивали строем, четко выполняя повороты направо и налево, а также кругом по командам Блуянова.

Мадмуазель Бибигон, завершившая кормление грудью, оставила доктора Струве и перешла жить к генералу, родив от него трех девочек. Блуянову пришлось на время отставить строевые учебы и бросить солдат на строительство подходящего жилья для своего многодетного семейства.

К середине второго года в Чанчжоз прибыл г-н Контата с целой вереницей повозок, груженных импортными товарами. Предприимчивый и энергичный, он одолжил у Блуянова солдат за щедрую плату и занялся капитальным строительством. Под его руководством военные в невиданные сроки построили шестнадцать домов под черепичными крышами, двери которых Контата запер на ключ в ожидании потенциальных покупателей.

Через два месяца в Чанчжоз случилось первое горе. В два дня вымерло все африканское семейство, оставив в наследство городу церковь и своих кур. В попытке вылечить негров доктор Струве оказался бессильным, ссылаясь на то, что болезнь науке неизвестная и, по всей видимости, является прерогативой только черного населения.

Но так или иначе, негры отправились на африканскую часть неба, а белые освоили их жилища и имущество, задавшись вопросом, что делать с церковью. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и в один из ненастных вечеров в Чанчжоз на старом муле въехал бородатый человек в церковных одеждах и представился митрополитом Ловохишвили, прибывшим в город по распоряжению самого Папы Римского.

Новоявленный митрополит поселился в одном из домов, выстроенных г-ном Контатой, и переименовал африканскую церковь в русский православный храм.

Каждое утро и вечер Ловохишвили проводил в храме службы, внушая прихожанам почтение к морали и божественному всевидению. Особенно митрополит делал упор на мятущуюся душу мадмуазель Бибигон, стремясь сдержать ее плодовитое чрево в рамках одного семени. Располневшая дама со слезами на глазах внимала духовному отцу, раскаиваясь, а затем умиляясь во внезапном прозрении.

Вскоре мадмуазель Бибигон переехала в дом г-на Контаты и в положенное время разродилась двумя девочками и белокурый мальчиком, своими чертами напоминающими постороннего человека, не живущего в Чанчжоэ.

К концу второго года в городе появился субъект с роскошной гривой волос и красивым разрезом глаз. Вместе с субъектом в Чанчжоэ прибыли и десять голов молодого скота. Восемь телок и с ними два бычка, на тот случай, если один из бычков сдохнет.

— Скотопромышленник Туманян, — представился новичок. — Буду тут у вас жить, разводить скот.

На следующий день в городе была зафиксирована первая торговая сделка. Г-н Контата променял один из своих домов на трех самых упитанных телок г-на Туманяна в надежде на парное молоко.

Скотопромышленник вселился под черепичную крышу, здраво рассуждая, что ни одна телка без быка доиться не будет, а значит, можно рассчитывать и еще на один дом.

Тридцать третьим жителем города стал каменщик по фамилии Персик.

Отдохнув от перехода, этот плюгавый человек на следующий день ушел в разведку и вскоре явился обратно со счастливым известием, что неподалеку есть месторождение булыжника.

— Я буду мостить главную площадь города! — возвестил он и тут же хотел взяться за тяжелую работу.

Но возникли непредвиденные сложности. Каждый из чанчжозйцев справедливо полагал, что главная городская площадь должна располагаться как раз против окон его дома, а если мостить будут в другом месте, то площадь будет не главной, а второстепенной, и если в Чанчжоэ пока нет главной площади, то абсурдно мостить сначала второстепенную.

— Все дома мои! — привел довод г-н Контата. — Поэтому площадь должна быть разбита там, где я укажу!

— Не все дома ваши! — возмутился скотопромышленник. — У меня тоже есть дом! И у остальных имеются.

— А я команду армией! — пригрозил генерал Блюянов. — Я наведу в городе порядок! Не терплю анархии!

— Площадь должна быть построена напротив моего дома! — заявил доктор Струве. — Я — первый житель города! Тем более я — врач. Если кто-нибудь заболит, то я должен в кратчайшие сроки добраться до больного. Поэтому я должен жить в центре города.

Доводы сочли бы убедительными, если бы не мадмуазель Бибигон, напомнившая всем, что доктор Струве отнюдь не первый житель города, а что наипервейшим аборигеном является отец-пустынник Мохамед Абали, а потому с ним должно посоветоваться.

— Хорошо, — согласился г-н Контата. — Спросим отшельника. Тем более надо его проведать, может быть, он умер давно.

Жители города в полном своем составе отправились к землянке Мохамеда Абали, и каково было их удивление, когда в ней они обнаружили не только цветущего отшельника, но и пожилую женщину, кормящую пустынного горячими пирожками. За занавеской в землянке находились еще пять человек, трое мужчин и две женщины.

— Моя мама. Прошу любить и жаловать, — представил женщину Мохамед. — А это мои братья и сестры.

Все и полюбили маму Абали, на безымянном пальце которой сверкал двадцатикаратный бриллиант.

— Площадь должна быть разбита напротив дома моего сына! — сказала мама. — Он первый житель города.

— Но ведь у вашего сына нет дома! — заметил Контата.

— Будет, — ответила мама и сняла с пальца кольцо. — Этого хватит за дом?

— Вполне, — подтвердил владелец недвижимости. — Этого хватит на самый большой дом. На четырехэтажный.

Так в городе была заключена вторая сделка. Семья Мохамеда Абали вселилась в новый дом, а каменщик Персик с удовлетворением приступил к разбивке главной площади.

В начале третьего года в городе появился дерзкий мужчина по фамилии Иванов и предложил горожанам выстроить ветряные мельницы, к которым, в свою очередь, подсоединить динамо-машины.

— Таким образом, — пояснил он, — таким образом можно убить сразу двух зайцев: и зерно молоть в муку, и энергию пустить на электричество.

— А у нас нет ветра, — ответили чанчжозцы.

— Как нет?! — удивился Иванов.

— Так, нет... Безветрие...

Но дерзкий мельник не поверил горожанам и остался в Чанчжозе на некоторое время, дабы уличить жителей в коварном обмане.

Мукомол поселился в доме Мохамеда Абали, заплатив за постой с обедами некоторые деньги. В течение двух месяцев он мучился бездельем, частенько выбегая на улицу, в особенности когда ему казалось, что порывы ветра наконец-то продувают городские улицы. Но всякий раз Иванов неизменно обманывался: ветра не было. Настойчивый мужчина слюнявил пальцы, поднимая их высоко над головой, как опытный капитан в штиль, надеясь уловить хоть какое-то движение атмосферы.

— Безветрие у нас, — в который раз пояснял Мохамед Абали. — Ехали бы вы в свои края строить мельни-

цы. А то квалификацию потеряете и все деньги на пустое проживете.

В один из дней постоялец Мохамеда Абали выглянул по привычке в окошко и увидел, как по булыжной мостовой в сторону севера передвигается обгрызенный кусочек бумаги. Бумажка подпрыгивала, крутясь в воздухе, и, казалось, ласкалась, обдуваемая воздушными потоками.

— Ветер, — прошептал Иванов. — Ветрина! Ветрище!

В одном исподнем мукомол выбежал на улицу и с восторгом помчался за бумагой. Он шлепал босыми ногами по булыжникам, простирая к чудесному знаку свои руки. И каково было его изумление, когда, догнав бумажку и подхватив ее на руки, он обнаружил привязанную к ней ниточку, конец которой держал в гадких ручонках босоногий мальчишка и криво ухмылялся.

— Будь проклят этот город! — закричал в отчаянии мельник. — Будь прокляты его люди! Прочь отсюда! Немедленно!

За пятнадцать минут обманутый в своих надеждах, униженный мукомол собрал пожитки и, весь в слезах, чертыхаясь, отбыл из города в неизвестном направлении.

Вечером того же дня на фасаде дома Мохамеда Абали появилась вывеска, лаконично гласящая: „ГОСТИНИЦА“.

Наутро новоиспеченную гостиницу освятил митрополит Ловохишвили. Посланник Папы обкурил ее ладаном и опрыскал все углы святой водой. Позже, оставшись наедине с Мохамедом Абали, митрополит спросил его:

— Не мусульманское ли имя твое?

— Важно ли имя? — рек первый житель. — Суть важна.

— Веруешь ли ты в православного Бога или поклоняешься Аллаху? — спросил митрополит.

— Ведь пустынный я, русский отец-пустынный.

— А где твои книги и размышления?

— Здесь. — Мохамед постучал костяшками пальцев

себя по лбу. — Все книги и размышления здесь сокрыты.

— А поступки где твои? — не унимался Ловохишвили.

— Поступки будут.

— Приходи сегодня в храм, — наказал настоятель.

— Приду, — пообещал Абали.

Отец-пустынник сдержал свое слово и на закате пришел в чанчжозьский храм.

— Надо бы тебе имя другое выбрать, — сказал митрополит.

— Зачем? — удивился хозяин гостиницы.

— Православное имя тебе надобно.

— А чем мое плохо?

— Не понимаешь ты своей ответственности перед городом! — посетовал посланник Папы. — Ты первый житель города! Ты русский отец-пустынник! Ты история русского города Чанчжоз! *Твое* имя останется в памяти человеческой на века!.. — Ловохишвили понизил голос до шепота: — Боюсь, что после смерти твоей мусульмане оспорят право русского человека владеть этим городом! И приведут доводы, что, мол, ты специально был послан в эти степи, дабы организовать новый город под оком Аллаха — мусульманский город. Понимаешь?

— Понимаю, — шепотом ответил Абали.

— Придут орды фанатиков и сотрут с лица земли, что нами построено было! Женщин изнасилуют!..

— А что делать? — с ужасом спросил Мохамед.

— Имя менять надо. На православное. Согласен?

Первый житель пожал плечами.

— Надо так надо. Ничего не поделаешь.

— Ну вот и хорошо, — обрадовался митрополит. — Какое хочешь? Хочешь, Еремеем наречем, а хочешь — Степаном?

— Да не ахти имена какие! — Абали подумал. — Другие давайте.

— Как тебе — Елизар?

— А еще?

— Может быть, Самуил?

— Нет.

— В самом деле, разборчивый ты какой-то! — рассердился Ловохишвили. — Имена ему не нравятся!.. Выбирай скорее! — И предложил: — Иван?

— ...

— Игнат?

— Ох...

— Булат?

— Не нравится... А можно, я сам имя сочиню? — спросил Мохамед.

— Сам? — удивился митрополит.

— В русском духе.

— В русском духе?.. Ну что ж, попробуй...

Пустынник задумался на полчаса, а потом сказал:

— Хочу быть Лазорихием!

— Лазорихием... — пожевал на языке посланник Папы. — Лазорихий... А что?.. Ничего имя... Лазорихий... Будь по-твоему! Отныне будешь зваться ты не Мохамедом Абали, а Лазорихием! Так и запишем в святцы!

— А фамилия? — поинтересовался новоиспеченный Лазорихий.

— А первому жителю фамилия не нужна! Ты миф!..

Таким образом и произошел Лазорихий, а землянка отца-пустынника благодаря материнской заботе переродилась в гостиницу.

В конце третьего года существования Чанчжоз в городе появился мужчина приятной наружности. Обут он был в лаковые сапоги, затянут в кожаную жилетку, а на голове его, на черных как смоль волосах, была надета красно-зеленая жокейская шапочка. Надо отметить, что мужчина прибыл в город не пешим, а красиво восседал в дорогом седле на спине длинноногого жеребца, фыркающего то одной ноздрей, то другой. От инкрустированного серебром седла тянулась веревка, и кончалась она

узлом на уздечке такой же породистой, как и жеребец, кобылы, следующей в связке.

— Белецкий, — представился мужчина приятной наружности каменщику Персику, мостящему в этот час дорогу. — Где я могу остановиться?

— В гостинице, — ответил Персик.

— У вас и гостиница есть?

— А как же! Вон там, — указал каменщик.

Белецкий проехал в указанном направлении и действительно обнаружил четырехэтажную гостиницу, в дверях которой его встретил приветливый хозяин.

— Добро пожаловать!

Белецкий спешился и, привязав лошадей к коновязи, поднялся по ступенькам к регистрационному бюро.

— Лазорихий, — представился хозяин.

— Белецкий.

— Надолго к нам?

— Навсегда.

— Это хорошо, — обрадовался пустынный и вытащил из папки регистрационный бланк. — Имя, фамилия?

— Белецкий Алексей.

— Сколько лет?

— Тридцать один.

— Род занятий?

— Развожу лошадей.

— Как это хорошо! — воскликнул Лазорихий. — Как это замечательно!

— Что же в этом особенного? — удивился Белецкий.

— А то, что в нашем городе еще никто не разводит лошадей. У нас город безлошадный.

Белецкий улыбнулся и спросил:

— А с девушками как?

— С девушками? — переспросил Лазорихий и сам задумался, как в городе обстоит дело с девушками и вообще с женским полом. — С девушками плохо. Девушек нет.

— Как нет? — Белецкий удивился еще больше.

— Вы понимаете, — принялся разъяснять хозяин гостиницы, поднимаясь по лестнице к апартаментам приезжего. — Город у нас молодой, даже юный, можно сказать. В городе есть женщины и подростки, а вот девушки пока еще не успели вырасти. — Лазорихий вставил ключ в замочную скважину, повернул его дважды и распахнул перед гостем дверь. — Но они обязательно вырастут.

Белецкий оглядел комнату, порадовался солнечному свету, играющему пылинками, попробовал на мягкость кровать и, усевшись на матрац, радостно сказал:

— Да Бог с ними, с девушками! Я же переселенец, а у переселенца должны быть лишения. Ограничимся женщинами...

Белецкий оказался талантливым коннозаводчиком. Вскоре кобыла понесла и родила ранее положенного срока шестерых жеребят крейцеровской породы. Как и следовало ожидать, г-н Контата согласился обменять один из своих домов на жеребенка мужеского пола, и Белецкий обрел свой дом.

Как только он обосновался в новых стенах, обогрев их печью и своим дыханием, в жилище появилась женщина.

— Мадмуазель Бибигон, — представилась фемина. — Я люблю вас с первого мгновения, — сказала она просто и обвила шею Белецкого своими пухлыми руками. — Я хочу от вас детей. — И поцеловала коннозаводчика в подбородок.

Ощутив смородиновое дыхание, задрожав от прикосновения мягких женских губ, Белецкий осознал, что в его душу стучится счастье, а потому немедленно открыл ажурную дверку и впустил его без оглядки.

В конце третьего года чанчжозйского летосчисления, восемнадцатого сентября у мадмуазель Бибигон и коннозаводчика Белецкого родилась девочка, которую, посоветовавшись, нарекли Еленой..."

Полковник Шаллер закончил читать страницы, расшифрованные Теплым, и находился в состоянии смятения.

„Что это за текст? — думал он. — Профанадия или бред сумасшедшего? Как воспринимать прочитанное? Как отнестись ко всему?“

Генрих Иванович потер виски и услышал трещанье пишущей машинки, доносящееся из сада.

„Что же она там еще нащелкивает? Над чем трудится?“

Шаллер спустился в сад и, хрустя осенними листьями под ногами, подошел к жене. Он некоторое время смотрел на нее, на сомнамбулическую, пишущую, с истончившейся кожей на висках, затем рукой поворошил ей волосы на затылке и на некоторое время замер, рассматривая белые перышки.

„Надо искупаться“, — подумал Генрих Иванович и, отстраненно поцеловав жену в макушку, отправился к китайскому бассейну.

Он разделся и сошел в воду. Поплавав самую малость, от бортика до бортика, заплыл в угол, прислонил голову к изразцам и закрыл глаза.

„Какие странные записи, — думал он. — Как все странно записано. Какое-то море несоответствий и неточностей!..“

Полковник напряженно думал над прочитанным, слегка шевеля в воде ногами, отыскивая по памяти в летописи ошибки.

„События на десяти страницах охватывают лишь три первых года чанчжэйдской истории, — говорил про себя Шаллер. — Что же получается? Все дети, рожденные мадмуазель Бибигон в новостройках, были недоношенны по меньшей мере на половину положенного срока!.. Мысль скакнула... Значит, моя жена приходится сестрой детям губернатора Контаты и детям доктора Струве! — внезапно заключил Генрих Иванович. — Дилемма во всем этом только одна — доверять записям или нет!”

Полковник окунулся с головой и просидел под водой целую минуту, каждые десять секунд выпуская из себя большой воздушный пузырь.

„Кто же такая мадмуазель Бибигон?“ — задумался он, вынырнув. Помнится, ни отец Елены, ни сама Белецкая никогда не говорили о ней, и Генрих Иванович полагал, что мать жены умерла слишком рано и воспоминания о ней доставляли родственникам невыносимую боль.

Полковник вновь нырнул, а когда вынырнул, настроенный продолжать свои думы, то услышал над собой наглое „эй!“.

Шаллер вывернул голову и увидел стоящего на краешке бортика давешнего мальчишку с синяками под глазами. Сейчас, правда, синяки выцвели, как хорошо стираный сатин, и уже не поражали своей величиной.

— Эй! — повторил мальчишка. — Могу я поплавать? Ты же меня сам приглашал! Помнишь?

Глядя на Джерома, полковник вспомнил Франсуаз Коти, ее влажную грудь и крепкие бедра, сделал над собою усилие, отгоняя эротические картинки, и покашлял для закрепления достигнутого эффекта.

— Ты меня слышишь? — спросил мальчишка.

— Слышу, — ответил Генрих Иванович.

— Так могу я поплавать? Бассейн ведь не твой!..

— Конечно, можешь.

— Ну вот и спасибо, — поблагодарил Джером и стал медленно раздеваться.

Он аккуратно сложил шорты и рубашку, оставшись

в купальном костюме мышиного цвета, закрепленном на груди помочами.

— Холодная вода? — спросил он.

— Теплая.

— Глубоко?

— Не мелко.

— Значит, можно нырять?

— Можно.

— Сначала просто поплаваю, а потом уже нырну, — решил Джером и медленно сошел по ступеням в пузырящуюся воду. — Действительно теплая, даже горячая.

Он оттолкнулся от дна ногами и поплыл по-собачьи, задрав высоко подбородок и щуя глаза. Ему понадобилось достаточно времени, чтобы доплыть до бортика, возле которого стоял Шаллер, и он, задыхаясь, даже протянул тому руку навстречу, чтобы здоровенный мужик помог ему добраться до мелкого места.

— Давно не плавал, — сказал Джером, встав рядом с полковником. — Сноровку потерял.

— Да, — согласился Генрих Иванович, разглядывая его намокший купальник с двумя горошинами сосков. — Плаваешь ты неважно. Но дело это наживное.

— Чего грустишь? — спросил мальчик.

— Я не грущу.

— Грустишь, грустишь! Вон как морщины вздыбились на лбу!.. Неприятности?

— Да нет. От неприятностей Бог миловал.

— Ну ладно, не хочешь говорить, не говори. Дело твое. А где женщина твоя?

— Не знаю.

— Я тут подумал на досуге — красивая она! И автомобиль у нее красивый!

— Как успехи в учебе? — перевел разговор на другую тему Генрих Иванович.

— Успехи неважные.

— Что так?

— Переходный возраст. Другие интересы.

- Какие же, если не секрет?
- Не секрет. Размышляю о смысле жизни.
- И какие выводы?
- А выводы такие, что смысл моей жизни лежит в области чужих интересов. В моих интересах смысла нет.
- Какие же у тебя интересы?
- Хочу стать патологоанатомом.
- Почему? — удивился Шаллер.
- Потому что мертвый человек возбуждает во мне интерес. Глядя на мертвеца, ощущаешь себя живым, тогда как глядя на живого, ощущаешь себя никаким.
- Где же ты видел мертвецов? — спросил Генрих Иванович.
- У учителя Теплового.
- Что же они, прямо у него в квартире лежат?
- Да нет же! — Джером поморщился. — Он собирает атласы судебной медицины. У него их целая библиотека. Вот я и смотрю их на досуге. А ты видел когда-нибудь мертвецов?
- Приходилось, — ответил полковник, вспомнив мать, придавленную обломками дома во время Чанчжойского землетрясения. — Я видел мертвецов.
- А ты видел, как купец Ягудин упал мордой на булыжники?
- Видел. А почему ты спрашиваешь?
- Уж больно у него голова крепкая была! Другая бы разбилась, как арбуз, от такого удара, а от ягудинской даже булыжник треснул! Может быть, он мутант? Как ты думаешь?
- Может быть. — Шаллер поглядел мальчику в глаза — большие, с черными зрачками во все глазное яблоко. В них, подернутых влагой, он разглядел свое отражение, искаженное, как будто полковник смотрел на себя с обратной стороны подзорной трубы. — Может быть, и мутант, — еще раз повторил Генрих Иванович.
- Проплывусь, — сказал Джером и слегка оттолкнулся от бортика ногами. Он придавал телу ускорение, но

при этом слишком низко опустил подбородок и всем ртом хлебнул воды. Мальчик закашлялся, замолотил руками по воде, развернулся лицом к Шаллеру и протянул ему ладонь. Полковник опять помог обрести Джерому почву под ногами и, не сдержавшись, заулыбался.

— Что ты смеешься? — спросил мальчик. — Разве тебе не известно, что каждый человек что-то делает хорошо, а что-то плохо? Так вот, плаваю я плохо. Что в этом смешного?

— А что ты делаешь хорошо?

— Пока я еще не знаю, что делаю хорошо. Слишком мне мало лет... Хотя нет, одно дело я делаю прилично. Но тебе не скажу какое.

— Секрет?

— Наверное. Я не знаю, как ты к этому отнесешься, а потому не скажу.

— Не говори, твое право... Но, может быть, ты мне скажешь, откуда на твоём лице синяки?

Джером задумался.

— Синяки на моем лице — дело частое, — сказал он. — Почему-то многим доставляет удовольствие бить меня по лицу. Видимо, в конструкции моей физиономии есть что-то притягательное для ее набития. Я так полагаю, что это то же самое, как голое женское тело кого-то притягивает для объятий. Кстати, не можешь ли ты мне объяснить, что движет тобою, когда ты целуешь женские груди и живот? Ведь все это может быть не совсем чистым? Например, для меня эта область человеческого общения не представляется привлекательной.

Почему-то этот вопрос Джерома прозвучал для Генриха Ивановича самым естественным образом, он даже не почувствовал смущения, возможно, из-за того, что сам мальчик не видел в этом вопросе ничего скабрёзного, а потому спокойно на него ответил:

— В жизни каждого человека, в определенном возрасте, наступает момент, когда он чувствует влечение к противоположному полу. Это абсолютно нормальный физиологический процесс. Когда-нибудь и ты почувствуешь влечение.

— Какого рода это влечение?

Шаллер хмыкнул.

— Знаешь, это очень трудно объяснить...

— Попробуй.

— Ну, бывает момент, когда влечение заставляет тебя забыть обо всех проблемах, когда тело дрожит от желания разрядиться.

— Чем разрядиться?

— Семенем для продолжения рода.

— Как будто бы мы это в интернате проходили.

— Тогда тебе все известно, — облегченно вздохнул Генрих Иванович. — Это называется инстинктом продолжения рода.

— Для этого в женский организм суется штука, из которой обычно писают?

— Можно и так сказать.

— А у меня есть семя?

— Когда вырастешь, семя будет и у тебя.

— И инстинкт продолжения рода?

— И инстинкт в тебе проснется.

— А что главнее — инстинкт или сознательное продолжение рода?

— И то и другое главное.

— А мне кажется, что не будь инстинкта, то не будет и сознательной надобности продолжать род. Я думаю, что инстинкт подменяет сознание, а человеку кажется, что делает он все осмысленно.

— Ты не прав. Для взрослого человека очень важно увидеть свое продолжение в детях.

— Во мне инстинкт не проснулся, а потому то, что ты проделывал со своей женщиной, не представляется мне привлекательным. Добровольно я бы никогда этого не стал делать. И я бы не хотел видеть своего продолжения. Мне и так не слишком радостно. Кстати, у тебя есть дети?

— Нет.

— Ты тоже не хочешь видеть своего продолжения?

— Хочу. Но не все, что хочется, случается. Зачастую наоборот: то, чего ты особенно желаешь, становится невозможным.

— Твоя женщина тебе родит ребенка.

— Дело в том, что это не моя женщина.

— Как это? — не понял Джером. — Ты же делал с ней то, что обычно делают только со своими женщинами.

— Бывают исключения. — Генрих Иванович замялся. — Понимаешь, существуют вещи, которые непросто объяснить. Например, у меня есть жена.

— И что?

— Детей полагается иметь от жен и мужей.

— Тогда пусть тебе жена родит.

— Она не хочет.

— Вот видишь! — обрадовался Джером. — Значит, у нее, как и у меня, отсутствует инстинкт продолжения рода... Но ведь это не беда! Плюнь на условности и попроси красивую чужую женщину родить тебе ребенка!

— Я же тебе объяснил, что так не полагается.

— Но ведь можно развестись со своей женой и жениться на красивой женщине. Она станет твоей и родит тебе мальчика... Или чего ты там хочешь?

Шаллер запутался в этом разговоре, а потому просто сказал:

— Хорошо. Я подумаю над твоим предложением, — и оттолкнулся от бортика ногами, окатив мальчика фонтаном брызг.

— Эй, подожди меня! — крикнул Джером. — Я плыву с тобой!

Генрих Иванович свободно держался на воде, поддерживаемый мириадами пузырьков, и умилялся, глядя на тщедушное тельце, колотящее что есть силы руками и ногами.

— У меня уже лучше получается, правда? — спросил мальчик, схватившись за бугрящееся мышцами плечо полковника.

— Да, у тебя безусловный талант к плаванию.

— Значит, скоро у меня появится еще одно дело, которое я делаю хорошо. Оно не будет секретом, а потому я смогу о нем рассказывать.

Генрих Иванович поплыл к противоположному бортику, увлекая за собою Джерома. Мальчик скользил по воде без малейшего усилия, а потому наслаждался водной стихией, заключенной в китайскую ванну.

Шаллер выбрался из бассейна, взял за руку Джерома и запросто, без напряжения вытащив его из воды, поставил рядом с собой на мраморную плитку.

— Ну-с, молодой человек, мне пора. Приятно было с вами пообщаться. Если у вас на досуге будет время, приходите искупаться еще.

— Передавайте привет чужой красивой женщине, — в свою очередь сказал Джером. Он прыгал на одной ноге, ковыряя в ухе пальцем, освобождая торчащий древесным грибом отросток от воды. — И жене теплый привет. Она у вас на тощую курицу похожа. Вы, наверное, ее объедаете!

— Вы и жену мою видели! — воскликнул Шаллер, поражаясь точностью сравнения.

— Пришлось как-то...

— Да! — вспомнил полковник, натягивая галифе. — Передайте господину Теплому, что господин Шаллер навестит его в конце недели.

— Всенепременно, — пообещал мальчик, выжимая купальный костюм себе на ноги.

Генрих Иванович посмотрел на тощие ягодицы Джерома, кивнул ему на прощанье и скрылся за кустами боярышника.

Гаврила Васильевич Теплый с утра до ночи расшифровывал летописи Елены Белецкой, покрывая чернильной вереницей одну страницу за другой. В его учительской душе не осталось более места светлым чувствам, он негодовал на то, что ему приходится за какие-то ничтожные сто рублей расходовать свой безмерный гений.

Славист почти не думал над смыслом расшифрованных страниц, все его существо захватила злоба, заставляющая деревенеть мышцы тела и работать со сбоями мочевой пузыря.

„Если я что-нибудь не предприиму, то сойду с ума, — думал Гаврила Васильевич, кладя очередной лист с расшифровками в пачку. — Как посмел этот ничтожный человек усомниться в подлинности моего открытия! Недаром говорят: „У кого сильно в мышцах, у того слабо в голове!“ Я бы с удовольствием разделал его тушу по всем правилам мясницкого искусства! Сначала бы шкуру снял, затем вырезал сердце и смотрел, как оно, бычье, трепыхается беззащитно в моих ладонях, плача кровью...”

Гаврила Васильевич опять испытал желание убить. На сей раз это чувство было непреодолимым, мутящим сознание, мешающим сосредоточиться на работе.

Славист отложил бумаги в сторону. „Пойду прогуляюсь”, — решил он, поднявшись со стула и пройдя в кухню. Там он зачем-то взял длинный изогнутый нож,

взрезал им подкладку пиджака и уложил тесак между двумя тканями, осторожно прижимая прощупывающуюся лезвие рукой. Затем учитель снял со стены веревку, на которой обычно сушилось его нижнее белье, сматал ее в клубок и засунул в карман брюк. Он коротко взглянул на часы с кукушкой, отметив, что время уже позднее, к двенадцати, и вышел на улицу.

Идти было некуда, а потому Гаврила Васильевич в странном забытьи остановился возле входа в интернат, укрывшись от фонаря в тени старой липы. Так, замерев, он простоял некоторое время, пока его глаза не различили в лунном свете фигуру подростка, спешно приближающегося.

„Джером!“ — подумал учитель, щупая сквозь подкладку лезвие ножа.

Когда подросток приблизился, славист резко шагнул из тени и лицом к лицу столкнулся с Супониным.

— Супонин? — удивился он.

— Господин Теплый! — Подросток от неожиданности икнул и вытаращил на учителя глаза.

— Так-так!.. — протянул Гаврила Васильевич. — Позвольте спросить вас, откуда вы прибываете в столь поздний час?

— Я... Да я, это... — замялся Супонин. — Понимаете ли...

— Не мямлите, Супонин! Я же понимаю, что вы старше своих соучеников на два года, а потому у вас желания, отличные от них. Вы почти уже взрослый человек. Будь другой на вашем месте, я просто дал бы ему линейкой по голове и лишил бы ужина!.. Вам уже исполнилось пятнадцать?

— В прошлом месяце... — ответил подросток, пока не понимая, минула его кара Господня или над головой все еще вознесен меч возмездия.

— Вы — взрослый человек, поэтому я разговариваю с вами по-другому. Расслабьтесь! Я не буду вас наказывать.

— Спасибо.

Гаврила Васильевич взял подростка под руку и неторопливо зашагал с территории интерната, увлекая в доверительной беседе Супонина за собой.

— Вы, наверное, думаете, что я старый и не понимаю интересов вашего возраста?

— Что вы! Вы совсем не старый!

— На самом деле вы так не считаете. Я вспоминаю время, когда мне было пятнадцать лет. Все старше двадцати пяти казались мне увядшими стариками, не способными понять моих страстей и желаний. В пятнадцать лет я в первый раз влюбился и так же, как вы, бегал по ночам на свидание к предмету своей страсти... Вы были на свидании?

— Ага, — ответил Супонин.

Гаврила Васильевич втянул в себя воздух.

— Какими духами вы пользуетесь?

— „Бешеный мул“, — ответил подросток, радуясь, что наказания не последует и что учитель Теплый оказался на поверку не таким уж и мерзким, каким слыл в интернате.

— Приятный запах. Наверное, вашей подруге он нравится. Как ее зовут, если не секрет?

— Анжелина.

— Как?! Неужели Анжелина?

— А что такое? — испугался Супонин.

— Не может быть! Такое совпадение! Да знаете ли вы, что, когда мне было пятнадцать лет, мою возлюбленную тоже звали Анжелиной!

— Здорово! — обрадовался подросток и вдруг внезапно ощутил, как под сердцем у него беспричинно засосало. Какая-то тоска вошла во все члены.

— Опишите мне ее, — попросил славист и оглянулся на здание интерната, оставшееся далеко позади и целиком закрытое густой зеленью. Он все крепче сжимал руку мальчика, не чувствуя, как из подмышек поливает потом. — Расскажите мне о ней скорее!

— Я не знаю, что и сказать, — растерялся Супонин.

- Сколько ей лет?
- Наверное, семнадцать.
- Она красива?
- Вроде ничего...
- А где вы познакомились?
- В кондитерской.
- Вы первый с ней заговорили или она с вами?
- Кажется, я.
- И что потом?
- Мы гуляли с нею, зашли на карусель.
- Вы угощали ее мороженым?
- Нет. Мы ели воздушную кукурузу.
- И что потом?
- Потом наступил вечер...
- И вы, конечно же, целовались... Не стесняйтесь, Супонин! Это вещи естественные, о них не стыдно говорить.
- Да, мы целовались. И я совсем не стыжусь этого. И еще мы занимались самым интересным...
- Чем же?
- Мы занимались любовью на берегу реки.
- Вот как! — Пальцы Теплого потрогали лезвие ножа. — Как интересно!.. Она была вашей первой женщиной?
- Нет.
- Сколько же было до нее?
- Кажется, четыре... Или пять...
- У вас уже есть опыт. Они все были девственницы?
- Все, кроме одной — первой.
- Она, наверное, была много старше?
- Ей было сорок три.
- А вам?
- Тринадцать.
- Вероятно, она была хорошей учительницей... — Указательный палец Теплого слишком сильно уперся в лезвие тесака, подкладка рассеклась, и сталь порезала

подушечку возле ногтя. Гаврила Васильевич вскрикнул, выдернул руку из-под пиджака и засунул палец в рот.

— Что с вами? — спросил Супонин.

— Нет-нет, ничего!.. Напоролся на булавку!.. Продолжайте!

— А что говорить?

— Скажите, в каком случае вы больше испытывали возбуждение: когда ласкали опытную женщину или невинную девушку? — Теплый отсасывал из пальца кровь и от ее сладкого вкуса чувствовал, как по телу растекается блаженное тепло, а сердце стучит уверенно и гулко.

— Не знаю. Мне кажется, что это разные ощущения...

— Конечно, разные, — подтвердил Гаврила Васильевич. — Невинность манит, а зрелость расслабляет. Зрелость — бесстыдна, тем и привлекает, а сжатые от страха ножки, коленками стерегущие лоно, руки, старающиеся защитить ладошками наготу, губы, то ласковые и страстные, то каменные от страха, — все это ужасно воспаляет тело! Ничто не приносит такого удовлетворения, как совладать с чужой слабостью и страхом! Победа над сильным есть радость избегнувшего смерти! Вы понимаете меня?

— Не совсем, — ответил Супонин. Он чувствовал, как правая рука учителя все крепче сжимает его талию. — А куда мы идем?

Гаврила Васильевич, казалось, не слышал вопроса и продолжал развивать тему:

— Как это ни парадоксально звучит, в слабом гораздо больше жизненных сил, чем в сильном. Сильный затрачивает слишком много усилий на то, чтобы быть сильным, а слабый духом и телом с бесконечными жалобами на свою маломощность зачастую живет гораздо дольше, чем могучий организм. Поэтому победа над слабым дает возможность продлить собственную жизнь. Животные никогда не питаются равными себе

по силе! Инстинкт движет ими, дабы черпать силы от слабого! Поэтому в Спарте убивали калек и слабых, чтобы не видеть, как хромые и увечные переживают мужественных и сильных!

— Уже поздно, — неожиданно заныл Супонин. Ему стало больно от впившихся спицами в бок пальцев учителя. — Я хотел бы отправиться в свою спальню. Уже совсем ночь, и я не понимаю, куда мы идем!

— Ты боишься? — Теплый наклонился, заглядывая в глаза подростка. — Скажи, тебе страшно?

— Я не знаю... Мне непонятно то, что вы говорите... Вы больно сжимаете мой бок, и я не знаю, куда мы идем!..

— Хорошо! Дальше мы не пойдем. Мы остановимся здесь. В этом месте нас никто не увидит!

Гаврила Васильевич отпустил мальчика, посмотрел на луну и грустно вздохнул.

— Сейчас ты ощутишь себя слабым и беззащитным, как те девочки, которых ты любил. Ты испытываешь страх и ужас! — Глаза Теплого сверкнули лунным светом, он распахнул полу пиджака и вытащил из-под подкладки нож.

— Зачем вам нож?! — вскрикнул Супонин и заикался быстро и громко.

— Ну вот ты и боишься! Твое сердце стучит быстро-быстро, ноги подгибаются и руки дрожат. Ты ослабел. — Гаврила Васильевич стал медленно приближаться, сжимая в руке нож. — Сейчас я тебя убью.

— За что? — спросил Супонин, с ужасом глядя на приближающегося учителя.

— Я уже тебе все объяснил. Разве ты не понял?

— Нет.

— Ничего не поделаешь! — посетовал Теплый. — Уже нет времени объяснять тебе все заново.

— Пожалейте меня! — Супонин заплакал. — Я не хочу умирать.

— Никто не хочет умирать, — сказал Гаврила Васи-

льевич и, коротко взмахнув ножом, перерезал подростку горло.

Супонин упал в пожухлую траву. С минуту он еще шевелил ногами и удивлялся кровавым пузырям, прущим из рассеченного горла. Через две минуты его юная душа, оторвавшись от всего земного, воспарила над телом, мельком огляделась и устремилась в бесконечные просторы, пытаясь изведать пути Господни.

Грянул гром, и, несмотря на поздний час, в ночном небе запылало огнем и закружило звезды в ошеломительной выси огненными струями Лазорихиево небо.

— Лазорихиево небо-о-о! — закричал Теплый. — Лазорихиево не-е-бо!..

Через час Гаврила Васильевич Теплый сидел в своей интернатской квартирке и неумоимо, одну страницу за другой, расшифровывал творение Елены Белецкой.

„В начале четвертого года чанчжойского летосчисления в город со стороны юго-запада въехал ослик, не утомимо тащивший за собой повозку с поклажей и ее хозяйкой, — читал Шаллер присланное Теплым продолжение чанчжойских летописей. — Хозяйка являла собой молодую женщину в черных пыльных одеждах, с огромной печалью на лице и тоской, изогнувшей спину. Она сидела на чемодане с потрескавшейся от солнца кожей и без интереса разглядывала проплывающие мимо городские окрестности. Во взгляде женщины притаилась какая-то пустота и обреченность, которую можно было списать на то, что приезжая была беременна и живот ее находился на крайних сроках наполнения.

Подъехав к главной городской площади, молодая женщина неожиданно потеряла сознание, а умный ослик, почувствовав это, остановился посреди мостовой и заорал во все горло.

„Иа-а! — кричал он, призывая на помощь. — Иа-а!”

На крики животного из окон высунулись любопытные физиономии, а особо любознательные даже вышли наружу и скоро определили, что произошло неладное. Послали за доктором Струве. Со своим неизменным саквояжем медик явился быстро и определил у приезжей родовые схватки. Женщину доставили в дом доктора Струве, где он раздел ее, обмыл тело водой и обмазал чресла йодом. Весь подготовительный этап роженица находилась в глубочайшем обмороке, не реагируя даже на пары нашатыря. Лишь инстинкт заставлял напря-

гаться ее бедра, а ступни ног уперлись в стену, стараясь сдвинуть ее с места.

— Ах, какой будет чудесный ребенок! — приговаривал доктор Струве, оглядывая огромный живот. — Богатырь готовится явиться на свет!

На помощь доктору пришла мадмуазель Бибигон, имеющая достаточный опыт в таких делах, сама познавшая всю нелегкость воспроизводства новой жизни. Она вскипятила воду, а затем долго что-то шептала на ухо роженице, стараясь привести ее в чувство. Наконец веки будущей матери дрогнули, она открыла глаза и огляделась.

— Где я? — спросила приезжая красивым, но очень печальным голосом.

— Все в порядке, милая! — сказала мадмуазель Бибигон, утирая своей пухлой ладошкой пот со лба роженицы. — Ты в надежных руках! Все произойдет наилучшим образом!

— Уж будьте покойны! — подтвердил доктор Струве. — Как вас зовут?

— Протуберана.

— Как, простите?

— Протуберана, — повторила роженица и вздрогнула от боли.

— Тужьтесь, милая, тужьтесь! — подбадривала мадмуазель Бибигон.

— Откуда вы родом? — поинтересовался доктор, натягивая перчатки.

— Ничего не помню! Не помню!..

— Такое бывает. Вот родите богатыря — и все вспомните.

Тело женщины дернулось в схватках, она засучила ногами по простыням, закатила глаза, и в ту же секунду отошли воды. Запахло осенним дождем.

— Началось! — проговорил доктор Струве и приблизил свое лицо к лону роженицы. — Держите ей ноги!

Мамуазель Бибигон, однако, не подчинилась приказанию, а, находясь в изголовье, все поглаживала щеки

будущей матери своими пухлыми пальчиками и приговаривала:

— Он сейчас появится на свет, первый раз вздохнет и начнет расти — сильным и смелым. Он будет твоей гордостью! Твой сын!

— Держите ей ноги! — повторил доктор Струве.

— Незачем! — резко ответила мадмуазель Бибигон. — Природа сама разберется, без чужого вмешательства!

Доктор поглядел на часы и покачал головой.

— Пора бы ребенку и появиться, — сказал он, стараясь заглянуть в самое нутро живота.

— Сейчас, сейчас.

Между тем тело роженицы сокращалось, как будто через нее пропускали ток. Губы ее высохли и стали похожи на печеную картошку, только что выбранную из золы. Сосуды в глазах полопались, а из набухших грудей от напряжения сочилось молоко, стекая к животу.

— Не хочет выходить! — констатировал доктор Струве. — Вполне вероятно неправильное положение плода! — И он осторожно ввел правую руку в лоно. — Ничего не понимаю!

— Что такое? — заволновалась мадмуазель Бибигон.

— Никак не могу нащупать плод!

— Может быть, послед мешает?

— Странное дело, моя рука глубоко в матке, а плода нет!

— Не говорите глупостей!

— Да так и есть. Хотя постойте!..

— Ну?!

— Что-то нащупал, ужасно холодное!

Доктор Струве почти выдернул руку и посмотрел на нее, посиневшую, всю в инае.

— Господи! Что это?!

Тело роженицы еще раз вывернуло, она закричала и закусила до крови губы.

— Рожает! — громко сказала мадмуазель Бибигон и взяла в руки чистую пеленку.

В этот миг живот приезжей вздыбилось, она вцепилась руками в матрас, опять закричала, и плод пошел.

То, что появилось из ее лона, привело в оцепенение как доктора Струве, так и мадмуазель Бибигон, которая только и сделала, что всплеснула руками и оттопырила нижнюю губу.

Незнакомка в нечеловеческих муках родила небольшой вихрь, который завис посреди комнаты, втягивая в свою воронку мелкие предметы. Вихрь постепенно двигался к стене, кружа своим нутром пинцет и сумочку мадмуазель Бибигон. Затем воздушная воронка приблизилась к лицу роженицы, перебрала ее слипшиеся волосы, прошла по грудям, втягивая в себя молочные струи, а затем резко метнулась к окну, с жутким грохотом выбила оконные рамы и устремилась в поднебесье.

— Где мой ребенок? — спросила Протуберана, слегка отдышавшись.

Доктор Струве и мадмуазель Бибигон переглянулись.

— У вас была, э-э, ложная беременность, — соврал доктор. — Но теперь все кончилось, и вы скоро придете в себя. Так, знаете ли, бывает..

— Не расстраивайтесь, милая! — поддержала доктора мадмуазель Бибигон. — Всяко в жизни бывает...

На следующее утро жители Чанчжоз проснулись и обнаружили в природе некоторые изменения.

В городе появился ветер. Легкий, он трепыхал листву деревьев, сдувал с фасадов домов пыль, теребил волосы прохожих и рождал на городских прудах мелкую рябь.

— Она родила ветер, — прошептал доктор Струве, разглядывая в восстановленное окно качающиеся верхушки деревьев. — Теперь у нас есть ветер!

„А что такое ветер? — размышлял про себя г-н Контата. — Ветер — это поля пшеницы, которая с помощью его будет опыляться. Ветер — это мельницы, перемалывающие зерно в муку. Значит, у нас появится свой хлеб!.. — Г-н Контата сидел в кресле возле своего дома,

с удовольствием подставляя лицо свежим порывам молодого ветерка. — А мы прогнали мельника Иванова! Эка недалёковидность! А ведь он обещал подсоединить к ветряку динамо-машину и обеспечить город электричеством!.. Следует выписать с большой земли другого мельника!" — решил г-н Контата и, успокоенный найденным решением, задремал на солнышке.

Генрих Иванович читал новую порцию страниц, расшифрованную учителем Теплым и присланную им с оказией. Он уже закончил знакомиться с рождением в Чанчжоэ ветра, как услышал треньканье телефона.

Звонил доктор Струве. Он поинтересовался здоровьем Елены Белецкой, но что-то было в его голосе странное и поспешное, из-за чего Шаллер понял, что цель звонка эскулапа совсем другая, а вопросы о здоровье жены лишь обычная дань вежливости.

— Что-нибудь случилось? — спросил полковник.

— Не буду от вас скрывать! — затараторил доктор. — Произошло нечто ужасное! Прямо в голове не укладывается! Просто ужас какой-то!

— Так что же случилось?

— В городе прошлой ночью произошло убийство! Представляете, я только что оттуда!

— Откуда?

— С места происшествия. Убит пятнадцатилетний подросток! И знаете, что самое ужасное в этом деле?

— Что же?

— Из тела подростка вырезаны сердце и печень! По всей видимости, мы имеем дело с маньяком! Со страшным маньяком! Вся общественность возмущена! Последуют газетные публикации!.. Шериф обещал бросить все силы на поиски убийцы, и наш долг помочь ему в этом!

— Где было совершено убийство? — спросил Генрих Иванович и вдруг вспомнил, что вчера перед сном, закрывая окно от сквозняка, различил в ночном небе редкостное сияние, которое звал про себя Лазорихиевым небом.

— Неподалеку от Интерната для детей-сирот имени Графа Оплаксона, погибшего в боях за собственную совесть. Там много густого кустарника... Лицо подростка обезображено до неузнаваемости! Но я полагаю, что это дело не рук убийцы, а рук... Господи, что я говорю! По моему мнению, это куры постарались. Они выклевали мальчику глаза и объели все мясо со щек и подбородка! Надо что-то делать с дикими курами! Нужно принять какое-то решение и всем городом бороться с ними!

— Сначала нужно поймать преступника!

— Да-да, конечно, — согласился доктор. — Самое поразительное, что внутренние органы вырезаны из тела мальчика самым профессиональным образом!

— Значит, нужно искать убийцу среди медиков и патологоанатомов.

— Вы ведь знаете, что я единственный доктор в городе! Я и патологоанатом!

— А приезжие?

— Это не исключено. Я поделюсь с шерифом вашими соображениями!.. Мне еще нужно писать заключение о вскрытии, так что, дорогой Генрих Иванович, я прощаюсь и обещаю информировать вас о ходе следствия.

— Буду вам весьма признателен, — поблагодарил полковник, повесил трубку на рычаг и придвинул к себе листы с расшифровками...

„...В последующие десять лет, — прочитал Шаллер, — в город прибыли следующие жители: Андриано Питаев со своей семьей, семейство Грыжиных, потомственных сапожников, Клюевы, Лупилины, физик Гоголь с собачкой по кличке Брызга, военный Бибилов, Степлеры, Гадаевы, Миттераны, господа Миловы, чета Коти...“

Генрих Иванович перелистнул страницу. Далее также шел список приезжих:

„Ягудин, Преславлин, Слухов, Чикин, Концович...“

Шаллер перевернул еще страницу, но вереница имен и фамилий не кончалась. То же самое продолжилось и на тридцати других страницах. Лишь на последней, в самом ее конце, начинался другой перечень.

„В последующие десять лет в городе родились: Елизавета Мирова, близнецы Сухомлинские, Евстахий Бутаков, Иван Иванов, Елена Гоголь, Пласидо Фальконе, Андрей Степлер...“

Генрих Иванович внимательно вчитывался в список рожденных, разместившийся на пятидесяти трех страницах. Он не упускал ни одного имени и фамилии, произнося их вслух четко и раздельно, как будто ему необходимо было заучить все наизусть.

— Где же моя фамилия? — произнес полковник, когда перечень закончился. — Где же мое имя?

Он отложил прочитанное в сторону, зашагал взад-вперед по комнате, удрученный и расстроенный, судорожно размышляя; то и дело он выглядывал в окно и рассматривал сквозь опадающую листву силуэт жены, склоненный над пишущей машинкой.

— Чертовщина какая-то! — произнес Генрих Иванович вслух. — Мне сорок шесть лет! Я тоже живу в этом городе! Тогда почему моего имени нет в списках прибывших или рожденных?! Господи, абсурд какой-то!

Шаллер с силой ударил кулаком по столу, так что опрокинулась чашка с недопитым чаем, вывалив горку размоченных чайнок на пачку листов.

— Да в этой писанине ничего не сходится! Здесь все вкривь и вкось! Все расплзается по швам! — Полковник смахнул разбухшие чайники прямо на пол. — Это мистификация! Ни одна дата не сходится с официальной! Почти все дети рождены гораздо раньше положенного срока, и чрево, из которого они вышли, принадлежит какой-то плодовой, мистической мадмуазель Бибигон! За исключением ветра, который родила неизвестная Протуберана!

Мысли Генриха Ивановича были прерваны появившейся в окне головой Джерома, который скалился во весь рот, показывая зубы и свое хорошее расположение.

— Эй! К тебе можно? — спросил мальчик, забрасывая ногу на подоконник. — Я не помешал тебе?

— Помешал, — ответил Шаллер, раздосадованный

тем, что, вероятно, подросток слышал те мысли, которые он в волнении высказывал вслух.

— Экий ты неприветливый! Ну, раз уж я пришел, то зайду. Не уходить же мне обратно!

Джером ловко закинул на подоконник вторую ногу и через мгновение уже был в комнате. Он неторопливо огляделся, как будто ему предстояло прожить здесь всю жизнь, даже подпрыгнул несколько раз на одном месте, словно проверяя, не прогнили ли доски пола и не пора ли их перестилать.

— Знаешь новость? — спросил мальчик, удостоверившись, что пол не провалится, по крайней мере сегодня.

— Какую?

— Помнишь, я рассказывал тебе про своего соседа, Супонина?

— Не помню.

— Ну, который старше меня на два года и которому тоже нравилось проделывать с женщинами то же, что и тебе.

— Ах да, что-то припоминаю.

— Так вот, его вчера убили, — с каким-то удовлетворением произнес Джером. — Представляешь, вырезали сердце и печень!

— Значит, это был твой сосед?

— Так ты уже знаешь... — разочарованно протянул Джером.

— Да, мне звонил доктор Струве.

— Жаль! Мне хотелось донести до тебя эту новость первым.

— Почему? — удивился Генрих Иванович.

— Потому что я люблю приносить новости. И плохие, и хорошие.

— Странное удовольствие.

— Не думаю, что в этом вопросе я исключение. Ведь тебе уже позвонил доктор Струве. Ему совсем не обязательно было тебе звонить. Ты же не следователь. Просто человек любит приносить новости первым. Ему нравит-

ся потрясти, послушать в ответ: „Да что вы! не может быть! как это произошло?..“

Шаллер не мог отказать мальчику в наблюдательности и вследствие этого не нашелся, что ответить, а потому лишь улыбнулся и предложил Джерому чаю.

— К сожалению, ничем не могу тебя угостить. Есть только варенье и хлеб. Зато варенья много. Грушевое, яблочное, вишневое, клубничное... Какое хочешь?

— Всего понемногу попробую, — скромно ответил Джером и уселся за стол.

Генрих Иванович запалил самовар, вставил трубу в печное отверстие и, пока тот гудел, разогревая воду, выставлял на стол банки с вареньем.

— Как ты думаешь, — спросил мальчик, — если Супонина убили, а он был моим соседом по комнате, могу я его вещи забрать себе? Как бы в наследство?

Шаллер перенес самовар, густо пахнувший сосновыми шишками, на стол, закрыл трубное отверстие медной крышкой, чтобы не коптил, и заварил в китайском чайничке чай.

— А у него больше никого нет? — спросил полковник.

— Кого? — не понял Джером.

— Разве у Супонина нет родственников?

— Мы все — сироты. А я с Супониным прожил в одной комнате три года. Я его родственник. Даром, что ли, нюхал испорченный воздух! У него с желудком было не в порядке, — пояснил Джером. — Так что, могу?

— А велико ли наследство?

— По тебе, может, и ничтожно, а по мне — велико.

Мальчик запустил ложку в банку с вишневым вареньем, потом отправил ее в жадный рот, при этом чавкая и цокая, как бы стараясь лучше распробовать, затем повторил ту же самую процедуру с остальными банками и запил проглоченное глотком душистого чая.

— Хорош-ш-шее варенье! — сладко проговорил Джером, закатывая глаза. — И чаек неплохой.

— Угощайся, угощайся! — подбодрил полковник.

— Я угощаюсь, угощаюсь... Знаешь, сегодня утром встретил учителя Теплового, — сказал мальчик, глубоко зачерпывая из банки с клубничным. — Ты его знаешь... Так вот, от него пахло духами. „Бешеный мул“ называются.

— И что же?

— Да ничего особенного. Просто этими духами пользовался мой сосед, родственничек Супонин. Они мне так осточертели, что я их за версту чую. Не „Бешеный мул“, а бычья моча! Едкие-едкие! Раз помажешься — неделю воняешь!

Неожиданно в голове Шаллера все сложилось. Несколько картинок мгновением пронесли перед глазами: убогая комнатенка Теплового, стеллажи с атласами по судебной медицине, сам славист с пристрастным взглядом, рассказы Джерома — все вдруг всплыло воздушным пузырем в мозгу Шаллера.

— Я знаю, кто убил Супонина, — произнес полковник тихо и так же тихо опустился на стул.

— Не может быть! — деланно воскликнул мальчик, облизывая ложку. — Ты великий Пинкертон! Кто же этот злобный маньяк?! Поделись своими выводами, ты же друг мне!

— Подожди, подожди! — ответил Генрих Иванович, пораженный открытием. — Тебе незачем это знать!.. Как-нибудь потом...

— Кто-нибудь из приезжих?

— Возможно, — механически ответил Шаллер, не замечая пары хитрых глаз, уставившихся на него, и этих вздернувшихся в ехидстве уголков губ, еще липких от варенья. — Тебе пора идти.

— Гонишь?

— Мне нужно еще поработать.

— А над чем ты трудишься?

— Слушай, — разозлился полковник. — Сначала ты приходишь незванным гостем, а теперь не хочешь уходить! Выкинуть тебя в окно?

— Ты обещал меня не бить.

— О Господи!..

— Ну ладно, ухожу...

Джером поднялся со стула, погладил свой вздувшийся живот, гулко рыгнул, а затем зевнул протяжно и со слезой.

— Скучновато с тобой.

— Что поделаешь, — развел руками Шаллер.

— Ну, я пошел...

— Давай.

— Пока.

— Счастливо.

Джером уселся на подоконник и крутанул ногами в сторону сада. Он было уже собрался прыгнуть, как вдруг обернулся и сказал:

— Куры обожрали все лицо Супонину!

— И это знаю, — ответил Генрих Иванович.

— И отклевали то место, которым писают! — добавил мальчик и, прыгнув в заросли лопухов, скрылся из виду.

Генрих Иванович остался один и лихорадочно думал, что ему делать. Он был уверен, что зверское убийство, совершенное накануне, дело рук Гаврилы Васильевича Теплого, а не кого-то заезжего, и самое главное доказательство тому — факт с духами, невзначай подсказанный Джеромом.

„Но как же так, — думал Шаллер. — Неужели Лазорихинево небо может зажигаться и злодею, поддерживая его своим сиянием?! Ведь недаром же при первой встрече Теплый намекнул ему, что небеса горят не только для добрых полковников! С ним нужно покончить, — решил Генрих Иванович. — Его прилюдно казнят на площади!”

Шаллер подошел к металлическому рожку, висящему на телефонном ящике, как вдруг вздрогнул, словно вспомнил что-то очень важное.

„А как же расшифровка бумаг?!”

Рука замерла в воздухе, так и не дотянувшись до телефонной трубки.

„Если его арестуют, я никогда не узнаю, почему моего

имени нет в летописи города! И вообще я ничего не узнаю!..”

Лоб Генриха Ивановича покрылся испариной. Он все еще держал руку вытянутой, но уже понимал с ужасом, что не позвонит шерифу, по крайней мере сейчас.

„Надо успокоиться, — решил Шаллер. — Взять себя в руки!”

Полковник дернулся, опустил руку к бедру и пошевелил пальцами, разминая, словно они затекли. Затем посмотрел на двухпудовые гири, стоящие в углу, и было подался к ним, но вмиг передумал, развернулся и быстрыми шагами вышел из дома... Он почти добежал до китайского бассейна, скинул с себя одежду и, мощно оттолкнувшись ногами, нырнул в пузырящуюся воду. Генрих Иванович коснулся дна грудью, даже слегка поцарапался о какой-то камушек, затем так же мощно оттолкнулся от дна и вылетел на поверхность, захватывая ртом воздух.

— Бред какой-то! — сказал он вслух и, доплыв до бортика, замер.

„Духи „Бешеный мул“ продаются в любом корейском магазинчике и стоят двугривенный!.. Если человек интересуется судебной медициной, это еще не значит, что он убийца!.. Разве может этот тщедушный человечешка, в котором душа держится чудом, таким жесточайшим образом резать подростка, чьим учителем он был?.. Не может!” — сделал вывод Генрих Иванович и почти поверил себе.

Он успокоился и даже немного поплавал в удовольствие, решив непременно завтра же провести слависта, отдать ему положенную сотенную и еще раз заглянуть в самую душу своими пронизательными глазами.

„Конечно же нет, — сказал себе Генрих Иванович. — Лазорихиево небо зажигается только для добрых полковников!..”

Гаврила Васильевич Теплый решил купить себе новый костюм. Нужно признаться, что это решение было вынужденным, так как старые пиджак и брюки окончательно износились и вдобавок были безнадежно забрызганы кровью Супонина.

Отправившись в корейский квартал за обновой, славист всю дорогу ковырялся в памяти, восстанавливая до мелочей события минувшей ночи. Каждая деталька, каждая мелочишка, вспомненная им, доставляла сладчайшее чувство удовлетворения проделанным, и от этого учительский шаг становился шире и уверенно чеканил стоптанными каблуками по булыжной мостовой.

Уже входя в границы корейского квартала, Гаврила Васильевич разорился на еженедельник „Курьер“ и прямо-таки зачитался броским заголовком на первой полосе: „Зверское убийство сироты под сенью опадающих каштанов!“

„Ничего не скажешь, — подумал Теплый. — Красивое название. Только в нашем городе каштаны не растут...“

Гаврила Васильевич замедлил шаг и вскоре окончательно остановился, прислонившись к углу какого-то дома, спеша прочесть статью.

„...Подросток лежал абсолютно голый под сенью каштанов, сквозь листья которых лился холодный, лунный свет на его вскрытую грудную клетку с выре-

занным сердцем, — читал Теплый. — Что же чувствовал юноша в свой последний час, когда безжалостная рука убийцы вознесла над ним остро отточенное лезвие ножа?“

— Ужас, — ответил вслух Гаврила Васильевич. — Ужас.

— И не говорите! — неожиданно услышал учитель из-за своего плеча. — Жуткое убийство! Прямо-таки зверское!

Он обернулся и увидел за своей спиной физика Го голя, смотрящего сквозь толстые очки на газетный лист.

— Беспрецедентное убийство!

— Да-да, — буркнул Теплый и, оторвавшись от стены, быстро зашел за угол дома. Там он сел за столик возле китайской чайной и подозвал корейца-официанта.

— Маленький чайник с жасмином.

— Плосу минуту сдать, — поклонился официант и исчез в потемках чайной.

В ожидании чая Гаврила Васильевич продолжил чтение статьи:

„...Перевернув труп на живот, доктор Струве также обнаружил глубокий разрез в поясничной области, констатируя отсутствие у тела печени...“

Славист механически сунул руку в сахарницу, выудил оттуда кусок и принялся его грызть.

„...По первым признакам доктор Струве определил, что подросток не был подвергнут сексуальному насилию, так как половые органы и анальное отверстие убиенного не несли на себе каких-нибудь видимых повреждений“.

Сахарная крошка попала на обнаженный нерв гнилого зуба, и славист вздрогнул от боли. В эту же секунду появился улыбающийся официант. Поставив перед клиентом чайник, он ловко налил жасминовый напиток в чашку, пуская струю аж с полуметровой вы-

соты, и сказал спасибо. Гаврила Васильевич отпил из тонкого фарфора и пополоскал больной зуб. Боль отошла.

Славист вспомнил темно-багровый цвет печени Супонина, металлический блеск ее оболочки в лунном свете и почувствовал, как по телу, от паха к плечам, поползли приятные мурашки. Мелкие и быстрые, они достигли ноздрей слависта, и Гаврила Васильевич чихнул с брызгами.

— Будьте сдоловы! — сказал услужливый официант.

— Благодарю, — ответил Теплый и зачитался статьей дальше.

„...Следствие возглавил шериф Иван Фредович Лапа, который поклялся, что сделает все возможное, чтобы отыскать убийцу в кратчайшие сроки. Также г-н Лапа заявил, что уже сложилась версия, по которой убийца — приезжий и, вероятно, имеет отношение к медицине. В свою очередь на заседании городского совета губернатор Контата назначил премию в сто тысяч рублей тому, кто даст информацию, помогающую изобличить преступника. Церковь в лице Его Святейшества Митрополита Ловохишвили благословила шерифа Лапу на следствие и выразила уверенность, что силы Добра в конечном итоге победят силы Зла“.

Гаврила Васильевич закончил чтение статьи и откинулся на спинку стула.

„Сколько же было здоровья в этом мальчишке, — подумал он. — Его вырезанное сердце стучало во внутреннем кармане пиджака всю обратную дорогу. Вот интересное ощущение — как будто у тебя два сердца!“

Однако надо покупать костюм.

В корейской лавке он долго ходил вдоль вешалок с костюмами, разглядывая скорее бирки с ценами, нежели качество ткани. Цифры на ценниках ранили его в самое сердце, а оттого все удовольствие от прочитанной статьи улетучилось, уступив место жабе, сидящей на кадыке и мешающей сглатывать.

Промучившись таким образом с полчаса, Гаврила Васильевич нашел наконец то, что искал. В дальнем углу лавки висел с виду приличный черный костюм с приемлемой, по мнению слависта, ценой, втрое меньшей, чем за другие пары. К костюму также прилагалась белая рубашка и черные лакированные ботинки, что тоже устраивало учителя.

— Беру, — сказал Теплый хозяину и вытащил деньги, тщательно разглаживая купюры.

Хозяин тотчас сделал скорбную физиономию, и Гавриле Васильевичу даже показалось, что на глаза корейца навернулись слезы.

— Искление сочувствую васему голю! — тонким голосом произнес хозяин.

— Какому горю? — не понял Теплый.

— Похолоны — всегда голе.

— Какие похороны? — удивился Гаврила Васильевич.

— Да как же, вы же костюм для покойнилька покупаете, — пояснил кореец.

„Ах вот оно что, — понял славист. — Вот почему цена столь невелика“.

— А чем же этот костюм от обычных отличается?

— Да в обсем нисем. Нитоська похузе, ботиноськи на клею, лубасеська плохо стилается... В обсем, длянь костюмзик!

— Скидку дадите?

— Лублик.

— Три.

— Два, — торговался хозяин.

— Да побойтесь Бога! Сами говорите, что костюм дрянй! Так дайте приличную скидку!

— Это для зывых длянь, а для мелтвых обнова холоса!.. Два лублика и гливеннисек!

— Ладно, — согласился Теплый, отсчитывая деньги. — Только дайте к костюму пуговицы запасные.

— Гливеннисек.

— Да как же гривенничек! — озлился славист. — Вы обязаны давать к костюму запасные пуговицы.

— Не объясан, не объясан! Мелтвес аккулатно носит костюмзик, мелтвесу запасные пуговисы не нузны!

— Заворачивайте! — распорядился Теплый и отдал хозяину деньги.

Уже идя обратно и тиская в руках сверток с обновой, Гаврила Васильевич поминал добрым словом купца Ягудина, при котором корейцы имели хоть какое-то уважение к аборигенам, опасаясь погромов.

„Скоты, — подумал про корейцев учитель. — Форменные скоты!”

Придя домой, Гаврила Васильевич примерил костюм. Пара смотрелась неплохо. Хотя брюки были чуть велики, зато пиджак сидел как влитой, а верхняя пуговка рубашки не давила на кадык, как это обычно бывает.

Свой старый костюм Теплый связал в узел, засунул в печь и, обильно полив керосином, поджег...

Гаврила Васильевич снял с гвоздя сковороду, поставил ее на печную конфорку и, когда она разогрелась, плеснул на чугунное дно подсолнечного масла. Закипая, масло распространило по кухоньке семечковый запах. Славист пошевелил ноздрями, втягивая его — приторно-сладковатый, затем выудил из большой кастрюли завернутое в тряпочку сердце и, порезав его на мелкие кусочки, бросил на сковороду.

— Пусть моя жизнь продлится на жизнь убиенного, — тихо произнес Теплый.

В дверь постучали.

Гаврила Васильевич вздрогнул, выругался про себя, сдвинул сковороду с огня и пошел открывать. На пороге, облаченный в чистую рясу, стоял отец Гаврон.

— Здравствуйте, — как-то робко проговорил монах. — Могу ли я войти?

— Войдите, — удивленно ответил Теплый.

Монах вошел в комнату и, не оглядываясь по сто-

ронам, остановился посередине, опустив голову, словно смотрел на свой крест, металлом лежащий на груди.

— Прошу прощения за беспокойство, но меня к вам привела не праздность, а дело.

— Я вас слушаю, — сказал Гаврила Васильевич и спохватился: — Да вы садитесь! — подвинул гостю табурет.

— Благодарю.

Отец Гаврон сел, расправил на коленях рясу и понюхал воздух.

— Мясным пахнет.

— Да вот, обедать собрался.

— Однако постный день сегодня.

— Запомню.

— Грех!

— Грех, — согласился учитель.

Отец Гаврон уложил свои большие руки на колени и посмотрел Гавриле Васильевичу в глаза.

— Я вот зачем к вам, — начал он. — Вы занимаетесь делом, угодным Богу. Вы воспитываете в детских сердцах понятия о нравственности и начинаете их добром, а также знаниями, данными Господом. Что поселилось в детском сердце, то и останется в нем до последнего причастия... Правильно ли я говорю?

— Правильно, — поддержал Теплый.

— Так вот, есть у вас ученик, Джеромом зовут.

— Есть такой, — подтвердил славист.

— Столкнула меня с ним мирская суета, и заметил я в мальчике жестокость необычную.

— В чем это выразилось?

— Мальчик убивает кур.

— Кур?!

— Он считает, что куры заклевали его отца, капитана Ренатова, а потому мстит, безжалостно сворачивая им головы. И дело не в том, что мальчик заблуждается, относясь к Ренатову, как к отцу (Ренатов вовсе

ему не отец), а в том, что он убивает. Сегодня он лишает жизни птицу, а завтра... Согласны вы со мною?

— Конечно.

— Наша с вами задача сейчас не упустить детскую душу, а направить ее совместными усилиями на путь истинный.

— Спасибо, отец, за своевременный сигнал. Трудно уследить за всеми сразу. Есть и в моем деле упущения.

— Вот все, что хотел вам сказать...

Отец Гаврон встал с табурета.

— Прощайте, — поклонился он.

— До свидания.

Когда монах ушел, Гаврила Васильевич вернулся на кухню и, передвинув сковороду обратно на огонь, подумал: „Ишь ты, кур убивает!.. Вот странность какая!..“

Еще Теплый с удовольствием подумал, что сегодня, после обеда, ему будет особенно хорошо работать над расшифровкой рукописи Елены Белецкой — все-таки любая обнова создает приподнятое настроение.

,

Хотя после изуверского убийства подростка-сироты город охватила волна протеста и ужаса, эта волна скорее была показушной, нежели истинным накатом народного страха. У народа своя логика: если существует город, то в нем должно найтись место всем — и святому, и маньяку. Святых в Чанчжоэ за все времена было предостаточно, а вот маньяк завелся в городе впервые. В необъятной душе народа теплилась невысказанная надежда, что убийство сие не последнее и что если маньяк настоящий и решится на серию ужасных кровопролитий, то Чанчжоэ встанет в один ряд с известными городами Европы, родившими Джеков-Потрошителей и всякую прочую нечисть.

Впрочем, сегодняшним днем народ более всего волновала не смерть подростка, а полет на воздушном шаре всеобщего любимца, ученого и общественного деятеля, физика Гоголя.

После падения с Башни Счастья купца Ягудина все человечество Чанчжоэ ожидало от Гоголя выполнения обещанного — то есть выстроить для всех воздушный шар и улететь на нем к всеобщему счастью. Наконец этот светлый день настал.

Вернее, это было свежее утро с ласковым ветерком, трепыхающим шевелюры горожан, собравшихся в полном составе на главной городской площади.

Уже установлен был шар и зажжена горелка. На возведенной трибуне, в зеленом смокинге, слегка бледный, стоял сам герой дня, физик Гоголь. Почти все отметили

в выражении его лица трогательную печаль и неподдельный налет героизма.

Предстояло выслушать вступительную речь.

— Сограждане! — начал Гоголь. — Соотечественники!

В толпе притихли...

Несмотря на полное понимание городскими властями всей абсурдности происходящего, губернатор города Контата, стоящий здесь же на трибуне, вдруг ощутил прилив патриотизма к своим грудям, а оттого сложил ладони вместе и потряс ими в сторону физика, показывая ему тем полную свою поддержку.

— Соотечественники! — продолжил Гоголь. — Настал день, которого мы так все ждали! Он действительно настал. То, что вы видите за моей спиной, не просто воздушный шар, а Шар Счастья!

Стоящий слегка в стороне Генрих Иванович Шаллер разглядывал сооружение, наполняющееся теплым воздухом, и не будь он передовым человеком, не считай себя образованным по-европейски, вероятно, его естество поверило бы, что на такой штуковине можно улететь к неведомому. Воздушный шар, его конструкция действительно внушала трепет и вызывала из недр душ что-то первобытное, первородное. Переливаясь всеми цветами радуги, волнуясь своей ненаполненностью, шар достигал в диаметре четырехсот футов. Корзина, прикрепленная к нему, была столь вместительна, что, казалось, способна действительно вознести в поднебесье все городское население. От вознесения сие сооружение удерживала дюжина канатов толщиной в человеческую руку, которые сторожили крепкие мужики с топорами в руках.

Шаллер оглядел толпу и заметил Франсуаз Коти, стоящую рука об руку со скотопромышленником Туманяном. Полковник подумал, что все это время не вспоминал о девушке, и ему почему-то стало грустно. Чуть бледная, со слегка растрепавшимися волосами, она была прекрасна. Еще более прекрасна она была тем, что

стояла почти обнявшись с членом городского совета Туманяном, глаза которого то и дело страстно глядели на девичью шею.

Все это собственничество, подумал Генрих Иванович и заставил себя смотреть на трибуну.

— Друзья! Мы полетим к счастью! Мы вознесемся все! — вещал Гоголь. — На моем шаре хватит места для всех!

— Из чего корзина сделана? — раздался голос из толпы. — Выдержит ли?

— Корзина сделана из виноградной лозы и панциря майского жука! Обмазана гречишным медом!

— А сам шар? Из чего пошил?

— Кожа дикого голубя.

— А что такое воздушный шар? — спросил другой голос.

В толпе засмеялись.

— Прошу занимать места! — возвестил физик.

— Предлагаю к вознесению сначала увечных, слепых, горбатых и слабоумных! — выкрикнул человек, когда-то летавший на аэроплане. — Пусть они уподобятся птицам! А мы пока поглядим и все взвесим!

В толпе опять засмеялись.

— Да как же! — захлопал глазами Гоголь. — Я же для всех старался!

— Да подожди, Моголь! Мы же еще недвижимость свою не реализовали!

— А зачем вам деньги, когда мы летим к счастью! — закричал в отчаянье Гоголь.

— А чтобы еще более счастливыми быть! — резонно заметил кто-то.

— А ты, Гоголь, корейцев с собою возьми!

На глаза физика навернулись слезы. Потерявший самообладание, он закрыл ладошками лицо и всхлипывал.

— Не для себя я старался... — слышали стоящие рядом. — Не для себя...

— Не плачь, Моголь! Мы тебя уважаем!

Физик открыл заплаканное лицо и в надежде спросил:

— Ну что, полетите?

В толпе молчали, понутив головы.

— А как же труд мой, как старания?!

Гоголь был столь трогателен в своем детском отчаянии, что горожанам стало неловко, а некоторые особенно сердобольные зашмыгали носами. На помощь согражданам пришел человек, имевший летный опыт.

— Не обижайся на нас, Гоголь. Мы слабые по сути своей. Мы боимся лететь! А вдруг там нет счастья?! Тогда шар упадет на землю, и мы все разобьемся!.. Может быть, ты первый полетишь?.. Только обещай нам, что вернешься, если счастье отыщешь. Тогда мы точно с тобой вознесемся...

— Обыватели мы! — поддержал летуна кто-то. — Мещане!

Гоголь простер руки к какой-то голове, выделяющейся лысиной из толпы.

— Может быть, вы полетите? — с надеждой спросил герой.

Лысая голова загрустила и отрицательно покрутилась в накрахмаленном воротничке, покраснев ушами.

— А вы? — обратился физик к толстой бабе с ужасными бородавками на лице. — Там ваше лицо станет прекрасным!

— А не с лица воду пить! — нашлась уродина.

Глаза Гоголя отыскиали в толпе безногого инвалида, сидящего на дощечке с колесиками. Инвалид внимательно слушал оратора и, казалось, мучительно раздумывал над чем-то.

— А вы!.. Вам-то что здесь делать? Сидите целыми днями на паперти в ожидании копейки! Полетели со мной, и там вы будете счастливы!

— А действительно! — поддержал кто-то. — Лети с ним, Петрович! Чего тебе здесь делать? Может, бабу там какую сыщешь!

— А я-то чего! — испугался калека, сжимая в руках два увесистых пресс-папье.

— Да надоел ты всем здесь! Проваливай на небеса! А то клянчишь все, а после пьяный валяешься!

— Там водки море разливанное! — со смехом сказал кто-то. — И ноги там вырастут новые! А может, и еще кой-чего!..

— Чего пристали-то! — зашипел Петрович и, отталкиваясь пресс-папье от мостовой, потихонечку стал выкатываться из толпы. — Ишь, нашли дурака! А нужны мне эти ваши ноги!..

Остатки мужества покинули Гоголя, и он, еле удерживаясь от обильных слез, отворачивая лицо от соотечественников, полез в корзину.

— Прости нас, Гоголь! — послышалось из толпы. — Прости!

И тут же со всех сторон от молодых и старых посыпались низкие поклоны в сторону воздушного шара, сопровождаемые возгласами „прости!“.

Настал прощальный миг. Наполнившись теплым воздухом, шар рвался к облакам, словно ядро из пушки. Гудели от напряжения канаты и казалось, что они вот-вот лопнут, не выдержав такого могучего влечения.

— Прощайте, — прошептал Гоголь, оборотив лицо к согражданам. — Не поминайте лихом! — и махнул рукой.

В ту же секунду стоящие наготове мужики взмахнули топорами, блеснув солнцем в металле, и радостно опустили чугунные языки на канаты. Шар дрогнул, качнулся, как будто не веря в свою свободу, затем выпрямился и поплыл потихоньку к небу.

— Лечу! — крикнул Гоголь. — Улетаю!

Толпа рухнула на колени, а митрополит Ловохишвили затянул „Отче наш“...

Проводив взглядом шар, величественно уплывающий в поднебесье, Генрих Иванович в смятении покинул городскую площадь и направился к Гавриле Васильевичу Теплому.

На стук учитель ответил не сразу. Лишь после того как Шаллер заколотил в дверь кулаком, из квартирки донеслось какое-то шебуршание и недовольный голос слависта спросил:

— Кто там?

— Я это, я. Кормилец ваш! Открывайте!

Дверь тут же открылась, и в ее проеме появилось заспанное лицо Гаврилы Васильевича.

— Ах, это вы! А я тут после обеда задремал!.. Что ж вы в дверях-то, проходите, не обижайте меня!

Первым делом, пройдя в комнату, полковник осмотрел письменный стол Теплового, затем уселся на табурет, пригладил волосы и спросил:

— Что ж вы на проводах Гоголя не были? Весь город собрался!

— Все улетели? — ехидно поинтересовался славист.

— Да нет. Все героями быть не могут.

— Значит, физик в гордом одиночестве?

— Так точно.

— Ну ничего, полетает и вернется. Будьте уверены... Денежки принесли?

— А есть за что?

— А как же! Тружусь не покладая рук. Так сказать, в обильном поте лица!

— Покажите!

— Пожалуйста.

Теплый вытащил из-под еженедельника „Курьер“ пачку листов и протянул их гостю.

— В последнее время мне особенно хорошо работалось! Пожалуйте сотенную.

Глаза полковника бегали по строчкам, он машинально вытащил из кармана портмоне и отсчитал из него сто рублей десятками.

— Получите.

Гаврила Васильевич аккуратно сложил деньги и спрятал их в ящик стола, заперев его на ключик.

— Посидите еще? — спросил он.

— Что?

— Может быть, чайку?

— Да нет, надо идти.

— Ну что ж...

Шаллер скрутил в трубочку рукопись и направился к двери. Там он неожиданно остановился и оборотился к Теплому:

— Скажите, это вы убили Супонина?

Гаврила Васильевич вздрогнул и сжал кулаки.

— У меня есть неопровержимые доказательства.

Лицо учителя побледнело, он сделал быстрый шаг вперед, затем так же быстро отступил.

— Есть свидетели!

— Не может быть! — зашептал славист. — Вы врете!..

— Вас видели.

— Кто?

— Неважно.

Полковник вернулся в комнату и вновь сел на табурет. Теплый отступил к окну и устроился за спиной Шаллера, трясаясь всем телом.

— Вас казнят прилюдно.

— Не докажете.

— Какими вы духами пользуетесь?

— Что?

— Или одеколоном?

— Я ничем таким не пользуюсь! Что за дурацкие вопросы! — Теплый осторожно снял с гвоздя нож и накрепко сжал, стараясь совладать с трясучкой.

— Жаль. Парфюмерия могла бы вас спасти!.. Знаете, какой вы ужас испытаете перед смертью, когда на вас будут смотреть тысячи глаз, а палач начнет отсчет последней минуты?.. У вас расслабится кишечник, и вы будете вонять, как ассенизатор, провалившийся в дырку. У вас пропадет голос, вы будете хрипеть от страха, а глаза начнут бессмысленно вращаться, потеряв фокус!

Гаврила Васильевич медленно приближался к полковнику, вознося над головой нож.

— Потом не выдержит мочевого пузыря, и струя потечет из штанин на ботинки, а толпа будет улюлюкать, приветствуя ваш бесконечный ужас!

Теплый почти вплотную подошел к Шаллеру, собираясь с силами на удар.

— А потом палач начнет разделявать со всем искусством. Пристроит узел на шее сбоку, чтобы невзначай не сломать вам ее веревкой, когда выбьет ящик. Чтобы помучились подольше. Вы будете болтаться на ненамышленной веревке, перебирая ногами, словно при беге на короткую дистанцию. Вы будете задыхаться при полном сознании, прикусывая раздувшийся язык. Затем лопнут глаза, как тухлые яйца, свалившиеся со стола... Но вас вовремя снимут с веревки, дадут отдышаться и потом повторят процедуру снова... Не ожидали-с от меня таких фраз?..

— А-а-а!!! — отчаянно закричал Теплый и опустил нож на спину Генриха Ивановича.

В самый последний миг тренированное тело полковника увернулось из-под смертельного жала, лишь слегка поцарапавшись о него, могучие руки ухватили в объятия тщедушную грудь учителя и сжали ее чугунными тисками. В груди Гаврилы Васильевича несколько раз треснуло, он обмяк и соскользнул бессознанным на пол.

В течение получаса Генрих Иванович сидел над телом убийцы и наблюдал за сменой красок на лице Тепло-го. Щеки Гаврилы Васильевича, словно небо, то алели предзакатно, то становились мертвенно-серыми, как перед зимней непогодицей. В уголках губ пучилась слюнявая пенка, а слипшиеся ресницы подрагивали жидкой крысиной шерсткой. Наконец сознание постепенно вернулось в учительскую душу, славист жалобно заскулил и зашевелил по полу ногами.

Глядя на Гаврилу Васильевича, Шаллер испытывал невероятное чувство омерзения. Но самое странное, что омерзение транспонировалось и на него самого. Причи-

ны этого явления были не совсем понятны полковнику, а оттого было зло на сердце и Генрих Иванович с трудом сдерживался, чтобы не ударить Теплого ногой по лицу.

— Как больно!.. — протянул учитель, с трудом открывая глаза. — Как же больно!..

— Отчего же вам больно? — поинтересовался Шаллер.

Гаврила Васильевич было попытался приподняться с пола, но в груди у него вскипело лавой, глаза закатились, и, вновь теряя сознание, он глухо стукнулся головой об пол.

Удивительно, как быстро теряют от боли сознание слабые люди, тогда как сильные мучаются при полной яви, подумал Генрих Иванович, сбрызгивая лицо учителя теплой водичкой, взятой из питьевого ведра.

— Что вы со мной сделали!.. — запричитал Теплый.

— А что такое?

— Вы сломали мне все ребра!..

— Неужели?!

— Я совершенно не могу дышать!

— Мне, право, неловко!..

Гаврила Васильевич медленно перевернулся на бок. При этом на его лице отобразились все муки ада; он плакал мелкими слезами.

— Как больно, Господи!!!

— Страдания облегчают душу, — поддержал дух Теплого Генрих Иванович. — Они облагораживают и подтверждают, что человек еще жив. Вы живы, и вас можно с этим поздравить!

Славист осторожно ощупал свою грудь и, увидев, что она совсем мягкая и проминается аж до самых легких, зашипел от ужаса, хватая ртом воздух:

— Моя грудная клетка!.. Вы изуродовали ее!.. Я при смерти!..

— Нет-нет! Вы ошибаетесь!.. Вы будете жить, так как вас ждет последняя миссия!

— Какая? — теряя силы, спросил учитель.

— Как, вы уже запомнили?.. А прилюдная казнь?

— Да что же это такое, Господи Боже мой! — вскричал Теплый. — Что же за издевательство такое, в самом деле! Перестаньте говорить мне гадости!

— Бедный Супонин! Что он вам сделал?

Гаврила Васильевич с невероятным трудом, охая и ахая, приподнялся на локтях и прислонился к стене, всей своей мимикой выказывая непомерные муки.

— За что вы убили подростка?

— Ах, вам не понять!.. Ой, какие боли!

— Отчего же! А вы попробуйте!

— Напрасные труды!

— Все же!..

— Мне нужен доктор!

— Я вас слушаю.

— Дайте воды.

— Хорошо.

Шаллер поднялся с табурета и зачерпнул ковшиком из ведра. Стуча о щербатый край зубами, Гаврила Васильевич стал судорожно втягивать в себя воду. Напившись, он оперся затылком о стену и шмыгнул носом.

— Хотите знать, зачем я убил Супонина?

— Прелюбопытно.

— Из-за вас.

Генрих Иванович ошешил.

— Что значит из-за меня?

— А то и значит!.. Вы поручили мне работу... Работа эта требует не только способности, но и некоей гениальности, иначе ее не сделать. Согласны?

— Допустим.

— Гениальность просто так не дается, она из чего-то черпается! Кому-то она дается в ущерб каких-то достатков. Кто-то лишен здоровья или ума... Вы отдаете себе отчет, что гений — совсем не обязательно ум?! Множество гениев были крайне ограниченными людьми во всем, что не касалось области их деятельности!.. — Те-

плый охнул, схватившись за грудь. — Сейчас я продолжу, отдышусь только!..

Генрих Иванович терпеливо ждал, уже предчувствуя, к чему клонит учитель.

— Кто-то лишен любви и способности к продолжению рода... Есть и другие формы... Кто-то, творя, прибегает к паренью ног в тазике с добавками наркотических веществ, кто-то усердствует, экспериментируя с алкоголем... Кто-то неумеренный сладострастец...

— Я бы уточнил — извращенец!

— Пусть так, — согласился Гаврила Васильевич. — Но в чем вина этого субъекта?.. Он же не виноват в конце концов, что его одолевают непомерные страсти! Это болезнь своего рода, неподвластная контролю!

— Если болезнь не поддается лечению и опасна для окружающих, то больного необходимо изолировать!

— Вот-вот! — обрадовался Теплый. — А вы говорите — казнить! Прилюдно!.. Это то же самое, что умерщвлять больного сифилисом, который, зная о своей болезни, продолжает заражать окружающих. Несоразмерна ответственность!

— Вы — убийца! Вы — извращенец! Вы лишаете жизни человека, дабы потрафить своим страстям! Вам надо уничтожить лишь только для того, чтобы ваша казнь стала предостережением для других таких, как вы!

— Вы от чьего лица говорите? От своего или от лица государства?

— А какая разница?

— Преогромная!.. Передовая и образованная личность не может добиваться смертной казни кого бы то ни было! Гуманизм — вот что отличает цивилизованного человека от варвара! Отвечать смертью на смерть — против любых религиозных канонов!.. Другое дело государственная машина. Она подчинена законам, она безлика! Она отделена от церкви, в конце концов!..

Генрих Иванович слушал слависта и вспоминал, что те же самые мысли он когда-то высказывал губернато-

ру Контате. Сейчас, столкнувшись с практикой, а не с теорией, эти мысли казались ему ошибочными, но тем не менее полковник отдавал должное умственным способностям Теплового, которому удалось заронить в его душу зерна сомнения. Шаллер не любил, когда его убеждения менялись на противоположные...

— Пусть меня карает государство! — продолжал Гаврила Васильевич. — Но пусть оно сначала определит — болен я или все же способен адекватно оценивать свои поступки! Пусть меня засадят в дом умалишенных, если я сумасшедший, и пусть вздернут, если я здоров, как вы!

От столь длительной речи Теплый закашлялся и скривился от боли.

— Все же зачем вы меня так сильно ранили! — опять заскулил славист.

— Вы хотели меня убить. Вон и орудие ваше валяется!

— Вы меня приперли к стенке! Мне ничего другого не оставалось делать! К тому же вы специально сели спиной, видя мое отражение в окне и провоцируя на попытку, дабы пресечь ее и нанести ответный удар! Не так ли?

Полковник промолчал.

Неожиданно во взгляде Гаврилы Васильевича что-то переменялось, как будто он, проигравшись в карты в пух и прах, нашел в кармане денег еще на одну ставку и получил при раздаче выигрышную комбинацию.

— Я в самом начале нашего общего труда, — проникновенно проговорил он. — Я же работаю на вас и создаю, вполне быть может, произведение, равное которому сложно сыскать в мире. И потом, в первую очередь, оно более важно для вас, чем для меня. Вам хочется ужасно разглядеть сокровище. Ваша жена творит, являясь проводником божественного. И неизвестно еще, кому предназначено это послание!.. А если меня казнят, то уже вряд ли кому-то удастся найти ключ к шифру!..

— Шантажируете?

— Нет. Просто привожу разумные доводы.

— Вы что же, считаете, что я буду вас покрывать?

— А зачем?.. Разве я что-то совершил?

— Что вы имеете в виду? — не понял Генрих Иванович.

— От чего вы меня будете прикрывать?.. Разве я украл что или убил кого?

— Ну вы наглец! — изумился Шаллер.

— Я цепляюсь за жизнь. А вы вцепитесь в свои интересы! Поможем друг другу!

Полковник от возмущения не нашелся что ответить, а Гаврила Васильевич, поняв, что хватил лишку и перебрал, пытался восстановить утерянное равновесие.

— Я не убивал Супонина! Кто может доказать это? Кто меня видел?!

— От вас пахло духами „Бешеный мул“, которыми пользовался подросток!

— Такие духи продаются в каждой лавчонке! — парировал учитель.

— Найдутся следы и на вашей одежде.

— Пусть ищут, — ответил Теплый, припоминая, выгреб ли он из печки золу, оставшуюся от сгоревшего костюма.

— В вашей библиотеке только атласы по судебной медицине, а органы, вырезанные из тела мальчика, были удалены самым профессиональным образом.

— Каких увлечений не бывает у человека!.. Если у вас в доме хранится топор, это еще не значит, что вы палач!

Следующие пять минут Шаллер просидел молча. Затем он встал, ничего не сказал, просто кивнул Теплому и вышел из комнаты, унося с собою странички, свернутые в трубочку.

Гаврила Васильевич остался лежать на полу с приятным чувством миновавшей опасности. Особенно приятно было, что опасность отведена благодаря его выдающимся способностям. Неприятной была только боль в груди...

„Незнакомка, родившая ветер, отлежалась несколько дней и ушла из дома доктора Струве в город, где сняла небольшую комнатку в доходном доме и стала жить незаметной жизнью.

Если в природе что-то появляется, то этому обязательно найдется применение.

Услышав страстные молитвы г-на Контаты, в Чанчжоэ появился некто г-н Климов, оказавшийся агрономом и прекрасным организатором дела. Привезя с собой несколько повозок с зерном, он распахал степь и засеял ее пшеницей, так что через четыре месяца, благодаря естественному опылению, в городе появился свой хлеб. На вырученные от реализации мучных изделий деньги г-н Климов нанял рабочих, выстроил мельницу, выписал из столицы электромеханика и обустроил электричеством весь город.

Став вполне богатым и респектабельным человеком, г-н Климов женился на мадмуазель Бибигон, лелея ее пышное тело изысканными шелковыми блузками и горностаевыми накидками. Благодарная жена через пять месяцев родила агроному сына, которого кормила обеими грудями, чтобы он вырос крепким и был похож на своего родителя.

Именно в это благодатное для города время, когда каждый мог побаловать себя горбушечкой свежеспеченной булки, когда исправно трудились динамо-машины, вырабатывая электричество в натянутые прово-

да, когда свет сделал безопасными самые ужасные городские закоулки, именно тогда в город пришли корейцы.

Они прибыли целым эшелоном повозок, нагруженных всем необходимым, чтобы начать независимую жизнь.

Желтолицые освоили еще не распаханые степи, возведя на крепких травах свои жилища и народив в короткое время целое полчище косоглазых детишек.

По этому поводу г-н Контата, посовествовавшись с влиятельными горожанами, решил провести перепись населения, дабы иметь над ним государственный контроль. Повсюду были разосланы общественники, которые неугомонно трудились, считая головы проживающих. К концу второго месяца перепись была закончена, и оказалось, что в Чанчжоэ к настоящему времени проживает шестнадцать с половиной тысяч человек, считая корейцев.

— А немало нас уже! — возрадовался Ерофей Контата на городском совете. — Немалый у нас уже городишко!

— Надо к православию иноподцев привести! — рек митрополит Ловохишвили. — Защитить их, неразумных, крестом!

— Вам, ваше святайшество, и знамя в руки. Крестите корейцев в православие!

— Это мы разом! — пообещал посланник Папы.

Но разом великое дело не случилось. Корейцы были готовы на все — и платить прогрессивные налоги, и жертвовать средства на церковные нужды, однако креститься ни в какую не хотели.

Никакими церковными радостями, ни пасхальным яичком, ни куличиком, ни божественным воскресением не мог завлечь митрополит косоглазых в лоно Божье. Как ни трудился проповедник в поте лица, корейцы вежливо отказывались.

— Экие неразумные! — жаловался Ловохишвили. — Ничего не понимают! Даже русского языка не разумеют!..

Со временем посланник Папы смирился со своим поражением, и корейцев так и оставили жить в городе незащищенными от бесовских сил...

К концу шестого года чанчжойского летосчисления в город прибыли новые поселенцы. Их насчитывалось более тысячи..."

Генрих Иванович повернул страницу, за которой начинался список вновь прибывших. Он не стал вчитываться в фамилии, а отделив листочки с алфавитным указателем, продолжил чтение непосредственно рукописи.

„В гостинице Лазорихия процветал бизнес. Все комнаты были заняты, а со временем их, и так не очень просторные, перегородили фанерными стенками, чтобы увеличить количество спальных мест, а вместе с тем и доходы.

С утра до вечера Лазорихий вместе с матерью, братьями и сестрами неутомимо трудились, обеспечивая клиентам хороший сервис. Они скоблили полы и круглосуточно стирали постельное белье, кухарили всяческие разносолы и создавали культурный досуг, напевая вечерами азиатские песни у камина.

— Как хорошо, мама, что мы открыли гостиницу! — радовался Лазорихий.

— Да, сынок! Очень хорошо!

— И люди рады, и у нас благополучие!..

— Да, сынок...

— Только вот что меня беспокоит, мама!.. — Лазорихий замолчал, наморщив лоб.

— Что же, милый?

— А как же мои философские изыскания?.. Я заметил, что чем больше у нас постояльцев, тем меньше я размышляю о парадоксах бытия, не задумываюсь о смерти вовсе, да и причины жизни от меня ускользают!.. Как с этим быть?!

— Ах, сынок, — загрустила мама. — Так оно в жизни и бывает. Чем больше повседневной рутины, тем жизнь беззаботней! А для философских мыслей нужна скука

отчаянная! От скуки и мысли все светлые... Так-то, сынок...

— Что же мне делать, мама?.. Ведь я — философ, пустынный!

— Отъединись от жизни повседневной. Запрись в комнате и скучай отчаянно! Лежи сутки напролет в мучениях, гляди на солнце и луну — думай и страдай за все человечество! Тогда придут мысли о смерти!

— А как же вы, мама?! Как же вы без помощи моей?

— Да как-нибудь, — улыбнулась мать. — Найдем помощников. Чай, не бедные уже...

Лазорихий был растроган такими словами матери. Он нежно обнял ее, поцеловал в лоб и, не теряя времени, удалился в свободную комнату, заперся и начал думать о таинствах бытия.

В гостинице проживало огромное количество детей. Они шумели круглые сутки, беспричинно плакали, выводя из себя нервных родителей.

Как уже отмечалось, стены в гостинице были в большинстве фанерными, а потому Лазорихий слышал все, что происходит даже в дальних номерах, и от этого не мог сосредоточиться на своих мыслях.

Как-то ночью, в плохом расположении духа, измученный всеразрушающим шумом, пустынный выбрался из заточения и спустился в кухню, где вытащил из мешочка пару крупных фасолин, которыми, возвращаясь в свою келью, накрепко заткнул уши. И, о чудо! На следующее утро философ проснулся от абсолютной тишины. Фасолины помогли!.. Лазорихий обрадовался и через некоторое время заскучал, что позволило ему родить философский афоризм:

— Философия — это мысль! Но не всякая мысль — философия!..

Приблизительно в это же время в городе появился новый поселенец. Он въехал на чанчжойскую окраину на белом коне, злобно скалящем зубы. Конь был приземист и мускулист, с крупными шрамами на лоснящемся крупе, оставленными, судя по всему, сабельными уда-

рами. Полковничий мундир седока блестел на солнце необыкновенным количеством орденов, медалей и всевозможных подвесок. Ноги, обутые в великолепные сапоги, прищипоривали бока коня, заставляя животное двигаться иноходью. Лицо полковника украшали пушистые усы с обильной сединой и степной загар, прибавляющий всаднику мужественности.

Полковник, не торопясь, проехал из одного конца города в другой, давая возможность жителям хорошенько себя разглядеть. Сам же он, казалось, не смотрел по сторонам вовсе, как будто все в этом населенном пункте было ему знакомо с детства. Он остановил коня возле казарм, легко спешился и приказал доложить генералу Блуянову о прибытии полковника Бибикова.

— Если в город вошел еще один военный — быть войне! — решил доктор Струве, углядевший в окно проезжающего мимо полковника. — Надо готовить полевой госпиталь!

— Монголы сосредоточивают свои силы на северо-западе, в тридцати верстах от города, — докладывал Бибиков генералу. — В основном это конные соединения Бакши-хана, вооруженные „фоккель-бохерами“. Судя по всему, они будут готовы к вторжению в самое ближайшее время. Вот поэтому я и прибыл к вам.

— Все, что вы рассказываете, — печально, — ответил генерал Блуянов. — Но что делать, мы с вами люди военные и должны защищать свое Отечество, сколь ни малы наши силы. — Генерал хлебнул вина. — Как вы думаете, каковы причины вторжения?

— Монголы считают, что эти степи издавна принадлежат им. Они крайне раздражены, что на их территории кто-то выстроил город и благоденствует!

— Причины веские!.. Что вы предлагаете в этой ситуации?

— Полную мобилизацию! Другого выхода нет! Мы должны защищаться, даже если нас ожидает поражение!

— О поражении не может быть и речи!

— Я тоже так считаю, — согласился Бибиков.

— Монголы отсталая нация, они не владеют военными науками, тогда как мы закончили военную академию.

— Согласен.

— С другой стороны, монголов много, они злобны, как бешеные собаки, и не остановятся перед выбором между насилием над мирным населением или просто ведением военных действий.

— Да, это так.

— Во всяком случае, нужно обо всем немедленно оповестить главу города и совместными усилиями выработать решение по возникшей проблеме...

Вечером состоялось заседание городского совета.

— Не можем ли мы решить конфликт мирным путем? — поинтересовался г-н Контата. — Скажем, материально возместить монголам моральный ущерб?

— Думаю, что нет, — ответил полковник Бибиков. — Азиаты попросту хотят отобрать у нас город. Они специально ждали, пока мы закончим строительство всех инфраструктур, чтобы прийти на готовое, истребив сначала все городское население.

— Так-так.

— Можем ли мы обратиться к российским властям? — спросил генерал Блужнов.

— Думаю, что нет, так как эта территория действительно является спорной. Нам предстоит выпутываться из этой ситуации своими силами, как ни печально! — ответил Контата.

— Мы должны защитить свой город! — с пафосом заявил скотопромышленник Тумаян. — Я выделяю средства из собственных капиталов и первым встану на защиту Отечества!

— Можете рассчитывать и на меня! — поддержал Тумаяна г-н Бакстер.

— Я прекрасно стреляю! — с достоинством произнес г-н Мясников.

— Я могу быть санитаром, — скромно сказал г-н Персик.

— Благословляю вас на святое дело! — перекрестил собравшихся митрополит Ловохишвили.

— Я так понимаю, что мы пришли к единому мнению! — резюмировал губернатор. — Итак, господа, война! Мы не сдадимся!

На следующий день в городе была назначена полная мобилизация. Сначала в строй встали все мужчины старше семнадцати лет. Затем к ним присоединились подростки. Сияя глазами от восторга, они целыми днями отрабатывали стрелковые упражнения и учились пользоваться штыками в рукопашном бою.

Не желая оставаться безучастными к происходящему, к своим мужьям и сыновьям присоединились их жены и матери. Они изорвали свои старые платья на бинты, сменили юбки на брюки и поклялись не беременеть, пока не кончится война.

Таким образом, весь город от мала до велика встал на защиту Отечества.

Единственным жителем, который не ведал о происходящем, был Лазорихий, проводящий месяцы напролет в своей добровольной тюрьме. Лежа на рваном тюфяке, размышляя о вечном, панически боясь мирского шума, он не вынимал из ушей фасолин, которые настолько прижились в ушных раковинах, что вскоре дали ростки, распутившись затем кустиками...

В этой ситуации случилось так, что великий астрологический тезис — „Звезды предполагают, а человек располагает“ — перевернулся с ног на голову. Все оказалось наоборот. Человек предположил, а звезды устроили все по-другому.

Монголы не стали нападать на город. Они просто взяли Чанчжоз в кольцо блокады и стали ожидать капитуляции.

— Захотят кушать — на коленях приползут! — здраво полагал Бакши-хан. — И женщин своих раздетыми и мытыми приведут!

Город перешел на режим строжайшей экономии. Каждому жителю выдавалась крошечная пайка хлеба

на день и флакон растительного масла, дабы не умереть с голоду.

Вечерами на город опускались сладкие ароматы костров, на которых монголы готовили свой плов и прочую вонючую пищу. В такие часы весь город мучился желудочными резами и с трудом справлялся с обильным слюновыделением.

— Ах, подонки! — ругался генерал Блуянов. — Ах, мерзавцы!

Столь же голодный, как и остальные, злой, как отощавший волк, полковник Бибилов рвался в бой.

— Ваше высочордие! — умолял он. — Разрешите мне с моими людьми устроить набег на монгольское становище! Они сейчас обожрались своей конины и потеряли бдительность! А мы их пашками да по мордасам!

— Нет, Валентин Степанович! — запрещал генерал. — Нет, и еще раз нет! Уймите свою горячность, а то сложите голову, да и людей погубите!

Осада длилась уже три месяца. Запасы продовольствия успешно подходили к концу, а новый урожай обещал созреть лишь через два месяца. В городе были съедены все собаки и кошки, весь скот г-на Туманяна пошел под нож, настал черед г-на Белецкого резать своих племенных крейцеров.

— Режьте лучше меня! — взмолился коннозаводчик. — Да как же такую красоту и под нож!.. Это же слава нашего города!.. Не могу!..

— Люди гибнут от голода, пухнут на глазах, словно пышки на сковородке! А вы — красота! — укорял Белецкого губернатор.

— А что же мы сидим на месте?! Разве мало у нас отважных воинов, чтобы добыть продовольствие в бою для женщин и детей?! Да я первый возьму в руку пашку и — в бой!

— Вот-вот! И я о том же! — поддержал коннозаводчика полковник Бибилов.

— А я запрещаю вам это делать! — закричал генерал. — У нас всего-то солдат пять тысяч, а у нехристей двести! Режьте жеребцов — и дело с концом!

Г-ну Белецкому ничего не оставалось делать, как собственноручно резать лошадям горла. При этом он плакал и просил у них прощения. Лошади, казалось, понимали, для чего их лишают жизни, а оттого не сопротивлялись, лишь ржали жалобно.

Впрочем, Белецкий пошел на хитрость — спрятал пару самых породистых лошадей в собственном доме, выделив для них бальную залу. Чтобы не ржали, конно-заводчик обвязал их морды одеялами, а навоз выносил ночами, тайком, в интимном горшке.

Конину съели быстро, даже кости перемололи в муку и испекли из нее лепешки. Город погрузился в еще бóльшую тоску, и некоторые жители уже поглядывали на своих соседей как на калорийный продукт, который можно съесть. Вдобавок произошло самое ужасное. Диверсанты, невесть каким образом проникшие в город, сожгли на корню будущий урожай и спалили амбары с семенным зерном. Будущая еда сгорела быстро и справно.

Полковнику Бибикову пришлось лишить жизни своего верного друга, вышедшего невредимым из многих военных схваток, — мускулистого коня. Одним движением остро отточенной шашки он срубил ему голову и поставил ведро под бьющее черной кровью горло поверженного животного.

Конь был съеден в одно мгновение, поделенный по справедливости между всеми городскими жителями. По тридцать граммов на душу. По шестьдесят граммов было выдано лишь двум особам в городе — лейтенанту Ренатову и мадмуазель Бибигон, которые решили в эти сложные времена пожениться. Двойная пайка конины стала им свадебным подарком.

Только один Лазорихий не ведал, что творится в миру. Отягощенный гипотетическими проблемами бытия, он не нуждался ни в пище, ни в воде. Его мысли, предельно ясные, как никогда, выстраивались в парадоксальные цепочки прозрений, а фасоловые кусты, разросшиеся из ушей по всей комнате, уже дали свои первые плоды — маленькие зеленые барабульки.

— Жизнь происходит из ничего, — понял Лазорихий. — Ничего вбирает в себя все! А все — это такое же ничего!

Одним из голодных дней мать Лазорихия, готовящаяся от истощения отдать Богу душу, нашла в себе силы, чтобы доползти до комнаты сына и попрощаться с ним навеки. Она с трудом смогла открыть дверь, прикипевшую к косяку от нечастого использования, и втащила свое немощное тело в келью отпрыска. И каково было ее изумление, какой крик вырвался из ее истрадавшегося сердца, когда она увидела заполняющие всю комнату заросли фасоли с десятками тысяч плодов, созревших к употреблению...

— Мы спасены! — закричала азиатская мать. — Мы будем жить!

На крики бежали постояльцы гостиницы, бурно разделившие радость хозяйки. Фасолины были осторожно срезаны, уложены в мешок и отнесены в поле, в плодородную землю которого их и высадили всем городом. От такой нечаянной радости горожане на время забыли о голоде и запаслись силами, чтобы дожидаться фасолевого урожая.

А Лазорихий по-прежнему не ведал, что происходит в городе, в котором он почитался первым жителем.

Его мозг работал на полную мощность, уши были заткнуты разросшейся фасолью, а глаза, закрытые за ненадобностью веками, покрылись паутиной, в которой жил паук, питающийся мухами.

„Самое главное — земля родящая! — думал Лазорихий. — Землею могу быть и я. Я могу быть почвой родящей! Должен ли я умереть для этого?..“

Первые всходы фасоль дала уже через три дня. А к концу недели урожай созрел. Он оказался столь велик, что мог кормить город несколько месяцев, да еще хватало и на следующую посадку.

Глядя в подзорную трубу на неожиданное веселье в городе, Бакши-хан удивлялся и злился.

— Похоже, они не собираются раздевать своих жен-

щин! — жаловался он приспешникам. — Надо готовиться к штурму!

В это время в Чанчжоэ усилиями военных контрразведчиков были изобличены диверсанты-предатели, сжегшие запасы зерна в самое тяжелое время. Пятерых выродков четвертовали прилюдно на площади, затем хотели было их съесть, но вспомнили, что в городе достаточно фасоли.

Самое неприятное, что в числе изменников оказался один из братьев Лазорихия, продавшийся монголам за фунт бараньей требухи.

Мать философа от такого выверта судьбы тронулась мозгами. Она круглые сутки напевала песню об Иване Сусанине и косо смотрела по сторонам. Ей стало казаться, что все в городе шпионы. Достав где-то цианистого калия, она в безумии своем перетравила всех постояльцев гостиницы и в придачу оставшихся сыновей и дочерей. Выжил только Лазорихий, который не потреблял ни пищи, ни воды.

Его, умиротворенного мыслительным процессом, потревожили городские власти, выковырвав насильно из ушей застарелую фасоль.

— Ваша мать преступница! — кричал шериф Лапа в самое ухо Лазорихия. — Она убила пятьдесят человек!

— Что?! — не расслышал Лазорихий, отвыкший слышать.

— Она перетравила всех постояльцев вместе с вашими братьями и сестрами! Все умерли в одно мгновение!

— Не может быть! — испугался философ.

— Сами убедитесь, — предложил шериф. — Трупы еще не успели остыть!

Трясущегося отшельника провели в столовую, где вповалку лежали несчастные, отравленные цианидом. Их лица были перекошены предсмертным недоумением. Среди них Лазорихий различил своих братьев и сестер.

— Дело рук вашей мамы! — пояснил Лапа. — Вот такое безобразие!

— Да как же это могло произойти?! — вскричал пустынник. — За что?!

— Война, понимаете ли, многих с ума свела.

— Какая война?!

— Как, вы ничего не знаете?

— А что я должен знать?!

Шериф в недоумении развел руками, но ему тут же объяснили, что это тот самый Лазорихий — философ, который находился многие месяцы в уединении и вдобавок спас весь город от лютой смерти, прорастив на своем теле фасоль.

— Понятно, — ответил Лапа и, умерив свой пыл, рассказал герою, что Чанчжоз уже почти год находится под гнетом монгольской блокады. — А вы знаете, что один из ваших братьев оказался предателем? — добавил шериф и тут же спохватился: — Ну да, вы же ничего не знаете!

— Как — предателем?

— Сжег наши продовольственные запасы, помогая врагу.

Лазорихий заплакал от такого количества несчастий, внезапно свалившихся на его голову.

— Он в тюрьме?

— Его казнили, — ответил шериф и почесал от смущения шею. — Крепитесь.

— А где мать моя? — шепотом спросил философ.

— Заперта в одном из номеров.

— Могу я повидать ее?

— Вообще-то не положено, — засомневался Лапа. — Если в виде исключения только...

— Да-да, конечно...

— Только учтите, что она не в себе...

— Я понимаю...

— Что ж, проводите господина Лазорихия! — распорядился шериф.

Когда философа впустили в комнату, где находилась его мать, он нашел ее привязанной к креслу и поющей песню о смерти предателя. Родительница не обратила ровным счетом никакого внимания на последнего своего

отпрыска, а с его приходом лишь добавила торжественности своему голосу.

— И потому что ты иро-од, — пела она, — казнил тебя твой наро-од!..

Лазорихий уселся в ногах матери, погладил их нежно и сказал:

— Что же ты, мама, наделала!

— Ты корчился в муках предсмертных и видел ты небо в огне!.. — завывала душегубица.

— За что ты их жизни лишила?

— Мы смертью оплатим неверным, и будешь ты плавать в г...не!

— Ох, мама, мама! — грустил Лазорихий.

Он оторвался от материнских ног, обнял ее за плечи, погладил волосы, провел пальцами по сухим глазам, затем обнял шею и сдвинул ее до хруста.

— Прощай, мама!

Из материнского горла вырвался глухой хрип, она недоуменно вытаращила глаза и, казалось, все пыталась допеть песню о возмездии предателю.

Услышав странные звуки, в комнату ворвался шериф Лапа со своими помощниками, но было уже поздно. Душегубица по-прежнему сидела привязанной к креслу, только шея ее была сломана и голова болталась на груди. Ее мертвое тело сжимал в объятиях Лазорихий, утирая сочащуюся из носа матери кровь.

— Мамуля, мамуля!.. — шептал он.

Философа оторвали от трупа, надели наручники и сопроводили в тюрьму.

На следующий день состоялся суд, рассмотревший дело о матереубийстве. Присяжными заседателями было принято во внимание, что преступник спас город от голодной смерти, что он — первый житель Чанчжоэ и что до сего времени это был человек социально не опасный. Также было принято во внимание, что Лазорихий убил мать, не выдержав груза ее вины.

— Преступник лишил жизни свою мать! — говорил обвинитель. — Самое дорогое, что есть в жизни челове-

ка! Мать — понятие святое! Женщина от горя потеряла рассудок! Ее нужно было не казнить, а лечить! Вместо этого родной сын свернул ей шею! Никто не вправе, кроме суда, вершить актов возмездия! А потому, делая вывод из всего вышеизложенного, требую для Лазорихия смертной казни!

Присяжные заседатели были абсолютно согласны с обвинителем и вынесли суровый приговор — смертная казнь через отделение головы от туловища, хотя как индивидуумы они сострадали смертнику и по-человечески были готовы простить ему убийство матери.

Откладывать казнь не стали и ночью наскоро соорудили эшафот, затянув „вокзал на тот свет“ черным бархатом.

По такому экстраординарному случаю собрался весь город. Уже подходя к главной площади, народ проливал слезы и шептал в едином порыве слово „святой“.

Лазорихия вывели под руки. Он был бледен, но сохранял выдержку, руководствуясь своим же философским постулатом, что „все — это ничего“. Стать из всего ничем представлялось для отшельника переходом от теории к практике. Одно лишь внушало опасение: если вывод ошибочен, то он уже никогда не сможет его пересмотреть.

Губернатор Контата сказал заключительную речь, смысл которой сводился к прощанию как с героем, так и с иродом, но с человеком, достойным сожаления. Митрополит Ловохишвили прочел прощальную молитву, дал смертнику облобызать крест, а палач, закутанный в черное, сделал приглашающий жест, указывая безвольной рукой на деревянную чурку.

Лазорихий печально улыбнулся на все четыре стороны, поклонился согражданам и поудобнее уложил голову на плаху.

— Прощай, народ русский! — негромко прокричал он.

Взметнулся к небесам топор и упал из поднебесья... Голова Лазорихия выпрыгнула лягушкой с плахи и за-

крыла свои азиатские глаза. Из места отсечения, из горла, вместо ожидаемой крови выскочило что-то розового цвета и, колеблясь в атмосфере, потянулось к синему небу.

— Смотрите, душа! — заорал кто-то.

— Святой, святой! — запелестело в толпе.

Спустя минуты что-то в небе сгустилось, заволновалось и запылало всеми цветами радуги, словно это душа убиенного окрасила пуховые облака.

Губернатор и митрополит плакали вместе со всем отечеством, а в уме Контаты уже зарождались мысли об учреждении почетного ордена святого Лазорихия и о сооружении мемориального памятника на месте его землянки.

Таким образом „Куриный город“ распрощался со своим первым жителем, со своим первым героем, со своим первым философом, а взамен всего этого приобрел „Лазорихиево небо...“.

Генрих Иванович закончил читать очередную порцию рукописи и вернулся к страницам, на которых излагался перечень имен и фамилий переселенцев, прибывших в город в тот период... Но к превеликому ужасу, троекратно его перечитав, он не обнаружил в нем ни себя, ни даже упоминания о своих родителях.

Оттолкнув бумаги, Шаллер откинулся на спинку кресла, стараясь совладать с нервами. Но закудахтала жирная курица, запрыгнув на подоконник и стуча о него клювом. Полковник в сердцах запустил в птицу подстаканником и пожалел, что ранее не согласился на предложение Контаты возглавить охрану куриного производства. Уж он бы их охранял, уж он бы им посворачивал головы!

— Я не мог так поздно родиться! — говорил себе Генрих Иванович. — Это идиотизм какой-то! Мне уже почти пятьдесят лет, а городу всего лишь сорок!.. И потом, получается так, что почти всех детей в городе родила мадмуазель Бибигон! И почему-то все недоношены!.. К тому же я никогда не слышал, чтобы Чанчжоз находился в монгольской осаде! Где монголы, а где мы!..

„Все эти записки — бред!“ — решил Шаллер и немножко успокоился.

Он еще немного посидел в кресле, затем вышел в сад проведать жену. К своему изумлению, он обнаружил ее бездвижно сидящей перед машинкой. Исписанные листы лежали рядом, сложенные в аккуратную стопку. Белецкая в недоумении хлопала глазами, как будто сама

не понимала, почему ее пальцы более не бегают по клавишам машинки.

В первый миг Шаллеру показалось, что Елена пришла в полное сознание, но позвав негромко, а затем поведив ладонью перед ее глазами, он убедился, что жена по-прежнему находится в эмпиреях, но в этом, другом измерении что-то у нее сломалось, разладилось.

— Елена! — еще раз позвал он. — Что же это такое получается!..

Полковник вплотную подошел к жене, приподнял с плеч волосы и поглядел на белые перышки, ровным рядом пробивающиеся у основания черепа. Перышки изрядно подросли, закудрявились на кончиках и волновали Генриха Ивановича чем-то сладостным, запретным.

— Что же это такое получается, Елена?! — заговорил Шаллер негромко. — Что же я, без роду без племени? Откуда, по-твоему, я взялся?! Каким образом я появился на свет?!

Генрих Иванович перебирал перышки пальцами, затем ухватился за одно и дернул его. Перышко легко поддалось, проскользнуло между пальцев и, медленно кружась, стало падать на осенние листья. Полковник подхватил его возле самой земли, сжал в ладони, а затем, бережно расправив, спрятал в портмоне между бумажных денег.

— Из-за этих твоих бумаг я пошел на преступление! — продолжал Шаллер. — Я покрываю убийцу! Я покрываю его только потому, что он единственный может расшифровать все то, что ты написала!.. Ответь мне, что происходит?! Ради чего ты все это пишешь?! Ведь я мучаюсь в недоумении!

Белецкая не отвечала. Она сидела все в той же позе и кукольно хлопала глазами.

— Ответь же мне! — закричал Генрих Иванович. — Ответь, сука!!! Я воткну тебе в спину длинную спицу, чтобы она убила твое сердце!!! Ответь же!

Полковник схватил жену за плечи и в отчаянии стал трясти ее так, что голова Елены стучалась о ее же плечи.

— Ответ!!!

Неожиданно Белецкая заплакала. Она завывала так отчаянно, что полковник испугался и отпрянул.

— А-а-а-а! — голосила Елена.

Шаллер стоял чуть в стороне и, оцепенев, смотрел на рыдающую жену. Чем больше он ее разглядывал, тем более испытывал желание. Одновременно он анализировал причины возникновения эротического настроения в столь неподобающее время, в столь необыкновенной ситуации.

Генрих Иванович медленно приблизился к Елене, положил свои большие ладони ей на плечи, стал поглаживать их, с каждым разом все напористее, с молодежавой страстью. Его пальцы проникли под выпцветшее платье со стороны подмышек, слегка царапнувших его кожу поросль, ухватились за маленькие грудки, сжали мягкие соски...

Елена перестала завывать и просто сидела с чуть приоткрытым ртом, уставясь большими глазами в пустоту.

Генрих Иванович подхватил жену на руки и положил ее тут же, на ворох кленовых листьев, мумифицированных в своем многоцветии. Белецкая не сопротивлялась, но и никак не реагировала на ласки мужа, глядя на лунную половинку, повисшую между корявых яблоневых веток.

Шаллер задрал платье жены до самого подбородка и проник в ее бесцветное тело с напором молодого жеребчика...

Позже, сидя на веранде, хлебая липовый чай и просматривая газеты, полковник наткнулся на маленькую заметку в еженедельнике „Курьер“, рассказывающую о странном пациенте доктора Струве. Молодой кореец обратился к врачу с жалобами на то, что у основания его черепа выросли перья, похожие на куриные. Доктор Струве не смог прокомментировать этот факт, ссылаясь на то, что науке такие прецеденты неизвестны.

Генрих Иванович отставил чашку с чаем и, сняв те-

лефонный рожок, попросил телефонистку соединить его с г-ном Струве.

— Да мало ли чего с корейцами бывает, — сказал медик. — Это же корейцы — таинственный народ!.. Впрочем, факт так или иначе достойный любопытства!.. Как себя чувствует госпожа Елена?

— Спасибо.

— Старайтесь ее беречь! — И мысленно Струве добавил: „Для меня“.

Все последующие дни Шаллер усиленно размышлял над тем, как так могло случиться, что его фамилия не фигурирует в списках Белецкой. У него подчас возникали любопытные теории, например, что он человек Вселенной и поэтому его душа не зафиксирована в мирских списках, а значится где-то в космических анналах. В такой момент к Генриху Ивановичу возвращалось спокойствие, и он подолгу играл двухпудовыми гирьками, подбрасывая их к потолку, а затем подставляя спину так, чтобы железяки приземлялись между лопаток.

Но иной раз полковник вдруг пугался, что его теории ошибочны, что это волюнтаризм жены лишил его фамилию права на существование в летописи или что он, Генрих Иванович Шаллер, вовсе не существует в этом мире, что он нечто сродни Летучему Голландцу: вроде видим, а на самом деле — оптический обман. В такие минуты, лелея свое депрессивное состояние, он уходил к китайскому бассейну и часами сидел в нем, словно кабан, загнанный в воду кусающим гнусом.

В один из таких дней, напоенных меланхолией, около бассейна появился Джером. Он сел на корточки возле самой головы Шаллера, покоящейся на бортике, и долгое время молча наблюдал, как минеральные пузырьки щекочут тело полковника.

— Фигово? — спросил подросток, разглядывая гени-
талии Генриха Ивановича, искривленные слоем воды. Они казались мальчику втрое меньше обычного.

— Что? — спросил полковник.

— Плохое настроение?

- Ты давно здесь?
- Я?.. Минут пять сижу.
- Я не слышал.

Джером не спеша разделся и спустился в воду рядом с Шаллером.

- Никак не могут найти убийцу Супонина!

Генрих Иванович ничего не ответил.

- Тебе не скучно?

- Почему ты спрашиваешь? — удивился полковник.

- Потому что мне кажется, что тебе не скучно.

- Да, я не скучаю.

- Как ты думаешь, скучают ли животные?

- Право, не знаю.

— Я не спрашивал, знаешь или нет, мне интересно, что ты думаешь. Вот лоси, например?

- Думаю, что нет, — ответил Шаллер.

— И я так думаю. Грустить могут, а вот скучать — нет. Ты бы хотел стать лосем?

Генрих Иванович расхохотался так, что к противоположному бортику пошла волна от его сотрясающейся груди.

— Ты чего ржешь! — обиделся Джером. — Чего смешного!

— Прости меня, это я так! — сквозь смех отвечал полковник. — Лосем, говоришь!..

— Почему люди бывают иногда такими омерзительными?

— Прости!.. Ну а чего, можно и лосем... Лосем даже интересно!..

— Ты похож на борова! — сказал сердито Джером. — Тебе никогда не стать лосем! — И, оттолкнувшись ногами от дна, поплыл по-собачьи на середину бассейна.

— Будешь тонуть, не спасу! — со смехом пригрозил Шаллер.

— Да пошел ты! — огрызнулся мальчик и, всем ртом хлебнув воды, заколотил руками по поверхности.

Полковник поймал его за ногу и притянул обратно к бортику:

— Не суетись.

— Чего хватаешься!

— Могу отпустить, — сказал Генрих Иванович и отпустил. Джером тут же пошел ко дну.

— Да ты меня утопишь! — закричал он, выныривая.

— Как котенка, — подтвердил полковник и слегка ткнул ладонью макушку Джерома, словно мячик.

Мальчик вновь погрузился под воду, а вынырнув, что есть мочи заорал:

— Да ты чего!!! Совсем озверел, боров проклятый!

— А ты не груби! — И вновь шлепок по голове, как по мячику...

Позже, когда мальчик окончательно отдышался, они беседовали, упершись спинами в стенку бассейна.

— Я не боюсь смерти, — говорил Джером.

— Потому что она далека от тебя, как... — Генрих Иванович запнулся. — Как Млечный Путь от Земли.

— Никто не знает, как далека от него смерть, — возразил Джером.

— Это — философия. Вероятность того, что ты проживешь намного дольше меня, гораздо выше, нежели та, что твоя смерть придет раньше моей.

— Ты ошибаешься.

— Почему?

— Ты же знаешь, кто убил Супонина?

— Тебя не убьют.

— Откуда такая уверенность?

— Потому что я не позволю этого.

— Ты самонадеян.

— Нет, я уверен.

— Ты зависишь от него?

— От кого?

— От убийцы.

— ...

— Ты чего-то ждешь от него. Он что-то делает для тебя. Я чувствую... И пока он не доделает этого, ты в его власти. Я прав?

— Ты не умрешь.
— Он недавно опять избил меня.
— За что?
— Ведь я убиваю кур. Пришел отец Гаврон и пожаловался на меня. Он меня и избил.

— Почему ты убиваешь кур?
— Честно?
— Хотелось бы.
— Понимаешь, я сам не знаю... Какое-то влечение... Я сам сначала боялся, что это нездоровое чувство. Но потом я представил, что убиваю кошку, собаку, человека... Ничего такого приятного... Только куры... Я их ненавижу! Сворачиваешь голову — и облегчение...

— Поплаваем?
— Не хочется что-то... Ты знаешь, когда я сегодня пришел сюда, мне показалось, что в бассейне убывает вода. Видишь полоску темную на бортике?

— Вижу.
— В прошлый раз вода доходила до нее. Это ее след.
— Сухо. Вода и испаряется.
— А как твои женщины?
— Никак.
— Что, старый стал?
— Наверное.

Они некоторое время помолчали, щуря глаза от солнца.

— Кого он убьет следующего? — спросил Джером.
— С чего ты взял, что он будет убивать?
— Это ты ему ребра сломал?
— Было такое.
— В его глазах — желание...

Генрих Иванович ничего не ответил, выбрался из бассейна, растерся полотенцем, махнул Джерому рукой и пошел своей дорогой.

— Испаряется бассейн, — сказал Джером, глядя на полоску, свидетельницу предыдущего уровня...

Лизочка Мирова собиралась ложиться спать. Она сидела перед зеркалом в шелковом пеньюаре, подаренном ей г-ном Туманяном, и неторопливо расчесывала волосы. Она делала это уже сорок минут и размышляла по-девичьи.

„Как все в жизни переплетено, — думала девушка. — Ах, какие витиеватости уготовливает судьба! Ждешь одного, а случается другое. И подчас это другое гораздо приятнее и лучше, нежели то, чего ты ждала. Причудлива жизнь!”

Лизочка наконец отложила в сторону гребень, полюбовавшись пушистостью своих волос в зеркале, скинула с себя пеньюар, оставаясь в ночной рубашке, и легла в постель.

Генрих Иванович Шаллер ласкал ее на этой кровати. Здесь, в этой комнате, он сделал ей впервые больно, отобрав то, без чего девушка становится женщиной. В этой же комнате он причинил ей еще бóльшую боль, отвергнув любовь.

„А была ли любовь? — задумалась Лизочка. — Поди разберись сейчас!..”

После, в этой же комнате, уже совсем по-другому, купец Ягудин любил ее тело и клялся душными ночами, что любит и душу. Но строитель счастья Ягудин разбился в своем единственном порыве взлететь и, вероятно, любил этот порыв гораздо более, чем Лизочку.

„Интересно, как же будет с господином Туманяном? — прикинула девушка. — Как долго продлятся их

отношения и к чему они приведут?.. Ах, он очень мил и, вероятно, мог бы стать приятным мужем!.. Да что об этом думать! Сколь ни думай, жизнь все равно распорядится по-иному..“

Девушка зевнула, прикрыв рот розовой ладошкой. Господин Шаллер ласкал Франсуаз Коти, господин Ягудин ласкал Франсуаз Коти, господин Туманян наслаждался ею, и все трое также питались ее, Лизочкиным, телом. Плохо ли это?.. Наверное, не плохо и не хорошо. Так, вероятно, в жизни всегда. Жизнь — она как роза ветров. Есть Юг и Север, как Добро и Зло. Но есть и восток и запад, есть юго-запад и северо-восток. Скорее всего, нет абсолютного Добра и нет абсолютного Зла. Есть юго-запад и северо-восток. Ну, и другое, в таком же духе!..

„А что же другое? — спросила себя Лизочка и не нашлась что ответить. — Ах, я окончательно запуталась в географических понятиях!”

Девушка еще раз зевнула — протяжно и сладко, закрыла глаза и почесала перед сном грядущим свою нежную шею возле основания черепа. Она почесалась и тут же решила, что с кожей что-то не то. В том месте, где обычно пробивались самые нежные волоски, которые любил перебирать полковник Шаллер, сейчас нащупывалось что-то постороннее.

Еще не слишком волнуясь, Лизочка выбралась из постели, включила ночник и вновь села перед зеркалом. Она забрала в кулак волосы сзади и приподняла их к макушке, стараясь заглянуть на затылок. Ей это не удалось... Как бы она ни поворачивала шею, все видела только свой профиль... Пришлось взять в помощь зеркальце на длинной ручке, поднести его к затылку и повернуть голову так, чтобы отражение на ручном зеркальце попало на зеркало трюмо.

— Ах! — вскрикнула Лизочка, рассмотрев свой затылок. — Ах! Ах! Ах! — еще раз вскрикнула она троекратно от ужаса.

В беспамятстве своем девушка перебудила весь дом,

бегая по коридорам и крича так отчаянно, как будто за ней гнался нечеловек. Ее вскоре поймали и всяческими снадобьями пытались успокоить. Девушка и подышала нашатырем, и глотнула отвара мяты... Но лишь обильные слезы с частичками души сделали свое дело и лишили ее сил.

Лизочка сидела в спальне матери, опухшая от слез. Ее тело содрогалось от спазмов, а ночная рубашка, разорвавшаяся где-то от безумного бега, обнажила вздымающуюся грудь.

„А у нее одна грудь меньше другой! — заметила Вера Дмитриевна, мать Лизочки. — Господи, о чем же я!.. У нее перья на шее растут, а я про грудь!“

— Успокойся, милая! — строго произнесла она. — Сейчас приедет доктор Струве и во всем разберется!

— В чем разберется?! — истерично спросила Лизочка.

— Ну в этих, как их... — не решалась произнести вслух мать. — В перьях!

От этого мерзкого слова девушка опять зарыдала что есть мочи.

— Перестань! Перестань рыдать и возьми себя в руки! Ничего страшного не происходит!

— Ничего страшного! — возмутилась Лизочка. — И ты, моя мать, считаешь, что не произошло ничего страшного!

— А что, собственно, страшного такого! — повысила голос Вера Дмитриевна. — Подумаешь, перышки! Эка невидаль!.. А ты знаешь, дорогая, что у многих женщин на ногах волосы растут!.. Да что на ногах! И на груди тоже!.. А у тебя вон какая славная грудка!.. Если доктор Струве не поможет, попросту сбреешь свои перья, и дело с концом! Нечего истерики разводить, не девочка уже!

— Что ты несешь, мама!

— А что?! Я с восемнадцати лет ноги брею, если ты уж так хочешь знать!

— Дура!!! — в сердцах вскричала Лизочка. — Какая ты, мама, дура!!!

Вера Дмитриевна поняла, что перебрала со своими успокоениями, и решила помолчать в ожидании доктора Струве. Она взяла со столика поэтический сборник какого-то французика, раскрыла его наугад и погрузилась в зарифмованные слюни романтизма.

Вскоре приехал доктор Струве и немедленно прошел на женскую половину.

Все время в ожидании врача Лизочка провела в оцепенении и была похожа на насекомое, усыпленное эфиром и приколотое булавкой.

— Закройся! — мягко сказала Вера Дмитриевна дочери, когда доктор Струве вошел в спальню.

Девушка как бы нехотя, словно ее нагая грудь была чем-то само собою разумеющимся и незначащим, запахнула рубашку и посмотрела на врача рассеянно.

— Ну-с, дорогие дамы, что стряслось? — спросил эскулап, стараясь придать выражению своего лица этакую добродушность и иронию человека, повидавшего на своем веку многое. Впрочем, оно так и было.

— Ничего особенного не произошло, — ответила Лизочка. — Просто я превращаюсь в курицу.

Доктор с недоумением посмотрел на Веру Дмитриевну.

— Ну, перышки у нее выросли на шее, — пояснила мать. — Несколько маленьких мягких перышек. А она так разволновалась, как будто пожар в доме!

— Позвольте-с поглядеть.

Доктор Струве зачем-то раскрыл свой саквояж и, покопавшись в нем, вытащил пузырек со спиртом, потом спрятал его обратно и подошел к Лизочке. Он осторожно приподнял волосы девушки, любясь ими — тяжелыми и красивыми, затем коротко взглянул на основание черепа, кивнул головой и опустил волосы на плечи.

„Однако она не кореец!“ — подумал про себя врач, а вслух сказал:

— И ничего-с страшного! Обыкновенный атавизм! Знаете ли, так бывает, что человек иной раз рождается с хвостиком или со сросшимися пальцами на ногах. Это

означает, что мы произошли от животных и природа напоминает нам об этом! Так что нечего волноваться!

— И я говорила — ничего страшного! — обрадовалась Вера Дмитриевна, подошла к дочери и обняла ее. — Я твоя мать и обязательно бы почувствовала, что происходит что-то нехорошее. А я этого не почувствовала!

Лизочка от слов доктора, казалось, очнулась. Она хлопала глазами и смотрела на Струве, ожидая, что тот еще что-нибудь скажет успокаивающее и ее страх рассеется окончательно.

— Это еще что! — начал эскулап, почувствовав важность минуты. — Был у меня пациент, простите меня за подробности, с шестью сосками на теле. Вот это было горе! И то помогли — удалили с помощью хирургического вмешательства.

— Ах, бедный! — посочувствовала неизвестному Вера Дмитриевна.

— А еще бывают люди с двойными половыми признаками! — добавил доктор.

— Это как это?! — спросила Вера Дмитриевна, слегка покрасневшись.

— Есть и мужские половые органы, и женские! Вернее, зачатки их. Гермафродитами называются такие особи!

— Ужас какой!

— Так что, Елизавета Мстиславовна, ваши перышки — сущая пустяковина по сравнению с тяготами человеческими!

— А что мне с ними делать? — спросила Лизочка, испытывая к доктору почти родственные чувства.

— Забудьте о них! Они же вам не мешают?

— Вроде бы нет.

— Ну так и нечего волноваться!

Лизочка хотела было спросить, как объяснить г-ну Туманяну такой пернатый атавизм, но не решилась афишировать свою личную жизнь скорее перед матерью, нежели перед доктором, а потому промолчала.

— Ну-с, а теперь позвольте откланяться! — поднялся из кресла доктор Струве. — Насыщенный был день, а потому смерть как хочется спать!

— Не знаем, как вас и отблагодарить! — сказала Вера Дмитриевна в дверях.

— Не мучайтесь, я пришлю вам счет, — улыбнулся эскулап и ловко сбежал по ступеням к своему авто.

В первой половине следующего дня доктор Струве принял трех пациентов, которые были крайне встревожены проросшими у основания их черепов перьями. Они настаивали на том, что медицина обязана дать ответ, как излечить этот странный недуг, но вместе с тем просили не раскрывать их фамилий общественности, дабы не стать гонимыми. Во второй половине дня доктор обследовал еще шестерых с теми же самыми симптомами. Среди заболевших была одна женщина, которая истерично требовала немедленно удалить эту гадость с ее шеи, а иначе она покончит с собой, кинувшись с Башни Счастья на головы прохожих. Доктор, как мог, успокаивал бедную женщину, уговаривая ничего такого смертельного не предпринимать, а просто обождать с неделю, так как, по его мнению, перья должны вскоре отвалиться сами. В конце рабочего дня опытный врач признался себе, что в городе имеет место быть начало эпидемии. Чем грозит эта эпидемия населению, каковы будут ее последствия — ничего этого г-н Струве прогнозировать не мог. Он заметил, что сам то и дело трогает свой загривок, ужасаясь обнаружить на нем куриные перья.

Утром следующего дня доктор Струве был вызван в дом губернатора, где обследовал главу города на предмет прорастания перьев в области шеи.

— В городе эпидемия! — сообщил врач губернатору Контате, закончив осмотр. — Вы тоже больны.

— Сколько мне осталось? — спросил Контата, и в голосе его слышалось мужество.

— Дело в том, что я еще ничего не знаю об этой болезни. Вероятно, это заболевание не грозит самой жиз-

ни, а носит лишь внешний характер, проявляясь только прорастанием перьев. Будем надеяться, что это так. Во всяком случае, с момента начала эпидемии прошло слишком мало времени, чтобы сказать что-то определенное... — Доктор пожал плечами. — Наберитесь терпения, я буду делать все возможное.

Гораздо болезненнее воспринял случившееся с ним митрополит Ловохишвили. Он метался по комнате и причитал:

— Это кара Господня!.. Где же я согрешил, где виноват перед Господом?!

— Не стоит так себя бичевать! — успокаивал доктор Струве. — Почему кара Господня?.. Может быть, это испытание?!

— Ах, оставьте!.. — всплеснул руками митрополит. — Бог уже испытал человека! Уж он знает, на что способен homo sapiens! Это — кара! Я вам говорю! Поверьте мне! Кара!!!

В последующую неделю к доктору Струве обратилось сто шестьдесят три пациента с симптомами „куринной болезни“. Половина из них — простой люд — реагировали на обрастание перьями довольно спокойно, не пеняя на Бога, а лишь просили врача скорее разобраться с проблемой, стимулируя мозг г-на Струве денежными ассигнациями. Другая половина, более состоятельная, отнеслась к эпидемии как к национальному бедствию или катастрофе, а потому денег доктору не платила. Г-н Персик, например, произнес перед эскулапом целую речь, смысл которой сводился к тому, что он непременно будет ходатайствовать перед городским советом о выделении средств на локализацию эпидемии, так как не может спокойно взирать на тяготы народные.

Безусловно, информация об эпидемии просочилась в газеты, которые стали выходить с сенсационными заголовками, такими, как: „Мы превращаемся в кур“ или „Опалите свою шею над газовой горелкой!“. Газета поручика Чикина „Бюст и ноги“ опубликовала ряд материалов эротического звучания. Один из них, под названием

„Девушка в перьях“, рассматривал проблему эпидемии как нечто новенькое в сексуальном облике человека.

„Ах, как приятно ласкать шею любимой, чувствуя под пальцами шелковистые перышки! — писал поручик. — Но насколько было бы приятнее, если бы перья проклюнулись и на груди! Ах, ах, ах!.. Верхом же блаженства случилось бы то, если бы и на лобке прекрасной одалиски вместо черных кудрявых волос произросли чудесные белые крылья, унося в поднебесье одинокий несчастный член!“

За эту скабрезную статейку поручика Чикина избили его же читатели, прежде с удовольствием смаковавшие фантазии журналиста. Но в этой ситуации, когда „куриная болезнь“ с каждым днем роднила все большее количество пуритан с развратниками, касаясь всех без различий, статейка вызвала взрыв возмущения, и поручик был жестоко побит камнями. Затем его обмазали дегтем и извалили в куриных перьях. Мол, нечего измываться над больными! В течение последующих двух дней обесчещенный поручик бегал нагишом по окрестным холмам и усиленно кукарекал.

Мучения Лизочки Мировой оказались напрасными. Через две недели после начала болезни она встретила с г-ном Туманяном и в момент соития нащупала на его шее точно такие же белые перышки, как и у нее самой. В самый ответственный для г-на Туманяна момент девушка неистово захохотала, ее лоно сжалось в судорогах, и скотопромышленник испытал невероятное наслаждение.

„Какая девушка! Какая удача!.. А не жениться ли мне?“ — подумал он, чувствуя скользящие ноготки на своей груди.

Лизочка испытывала по отношению к судьбе чувство благодарности, а потому с душой ласкала своего любовника. По телу г-на Туманяна бежали мурашки блаженства...

Гераня Бибиков возвращался в интернат украдкой, всматриваясь в темноту. Несмотря на некоторую боязнь ночи, настроение его было приподнятым. Сегодня ему удалось проследить за Джеромом, и теперь он спешил поделиться увиденным с г-ном Теплым. Бибиков предвкушал, как учитель выйдет из себя, немедленно вызовет Ренатова и на его, Герани, глазах произведет экзекуцию ремнем, а еще лучше кулаками в самую морду. От представленной картины Бибиков ускорил шаг, а затем и вовсе пошел вприпрыжку, блаженно улыбаясь.

Неожиданно возле самого интерната мальчик споткнулся о какой-то корешок и упал лицом в сырую землю. Впрочем, он не очень от этого расстроился, а постарался скорее подняться на ноги и продолжить свой путь.

— Бибиков? — услышал Гераня за спиной вопрос, заданный почему-то шепотом. — Ах, Бибиков!..

Мальчик испугался так, что подкосились ноги, а в животе шарахнуло холодом. Он повернулся на голос и узнал своего учителя.

— Ох! — произнес Гераня. — Господи, ну и напугали вы меня!.. Ох!.. Фу!.. Чуть струю не пустил!..

— Чем же это я вас напугал? — спросил Теплый, подходя вплотную к мальчику.

— Да это я от неожиданности!.. Вообще-то я не трус, вы же знаете, мой отец — герой войны! Но и герои иногда боятся!.. Я, кстати, вас ищу!

— Меня?! — удивился Гаврила Васильевич.

— Ага.

— Зачем?

— Надо что-то решать с Ренатовым! — деловито сказал Бибииков. — Это уже ни в какие ворота не лезет, в самом деле!

— Да?.. А что такое? — участливо поинтересовался славист и, взяв его под руку, повел от интерната в сторону самой глубокой темноты.

— Ну я все могу понять, все простить! — с пафосом продолжал Гераня. — Но садизм, простите меня!

— Так-так! — поддержал Теплый.

— Этот Ренатов сегодня на моих глазах свернул шеи дюжине кур! Как это, по-вашему, называется?!

— Да-да...

— За это нужно карать, немилосердно искоренять такие вещи! — почти прокричал Бибииков, но тут почувствовал на своем рту учительскую ладонь, пахнущую какой-то гадостью. Его глаза недоуменно раскрылись, он замычал что-то нечленораздельное, стараясь вздохнуть, и в ту же секунду понял, что смерть совсем уже рядом и что он вскоре встретится со своим отцом, героем войны, павшим в боях за Отечество.

— Геранечка, ах, Геранечка!.. — страстно зашептал Теплый. — Да что же ты так перепугался? Не надо так меня бояться. Разве я страшный такой? Да ты посмотри на меня внимательнее!

Силы оставили Бибиикова. Он безмолвно вращал глазами, пуская слюни между пальцев учителя, накрепко сжимавших его пухлый рот.

— Ну что же ты, милый мой, так колотишься? — с неистовством шептал Гаврила Васильевич. — Взгляни, какое красивое небо! Какое безмерное количество звезд смотрит на тебя!.. — Теплый склонился к самому уху Бибиикова, почти касаясь его губами. — А насчет Ренатова ты абсолютно прав. Садистов надо искоренять безжалостно! Ишь ты, курам шеи сворачивает! Поверь мне, я тебе клятвенно обещаю принять меры!.. Можешь умереть спокойно, я расправлюсь с Джеромом.

Тело Герани слегка дернулось, он совсем обмяк в учительских объятиях, смирившись с обстоятельствами, но тут в его мальчишеском мозгу возник славный образ отца-героя, чья грудь, от погон до ремня, была забронирована орденами и медалями. Бибилов-младший собрал все свои силы и, напрягши ляжку, пнул мыском ботинка под самое колено слависта. От неожиданности и резкой боли в ноге Гаврила Васильевич взвыл, клал зубами и чуть было не выпустил мальчишку из своих объятий. В бешенстве он вырвал из кармана нож и отчаянно полоснул им по толстой шее Герани, рассекая горло от одного уха до другого. Хлынула кровь, разбрызгиваясь в разные стороны, как вода из лопнувшей трубы, труп мальчика рухнул в траву, а Теплый стоял над ним, широко расставив ноги, и трясся в гневе от того, что все так быстро кончилось...

Все же ему особенно хорошо работалось в эту ночь. Мысль протекала спокойно и плавно, а количество исписанных листов аккуратной стопочкой ласкало глаз. В кухне, на полке в миске, лежали сердце и печень, а также куриные перышки, выдранные в сердцах Теплым из затылка Бибилова.

Позже, лежа в своей постели, Гаврила Васильевич вдруг отчаянно загрустил. То ли боль в ноге, то ли еще какой дискомфорт заставили его почти заплакать. Теплый вдруг задумался, отчего он всю жизнь гоним, отчего так нелюбим окружающими и почему ему ломают ребра, а также бьют под коленную чашечку. Ответ пришел скоро — страдают лишь те, кому положено страдать. Муки, они как разные химические жидкости, слившись воедино, дают свой результат. „Результат моих мук, — решил славист, — это вспышки прозрений, мое Лазорихино небо, мой гений“. Теплый заплакал, осознав, что за гений нужно платить страданиями.

— Я не хочу быть гением! — зашептал он, садясь в кровати. — Я хочу быть обычным человеком! Я не хочу страдать и мучиться ради двух строчек откровений, которые нужны вовсе не мне, а кому-то другому, кого я не люблю, кого я отчаянно ненавижу!..

Слезы заливали лицо учителя, он размазывал их по щекам и смотрел в потолок, стараясь получить какой-нибудь знак, какое-нибудь успокоение оттуда, откуда к нему приходили страдания.

— Ах, я хочу быть пахарем! Вставать ежедневно в пять утра, запрягать лошадь и идти за плугом навстречу солнечному дню. Я хочу так уставать в работе, чтобы испытывать физическое изнеможение и засыпать как убитый!..

Слегка успокоившись, Гаврила Васильевич решил, что работа пахаря — не лучший выход из положения. Славист также признался себе, что желание быть землепашцем — все же кокетство перед самим собой, что быть гением, хоть и непризнанным, гораздо приятнее, чем копать в черноземе.

— Я докажу вам! — затряс кулаками Теплый. — Вы у меня все поймете, кто я таков! Время всех расставит по своим местам! Уж поверьте!..

Он вскоре заснул сном пахаря. В эту ночь ему ровно ничего не снилось. Но в это же время, быть может, небеса готовили ему новые страдания, новые изысканные мучения души, дабы стимулировать то дарование, которое Гаврила Васильевич называл гением.

„Во времена монгольского нашествия, кольцом блокады сковавшего Чанчжоз, городское население потеряло от голода половину своего живого веса. Особенно тяжело недоедание сказалось на Протуберане. Только что родившая и нуждающаяся в усиленном питании, она очень мучилась и страдала от отсутствия пищи. В ее грудях кисли капли калорийного молока; она решила его сцеживать и, преодолевая отвращение, пила дважды в день из маленькой кружечки. В эти минуты ее лицо, волосы, плечи ласкали порывы прохладного ветерка, забиравшегося через отворенную форточку. Свежие и чистые, они несли с собою запахи далеких стран с их цветами и фруктами, с криками базарных торговков, мангальщиками, крутящими шампуры с дымным шашлыком, морем, накатывающим на белый песок, вздохами влюбленных, прячущих свои обнаженные тела за скалами, со всем тем, что способно вызвать в человеке чувство ностальгии по безвозвратно утерянному прошлому. В такие мгновения из глаз Протубераны катились слезы, которые, впрочем, тут же испарялись благодаря все тому же ветерку; молодая женщина безмерно грустила, не понимая своего предназначения и недоумевая, чья же воля забросила ее в этот город.

Шло время. Обстановка не менялась. Монгольское войско по-прежнему окружало город, и каждый выживал, как мог. Из грудей Протубераны исчезли последние капли молока, соски истрескались, и молодая женщина поняла, что скоро наступит ее конец.

Нарядившись в платье, которое она носила, будучи беременной, Протуберана вышла из дома и побрела на окраину города. Там, на холме, за которым маскировалась в тумане монгольская орда, она встала на самую высокую его точку, опершись спиной о высохший дуб, и простерла руки к небу.

— Ты мой сын, — тихо сказала она. — Любим ты мною или нелюбим, долгожданный или ненужный, но я твоя мать, и ты должен помочь мне. Я страдаю, и со мною мучаются тысячи людей. Это нужно изменить!

Протуберана увидела, как после ее слов возле самых ног закружился маленькой воронкой песок.

— Помогите. Ценою моей жизни — помогите!

Ветерок забрался по ее ногам под юбку и надул платье колоколом. Он безобразничал, словно подросток — терся об ягодицы, холодил впалый живот и забирался в самое лоно, как будто желал укрыться в нем от жизненных невзгод. Протуберана не сдержала улыбки и хлопнула ладошкой по животу, выгоняя из себя шаловливые порывы.

— Так можешь ты помочь мне?! — спросила она. — Или ты еще настолько глуп, что способен лишь на бабство?! Есть ли в тебе силы, чтобы разогнать наших врагов?!

После своего вопроса Протуберана вдруг почувствовала, как завибрировал за ее спиной ствол старого дуба, как напряглась его вековая кора. Она успела только шарахнуться в сторону и едва не сорвалась с холма.

Какая-то могучая сила вырвала столетний дуб из земли, словно сорную траву, закружила его цирковым эквилибром, затем кинула в поднебесье играючи, а после опустила в свободном падении на землю. Сухое дерево с грохотом рухнуло и раскололось на части, взметая взрывом комья чернозема. Полетели в разные стороны щепки, и одна из них, самая маленькая, самая ничтожная, вонзилась острием в висок Протубераны. Молодая женщина потрогала голову, увидела на пальцах капельки крови, опустилась в сухую траву, легла и, произнеся слово „ребенок“, умерла.

На какое-то мгновение все в природе замерло. Смолкли птичьи голоса, полегшая от ветра трава вы-
прямилась, даже плывущие по небу облака остановили
свой бег. Возле головы мертвой Протубераны крутился
волчком маленький вихрь. Он засасывал в себя пряди
материнских волос, лаская их, спутывая и распутывая,
как будто хотел разбудить случайно заснувшую женщи-
ну. Скользнула в завихрение маленькая капелька крови
с виска Протубераны и закрутилась в воронке, уходя в
самое ее основание. Движение вихря замедлилось, он
улегся возле бледной щеки матери и тонко запищал,
будто плакал.

Прошло еще несколько времени. Тело Протубераны
остыло, отдав все свое тепло земле. Вихрь оторвался от
материнской щеки и, убыстряя свое кружение, взлетел
ввысь. Что-то треснуло в поднебесье, разорвало тишину
грохотом, и жители Чанчжоэ увидели, как в предме-
стье города, между небом и землей, образовался длин-
ный стержень смерча. Черный своим нутром, пугающий
безмолвной завертью, он двинулся на становище мон-
гольского войска и разметал его по бескрайней степи.

— На все нужно везение! — сказал Бакши-хан, пред-
водитель монгольский, взлетая выше самых высоких
деревьев. — Нам не повезло! — и рухнул замертво на
землю, расколов себе череп о камни.

Но на том дело не кончилось. В глупости своей смерч
налетел на город и покалечил в нем многих, поломав и
залив селевым потоком множество строений. Среди по-
гибших оказался и полковник Бибилов. Его нашли без-
дыханным в какой-то яме с проткнутой копьем грудью.

— Копье — монгольское! — определил генерал Блу-
янов. — Видать, лазутчика прозевали!

После ураганного ветра, когда все успокоились, в го-
роде запахло пряным.

— Чувствуете, сладким пахнет! — сказал прохожий
прохожему. — Так пахнет только в свободном городе!
Мы — свободны! Провидение помогло нам, потому что
правда была на нашей стороне!

В Чанчжоз в тот же вечер прошли праздничные гулянья. И хотя в городе практически не было еды, всем было весело и заснули горожане только на рассвете.

— А все-таки мы победили! — сказал сам себе перед сном губернатор Контата. — И воздух напоен победой!

— Ладаном пахнет, — определил наместник Папы митрополит Ловохишвили, снимая с себя церковные одежды. — Божественное провидение!

„Булочками медовыми пахнет“, — подумал про себя г-н Персик, засыпая.

Когда в городе все заснули, когда отлаяли за победу собаки, сладкие запахи в атмосфере сгустились и, разносимые легким ветром, попали в ноздри каждого жителя, спящего в своей кровати или на сеновале, каждой твари, задремавшей под изгородью.

На следующее утро все жители Чанчжоз, разбуженные солнцем, потеряли способность вспоминать. Не то чтобы они лишились памяти, нет, просто воспоминания не тревожили их души. Они помнили, что нужно починить забор, пойти на работу, напоить молоком ребенка, но то, что еще вчера город находился в осаде, что когда-то они кого-то любили, сгорая в страсти, горевали, теряя близких, — никто не вспоминал.

Из лексикона горожан исчезли такие вопросы, как: „А помните ли вы, десять лет назад?..“, „А помнишь ли ты, моя любимая, как я тебя обнимал в вишневом саду?..“, „Помнишь ли ты, мое сокровище, когда тебе было всего два годика, ты написал генералу на сапоги?..“.

В публичной библиотеке перестали спрашивать старые газеты. Они лежали на полках запыленные, желтея от ненужности. Уроки истории проходили в школах по-прежнему, но это была мировая история, в которой не оказалось места истории Чанчжоз. Город забыл свою историю.

Накануне сладкого ветра мадмуазель Бибигон родила лейтенанту Ренатову ребенка, но так как мальчик появился в пограничное с воспоминаниями время, мать и

отец забыли о нем, оставив в родильном доме. Таких „сирот памяти“ впоследствии оказалось множество, и через некоторое время власти приняли решение открыть сиротский дом-интернат, которому впоследствии было дано имя „Графа Оплаклина, павшего в боях за собственную совесть“.

Как-то в субботу мадмуазель Бибигон молилась в чайжозейском храме и задержалась в нем допоздна, прося Бога о снисхождении ко всем ее будущим грехам.

— Бог простит! Бог великодушен! — услышала она за своей спиной голос митрополита Ловохишвили. — Но Бог-то православный, и слышит Он голоса лишь православных.

— Я — православная, — ответила мадмуазель Бибигон.

— А имя у тебя иностранное, — огорчился наместник Папы. — И мадмуазелью ты называешься! Нехорошо!

— А что же делать?

— Менять! И тогда Бог услышит тебя.

— Я согласна.

Митрополит Ловохишвили обрадовался столь легкой победе и предложил своей прихожанке имя Евдокия.

— Хорошее имя.

— Ну и славно! Будешь теперь Евдокией. Дусей сокращенно!

— Тогда и отчество мне нужно.

— А как отец твой звался?

— Не было у меня отца.

— Ну что ж, — задумался митрополит. — Дам тебе имя моего отца. Красивое имя! Отца моего звали Андреем, и отныне ты будешь зваться Евдокией Андревной!

Таким образом и произошла Евдокия Андревна, жена лейтенанта Ренатова, впоследствии капитана в отставке“.

— Вот оно что! — воскликнул Генрих Иванович. — Ах, вот почему моего имени нет в летописях! Это ветер! Ветер, принесший дурман забвения!.. Господи, какая простая причина! А я мучаюсь, как глупый ребенок!

Полковник Шаллер ласково погладил страницы, присланные славистом Теплым, и в первый раз за долгое время расслабился.

Он ощутил блаженство человека, чей смертный приговор, вынесенный врачами, не подтвердился. Генрих Иванович с умилением разглядывал березовый лист, прилипший к оконному стеклу, любовался его медленным движением к карнизу и неумоимо повторял про себя: как прекрасна жизнь!

В приподнятости своей Шаллер даже испытал сексуальное желание и поискал в воображении объект, которому это желание наиболее соответствовало.

„Лизочка Мирова, — прикинул полковник. — Глупое и милое создание! Как хорошо, что ее жизнь обустроилась!.. А этот Туманян вовсе не промах! Как хорошая гончая, идет по моему следу. Сначала Франсуаз, а теперь Лизочка!..”

При воспоминании о Коти, ее крепком теле и природном бесстыдстве, Генрих Иванович определил предмет своих эротических фантазий. Впрочем, он не спешил совершить какое-либо действие, чтобы удовлетворить их. Ему было и так приятно, что живое всколыхнулось в нем и ищет своего выхода. На всякий случай Шаллер вообразил и Елену Белецкую и как человек, особенно

тонко чувствующий, крепко пожалел ее, но и испытал к жене чувство благодарности за то, что все наконец выяснилось, и теперь он точно знает, почему его фамилия не значится в списках проживающих в Чанчжоэ...

Чуть позже, наслаждаясь теплой водой в китайском бассейне, Генрих Иванович опять задумался о вечности. Он вспомнил свою давнюю теорию о бесконечно малых величинах и сейчас опять уверился, что человеческая жизнь бесконечна.

— Ах, как это здорово быть в чем-то уверенным! — громко сказал он. — Поистине здорово!

— Нельзя быть в чем-то уверенным! — услышал полковник голос Джерома.

— А, это ты.

— Я, — подтвердил мальчик.

— Так полезай в воду.

Джером не спеша разделся и спустился по ступенькам в бассейн.

— Видишь вторую полоску? — спросил он, указывая на противоположную сторону. — Вода опять убывает. Мельчает бассейн.

— Ты прав, — согласился Шаллер и подумал, что если бассейн пересохнет, жизнь станет менее приятной.

— Так в чем ты уверен? — спросил мальчик.

— Да так, это я о своем.

— Понятно... Знаешь новости?

— Смотря какие.

— У меня в городе нашлась масса сподвижников!

— В чем?

— Люди стали с удовольствием сворачивать курам шею.

— Причины ясны.

— Почему ясны?

— Потому что если у людей стали расти перья, то они не хотят, чтобы такие же перья были у кого-то еще!

— Это шутка?

— Совсем нет. Человек существо высшее, и он со-

всем не рад, что произошел от обезьяны. И если бы не было религии, то он бы ее обязательно выдумал, чтобы сочинить другую легенду о своем происхождении. Лишь бы не произойти от обезьяны. Так и в этом случае с перьями. Может напроситься мысль, что мы произошли от кур!

Генрих Иванович заулыбался своей сентенции и, пряча улыбку, окунулся в воду с головой.

— Ты же знаешь, что я убиваю кур по другой причине! — сказал Джером, когда полковник вынырнул.

— Кстати! — воскликнул Генрих Иванович. — Я совсем забыл тебе сказать! Сегодня я получил доказательства, что ты действительно сын капитана Ренатова!

— Да? А ты в этом сомневался?

— Больше того, я знаю, кто твоя мать!

— Да?.. Интересно...

— Твоя мать — вдова капитана Ренатова, Евдокия Андревна Ренатова. Ты совсем не сирота, твоя мать жива!

— Хотелось бы узнать доказательства.

— К сожалению, пока я не могу тебе их привести. Но будь уверен: доказательства веские.

— Нет доказательств — нет уверенности! — сказал Джером, на некоторое время задумался и добавил: — Мать только та, которая воспитывает своего ребенка!

— Она бы тебя обязательно воспитала, но произошли в жизни такие обстоятельства, что у нее не было на это возможности!

— Какие такие обстоятельства?

— Я тебе скажу о них, как только смогу.

Джером опять замолчал. Он вспомнил толстую бабу, к которой его когда-то приводили на опознание и которая жалела его со слезами на глазах, предлагая усыновить. „Конечно же, она не моя мать, — решил мальчик и успокоился. — На кой хрен мне нужна мать!”

— У меня есть еще одна новость! — сказал Джером, решив для себя неожиданную проблему.

— Хорошая или плохая?

- Смотря для кого.
- Для тебя.
- Для меня хорошая.
- Говори.

— Был у меня одноклассник. Бибиков была его фамилия. Очень я его не любил!.. Так вот, Бибиков лежит сейчас в морге с перерезанным горлом и выпотрошенный, как рыба перед жаркой. И перья ему выщипали с затылка. Вот такая новость!.. Как эта новость для тебя? Хорошая или плохая?

Джером увидел, как лицо Генриха Ивановича побавровело, как сжалось в пружину могучее тело атлета.

- Скоро и моя очередь.
- Откуда ты это знаешь? В газетах ничего не было!

— Будет... Спальня Бибикова находилась рядом с моею... К тому же я побывал в морге, конечно, нелегально. Надеюсь, ты меня не выдашь? — спросил мальчик и, получив в ответ утвердительный кивок, продолжал: — Я нашел холодильник, в котором он лежит. Он весь такой синий, у него вспорот живот до самых яиц. Мне даже стало его чуточку жалко. Но когда я представил, что то же самое вскоре будет со мною, то перестал ему сострадать... Кстати, у тебя растут перья?

- Что?.. Ах нет, не растут.

— И у меня не растут. А у других почти у всех проклюнулись.

Неожиданно полковник в одно движение выскочил из бассейна, натянул на мокрое тело мундир и обратился к Джерому:

— Не бойся, с тобою ничего не случится! Я тебе обещаю! Ах ты, Господи, что творится!

- А я и не боюсь. Чего мне бояться!..

Но Генрих Иванович уже не слышал своего приятеля. Он торопился по очень важному делу.

Оставшись один, Джером не спешил вылезать из теплой воды. Он с удовольствием следил за газовыми пузырьками, отрывающимися от его живота и всплывающими на поверхность.

„Все-таки он боров, — подумал про Генриха Ивановича мальчик. — Как медлительна его мысль. Ишь, какой он сегодня был самодовольный! Есть некоторая радость лишать человека уверенности в себе. Это как удар под дых...”

Джером проплыл до середины бассейна, а затем обратно.

„Однако пора посмотреть, что будет дальше, — решил мальчик, точно зная, куда направился его велико-возрастный приятель. — То-то будет развлечение!..”

— Гаврила Васильевич?..

— Кто там?

— Это я... Генрих Иванович, — ласково сказал полковник Шаллер в щель двери квартиры Теплового. Хотя тело его дрожало от возбуждения и ненависти, он все же старался придать своему голосу доброжелательность, дабы не спугнуть слависта.

— А разве вам не передали рукопись? — спросил Гаврила Васильевич. — Я послал ее с нарочным.

— Передали, передали. Просто я кое-что не сумел разобрать!..

— Странно... Что, почерк не понятен?

Генрих Иванович тихонько выругался.

— Почерк понятен, но смысл ускользает.

Наконец замок на двери щелкнул, и в проем, защищенный цепочкой, высунулась голова Теплового.

— Вы один? — спросил славист.

— Один, — подтвердил Шаллер и улыбнулся. — Я хотел бы просить вас ускорить работу. Если нужно, я заплачу двойную ставку.

Упоминание о деньгах лишило Гаврилу Васильевича бдительности. Он поспешно снял с двери цепочку и посторонился, пропуская полковника в комнату.

— Это крайне сложно — ускорить работу, но я постараюсь сделать...

Теплову не удалось досказать конец фразы. Кулак Генриха Ивановича угодил ему прямехонько в зубы,

превращая их в крошево. Гаврила Васильевич рухнул на пол срубленным деревом. Голова его каким-то образом оказалась под креслом, а руки и ноги подрагивали в такт бьющемуся сердцу. Он был далек от своего сознания. ~

— Скотина! — шипел Шаллер. — Выродок! Мразь!

В какой-то иступленной радости он наступил Теплому на дергающуюся ногу и покрутил по ней каблук сапога. Учитель не реагировал.

— Сучье вымя! — еще раз выругался Генрих Иванович, наконец уразумев, что Теплый лежит без сознания и не чувствует боли. — Не рассчитал! — огорченно проговорил он и сел в кресло, под которым лежала голова слависта. — Ничего, я дождусь, пока ты начнешь соображать снова! Надеюсь, это твой последний день!

Прошло несколько минут. Теплый не шевелился.

Полковник сидел в полной тишине и прислушивался к ней, улавливая ухом детские голоса, еле слышимые, доносящиеся как будто из другой жизни.

„Теплый живет в интернате, — подумал он. — Интересно, сколько детей в интернате?.. Сто? Двести?..“

Наконец Шаллеру надоело ждать, пока учитель обретет сознание. Он схватил его за ногу и выволок из-под кресла. Затем плеснул пригоршнями из питьевого ведра на развороченное лицо и криво заулыбался, наблюдая, как к Теплому возвращается сознание.

— Добро пожаловать в ад! — приветствовал он.

Теплый сел, ощупал свое окровавленное лицо и, уставившись на Генриха Ивановича, шепеляво сказал:

— Все-таки вы грубая скотина, Шаллер!

— Молчать!

— Вы выбили мне зубы!

— Сейчас я вам заново сломаю ребра! А потом руки в нескольких местах!

— Я закричу так, что сбежится вся округа!

— Ну что ж, тогда вас казнят прилюдно!.. И поверьте, казнь будет изощренной!

Теплый размазал кровь по лицу и сплюнул сукровицей прямо на пол.

— Я не буду скрывать, что вы с самого начала знали, что я убил Супонина! Интересно, как отнесется к этому общественность?.. Думаю, вам дадут еще один орден за героизм!.. — Гаврила Васильевич перевел дыхание. Ему трудно было говорить. — К тому же вы предполагали, что Супонин будет не последней моей жертвой! Не так ли?

— Гнида!

— Ругайтесь, ругайтесь!

— Недоумок!

— Это я-то недоумок?! — сквозь боль улыбнулся славист. — Господи, да вам бы хоть чуточку моего ума!.. Поди, вы такого высокого мнения о себе!.. А что вы, собственно говоря, из себя представляете такого?!

— Ну и что же?! — с угрозой в голосе спросил полковник.

— Будете бить?

— Непременно.

— Тогда мне терять нечего!

Охая и ахая, Теплый с трудом поднялся с пола и доковылял до стула. Он некоторое время устраивался на нем, а потом с минуту смотрел пронзительно в глаза Генриха Ивановича. Полковник выдержал этот взгляд.

— Вот вы считаете себя передовым человеком. Передовой человек, по моему мнению, это тот, кто мыслит по-новому, кто приносит пользу обществу! Пользу реальную, позвольте заметить. Быть передовым — не значит посещать балы и вечеринки, на которых так легко задурить высокопарными фразами девичьи головы!.. Поди, вы сами восторгаетесь своей способностью говорить умно! Наверняка вас посещают мысли о таинствах мироздания, от которых вы сами получаете наслаждение! Не так ли?.. Вы надеетесь, что ваши теории гениальны, что они позволят вам стать бессмертным, тешите себя надеждами, что какая-то неземная сила заметит ваш мыслительный прорыв и причастит вас вечности!.. Да фиг вам на постном масле!

Гаврила Васильевич сложил дулю и с наслаждением потряс ею возле физиономии полковника.

— Не дождетесь!.. Все ваши мысли гроша ломаного не стоят! Все это детские бредни — о бесконечности человеческой жизни, о Лазорихиевом небе, которое сопутствует величайшим открытиям! Никакой дверки вам не откроется! И не надейтесь!

— Откуда вы об этом узнали? — закричал Шаллер.

— Да не надо быть телепатом, чтобы узнать это! Так думает каждый мещанин, каждый обыватель! Вы всю жизнь просидели в ожидании чуда, и вот, казалось бы, чудо произошло! Ваша жена промыслом Божьим создала величайшее произведение! Этакую летопись нетленную!.. Ха-ха-ха!.. Хрена лысого вам под мышку! — воскликнул Теплый, и лицо его растянулось в надменной улыбке. — Ничего ваша жена не создала великого! Она просто тронулась умом и щелкает по клавишам пишущей машинки, как обезьяна — беспцельно и тупо! Никакого шифра в ее записях нет! Одна сплошная галиматья! ШШШШ, МММ, да и только!.. Что вы на меня так смотрите?.. Надо же, три тысячи страниц чушь защелкать!

— Как же вы тогда перевод сделали? — спросил Генрих Иванович растерянно.

— Пытался, пытался я это сделать!.. Да повторяю вам, расшифровывать там нечего было! Пришлось самому писать летопись! Уж больно деньги нужны были! Так-то вот!..

— Сейчас я вас убью! — тихо сказал Шаллер.

— А какая вам, собственно говоря, разница? Жена ваша написала летопись или я! Главное, что летопись написана! И она самая что ни на есть настоящая!.. Можете, конечно, пристукнуть меня, но вам легче от этого не станет! От этого вы не будете гением! А я, убивая, питаю свой гений!.. Вам, видать, никогда не узнать того наслаждения, когда садишься за чистый лист бумаги, а кто-то через форточку диктует тебе чернильные мысли! И такие они умные, такие неординарные, что сам подчас удивляешься, как мог сочинить такое! А может, и

вправду что-то сверхъестественное диктует! — Теплый перевел дыхание. — Так что не сомневайтесь, летопись самая подлинная! Не моей рукой писанная!.. Я так, проводник!..

В каморке Теплого стало тихо. Сам Гаврила Васильевич отдыхался после своей тирады, а Генрих Иванович сидел и чувствовал себя так, как будто его разобрали на составные части. Оба не замечали, как сквозь грязное окно, выходящее на интернатский двор, за ними наблюдает пара глаз, принадлежащих Джерому. Мальчик испытывал некое чувство удовлетворения от увиденного, хотя и не знал пока, как использовать это увиденное.

— Я не знаю, что мне делать! — печально произнес Шаллер, и из его правого глаза выскользнула слезинка. Капелька прокатилась по щеке, затем съехала к носу и застряла в уголке губ. Полковник почувствовал во рту соль, почмокал губами и понял, что плачет. От сознания того, что он, пятидесятилетний военный, умудренный жизнью и невзгодами, плачет, как ребенок, возбудило в нем еще большую жалость к себе, в груди защипало, и слезы покатались по его мужественному лицу свободными потоками, заливая рубленый подбородок.

— Я не знаю, что мне делать! — всхлипывал Генрих Иванович. — Что происходит?!

Его гранитные плечи тряслись словно в лихорадке. Рыдания захватили его организм от макушки до ляжек, холодных и сжатых друг с другом огромной силой. Он целиком отдался истерике, выплескивая вместе со слезами свою драму, смешивая ее со сладостью бессилья перед сложившейся ситуацией.

— Что это с вами? — спросил потрясенный Гаврила Васильевич, никак не ожидавший такого поворота событий. — Что это вы плачете?

— Что же мне делать?! — бубнил полковник. — Что делать?

— Может быть, вам водички?

Теплый поднялся со стула и зачерпнул кружкой из ведра.

— Натек-ка, глотните!..

Шаллер в отчаянии оттолкнул руку слависта, и вода из кружки выплеснулась на пол. Учитель пожал плечами:

— Как хотите!

Он снова уселся на стул и все смотрел, смотрел, как Генрих Иванович обильно плачет. На мгновение в его душе шевельнулась жалость к этому сильному человеку, но она тут же замерла, когда Теплый вспомнил о своих выбитых зубах.

— Да кончайте вы, в самом деле! Ишь, нюни развели!.. Мне больше по душе, когда вы кулаками машете! Перестаньте рыдать и подумайте лучше, как из этой ситуации выбираться!

— Да-да... — согласился Генрих Иванович. — Я сейчас...

Он утер рукавом лицо и стал глубоко дышать, чтобы подавить слезные спазмы.

— Может быть, все-таки воды?

— Нет-нет, — отказался Шаллер. — Я уже все...

Он еще раз глубоко вдохнул и стал смотреть куда-то в угол.

— Ну вот и хорошо, — подбодрил Гаврила Васильевич. — Всяко в жизни бывает!

— Почему все-таки моей фамилии нет в летописи? — спросил полковник.

— Не знаю. Я же говорил вам, что писал по наитию. В рукописи нет ни одной строки, сочиненной мною. Все написалось помимо моей воли!

— Может быть, это ветер с дурманом?

— Все может быть.

— Или, может быть, я вовсе не существую?

— Прекратите вы эти бредни! Вот он вы, сидите в кресле и плачете! Вы существуете, как и все остальные!

— Вы так считаете? — с надеждой спросил Генрих Иванович.

— Да что с вами! — воскликнул Теплый. — Возьмите же наконец себя в руки!

— Все-все! Все в порядке!

— Вот и хорошо.

— Что бы вы сделали на моем месте в такой ситуации?

— В какой?

— Ну, если бы вы знали, что я убиваю подростков и что я одновременно делаю для вас нечто очень важное!.. Вы не решились выдать меня властям после первого убийства, а после второго уже стало поздно. Вы сами стали соучастником убийства! Что бы вы сделали в такой ситуации?

— Хотите, я уеду куда-нибудь?.. Завтра же?

— А как быть с совестью?

— А очень просто!.. Вы будете всю жизнь мучиться, а вследствие мук родите что-нибудь достойное! И черт его знает, может быть, тогда вам зажжется Лазорихиево небо по праву! Живите и мучайтесь!

— Дайте мне слово, что вы не тронете Джерома!

— Ренатова?.. — удивился Теплый. — Я и не собирался трогать его!.. Он мне родственная душа! В его глазах бьется мысль, и он поддерживает ее кровью! Вы что, в самом деле думаете, что мальчик убивает кур, мстя за своего отца?.. Чушь!.. Это все отговорки, самообман!.. Ну конечно же, я не трону Ренатова! О чем речь!..

— Спасибо.

— Да, — вспомнил славист. — Но у меня, к сожалению, нет денег на отъезд.

— Я вам дам.

— Спасибо.

— Куда поедете?

— А вам есть до этого дело?

— Да нет. Это я так, из вежливости.

— А-а, понятно...

Генрих Иванович поднялся из кресла.

— Я пойду. Деньги вам пришлю с посыльным. Тысячи хватит?

— Крайне признателен.

— Откройте мне дверь.

Теплый отпер дверь и открыл ее перед Шаллером.

— Прощайте! — кивнул головой полковник и протянул руку Гавриле Васильевичу. Тот с охотой откликнулся на пожатие, укладывая свои сухие пальцы в широкую и теплую ладонь полковника. Генрих Иванович улыбнулся и сжал руку учителя с такой ужасной силой, что четыре пальца тут же с треском переломились и славист взывал от боли. — Это вам на память обо мне!

Садясь в свое авто, Генрих Иванович вспомнил покалеченную руку Теплового, и на мгновение ему показалось, что на ней не пять, а шесть пальцев.

„Что-то я совсем расклеился! — подумал про себя Шаллер. — Надо взять себя в руки!“ И нажал на педаль газа...

Джером осторожно спрыгнул с карниза учительского окна и пошел своей дорогой.

„Ах, скотина! — думал он. — Это же надо — назвать меня своей родственной душой!.. Сам садюга, и меня туда же! Ишь ты, кур убиваю не ради мести, а ради поддержки своих мыслей! Это надо же такое удумать!.. Все-таки как хорошо живет лосям!“

Джером ускорил шаг.

„Видать, полковник поверил этому ублюдку, что он гений свой питает кровью! Ладно, мы с этим разберемся!“ — решил Джером и отправился к чанчжозьскому храму пострелять кур.

Второе убийство вызвало гораздо меньший ажиотаж среди городского населения. И хотя все газеты поместили сообщение о жуткой смерти воспитанника интерната имени Графа Оплаксона, погибшего в боях за собственную совесть, Герани Бибикова, сына героя, куриная эпидемия куда больше занимала воображение чанчжозйцев. Они посчитали так: в городе объявился маньяк, ничуть не хуже Потрошителя, а потому можно заняться другими проблемами. Следствие идет, шериф работает, выискивая чудовище, а невиданная болезнь касается всех лично.

Ежедневно доктор Струве принимал в своем кабинете до ста пятидесяти пациентов. Бегло осмотрев перья больного, тратя на всю процедуру не более минуты, он смело ставил диагноз — куриная болезнь.

На вопрос пациента: „А что мне с ними делать?“ — врач обычно давал два совета:

- Хотите брейте, хотите так ходите!
- И это все? — спрашивали больные.
- А что еще?

По подсчетам эскулапа к этому дню девяносто пять процентов городского населения страдали куриной болезнью, а надежды на скорое изобретение вакцины не было.

Ночи напролет, единственное свободное время от приема, доктор Струве проводил в своей лаборатории, где безжалостно препарировал кур, сливая из них

кровь, на основе которой пытался создать вакцину. С чем только он ее не мешал: и с блюминицилом, и со щелочным фустицином, прибавлял ко всему этому муравьиную кислоту, но все было тщетно. Влитая в вену добровольца жидкость лишь горячила кровь, но от перьев не избавляла.

Доктору даже не удалось выяснить, каким образом болезнь передается другим. Переносится ли зараза воздушно-капельным путем или еще как — все это было неизвестно.

Сам Струве каждое утро трогал свой затылок, но, к удивлению своему, перьев на нем не обнаруживал.

„Что же это я не болеваю? — думал эскулап. — Намного легче бы стало экспериментировать с вакциной на себе!”

Но болезнь не приходила.

Ежедневно во всех вечерних газетах публиковался короткий отчет об изысканиях медицины, о всей тщетности которых с неудовольствием читал народ.

То и дело возникали стихийные митинги возле здания городского совета. Митингующие требовали от властей немедленного решения проблемы, а иначе они примут свои меры.

Успокаивать демонстрантов удавалось лишь одним способом: члены городского совета поочередно выходили на балкон и демонстрировали собравшимся свои затылки, украшенные точно такими же, как и у собравшихся, перьями.

Народ успокаивался, раздумывая, что если и у сильных мира сего на головах растут крылья, то чего уж говорить о них, о смердах.

— Так что же, господа, будем делать? — спросил губернатор Контата у собравшихся. Он стоял возле зеленой гардины и, слегка отодвинув ее, разглядывал через окно копошащийся внизу народ. — Ну-с, что же вы молчите, господа?

Все члены городского совета молча жевали бутер-

броды и запивали их кто чаем, кто кофе. Каждый из них уже множество раз передумал про себя, как решить создавшуюся проблему, и бесполезность этих попыток была написана у всех на лице.

— Как вам удастся производить такую вкусную ветчину? — спросил г-н Персик у г-на Туманяна. — В каких только городах и весях я не едал ветчины, но ваша самая превосходная! Этакая жирненькая, розовая!.. — Г-н Персик взял с подноса еще бутербродик и с наслаждением откусил от него кусочек.

Скотопромышленник Туманян натянуто улыбнулся и, поднявшись со своего места, сказал:

— Надо нам принять в члены городского совета кого-нибудь из народа!

Все с удивлением посмотрели на него, и каждый отметил, что у скотопромышленника по-прежнему красивые глаза.

— Это успокоит население, — пояснил он. — Разрядит наэлектризовавшуюся обстановку.

— У нас уже есть представитель народа! — заметил г-н Мясников. — Г-н Персик... Если только заменить его!..

— Свинская шутка! — возмутился представитель обывателей. — И достаточно жлобская!

— Кто же шутит!.. Вы, господин Персик, дорого обходитесь казне! Я заметил, что вы уже съели шестнадцать бутербродов сегодня! — сказал г-н Мясников. — Объявим народу, что вы растратчик, и переизберем вас! Налогоплательщики любят, когда низвергаются авторитеты!

— Да вы!.. Да знаете что!.. Я вам!.. — От возмущения г-н Персик заверещал что-то нечленораздельное, но по-прежнему держал в руке надкусанный сандвич.

— Господа, господа! — недовольным голосом попросил Ерофей Контата. — Прошу вас, прекратите!.. Вы в самом деле как малые дети!.. Надо решить серьезный вопрос! Так давайте его решать!

— А мне, например, нравятся мои перья! — сказал

г-н Бакстер. — И жене моей они по вкусу. Все лучше, чем лысина! — Он сделал большой глоток из чашки с кофе. — Да и мне интересно перебирать перышки супруги. Все-таки хоть какое-то чувство новизны!

— Скажите, ваше преосвященство, что нам нужно делать в этой ситуации? — спросил Контата, закрываясь зеленой гардиной от улицы. — Мы нуждаемся в вашем совете.

Митрополит Ловохишвили позвякивал четками и, казалось, не слышал вопроса губернатора. Он сидел, склонив голову, уткнувшись густой бородой в колени, — этакий мыслитель, — и присутствующие подумали, что наместник Папы отыскал выход в сложном лабиринте и сейчас возглаголет истину.

— На все воля Божья! — рек митрополит. — Отдадимся промыслу Божьему и потечем в потоке его воли. Река всегда впадает в еще большую реку, а та в свою очередь оплодотворяет своими водами океан!

После высказывания Ловохишвили все присутствующие притихли. Сам митрополит с удвоенной силой зашелкал четками.

— Знаете, — не выдержал г-н Бакстер, — иногда кто-нибудь скажет что-нибудь эдакое, умное, так что оскомина на зубах, как будто лимон целиком сожрал! И в харю хочется такому умнику дать!..

— Все!!! — вскричал митрополит, вскакивая со своего места. — Больше я не могу этого терпеть! — И принял боксерскую стойку. — В харю мне хотите дать?! Извольте попробовать!

Господин Бакстер тоже вскочил со своего кресла, но его полная фигура на взгляд проигрывала внушительной конституции Ловохишвили.

— Нуте-с! — шипел наместник Божий. — Вот моя харя! Дайте по ней! Ну же!..

— Как-то рука не поднимается бить попа! — ответил г-н Бакстер, отступая к окну. — Вот когда Папа Римский даст вам пинка под зад!..

— Это я поп!!! — заорал в бешенстве митрополит. —

Да я тебе, жирный ублюдок, все перья повыщипываю! — И, раскинув руки, стал надвигаться на противника.

— Давай-давай! — подзуживал Бакстер, готовясь провести борцовский прием, виденный им когда-то в заезжем цирке. — А я воткну твои перья тебе же в зад!

Все остальные члены городского совета с огромным интересом наблюдали, чем кончится этот долгожданный поединок. Лишь губернатор Контата, сознавая свою ответственность перед судьбами мирскими, решительно шагнул на середину залы, вставая между коллегами.

— Прекратите! — оглушительно сказал он, так что зазвенели хрусталем подвески на люстре. — Всем сесть!

— Ну уж нет! — процедил сквозь зубы митрополит. — Сначала дело закончим, а потом уже сядем!

И вот на этом самом интересном месте дверь в залу неожиданно открылась и в нее вбежал запыхавшийся юноша-курьер.

— Там это!.. Там кур!.. — никак не мог выговорить курьер. — Ух!..

— Что там? — переспросил губернатор. — Вы что врываетесь во время заседания? Вы в своем уме?!

— Да там!.. Там такое!..

— Говорите яснее, черт побери!

— Там кур уничтожают! — сформулировал наконец юноша.

— То есть как уничтожают?!

— А так!.. Убивают их по всему городу! Головы отрывают! Жгут огнем и автомобилями давят!

— Вот это да! — протянул г-н Персик.

— Бунт, что ли? — спросил г-н Туманян.

— Ага! — радостно подтвердил курьер. — Народный бунт!

— Проваливайте отсюда! — заорал Ерофей Контата.

— Что? — не понял юноша.

— Вон отсюда! — завопил губернатор.

В ту же секунду курьер исчез. Митрополит Ловохишвили и г-н Бакстер расселись по своим местам. Все члены городского совета выглядели удрученными.

— Вот и выход из сложившейся ситуации, — подвел черту г-н Мясников. — Жизнь сама ответила на наш вопрос.

— Кстати, господа! — вспомнил митрополит. — Новый урожай синих яблочек! Отец Гаврон дарует, — и достал из-под кресла корзинку. — Не изволите попробовать?

Ловохишвили не поленился обнести присутствующих фруктами, не обойдя своим вниманием и г-на Бакстера.

Члены городского совета захрустели дарами природы.

— Что будем делать? — поинтересовался Контата.

— Армия? — предложил г-н Туманян.

— Против своего народа? — спросил г-н Мясников.

— Не выход, — подтвердил губернатор.

— Полиция! Народные дружины! — затараторил г-н Персик. — Пресечь беззаконие! Немедленно!

Ерофей Контата снял с телефонного аппарата рожок и попросил телефонистку связать его с шерифом.

Иван Фредович Лапа разъяснил, что волнения происходят по всему городу, но полиция принимает повсеместно меры.

— Меры эффективны? — спросил губернатор.

— Мы делаем все возможное! — отвечал шериф. — Но народ разъярен, и ему нужно куда-то девать свою ярость!

— Спросите его, — зашептал г-н Персик. — Как там наши предприятия?

— А как ситуация на „климовском“ поле? — поинтересовался г-н Контата.

— В этом районе все спокойно.

— Ну и слава Богу.

— Мы выслали в районы производства усиленные наряды полиции и народной дружины.

— От лица всего городского совета вам большое спасибо!

— Да не за что! — отмахнулся шериф Лапа. — Это моя прямая обязанность. Я, с вашего позволения, отключаюсь. Ситуация требует моего постоянного контроля.

— Да-да, конечно!..

Ерофей Контата повесил рожок на рычаг и вновь подошел к окну.

— Итак, господа, пока нашему бизнесу ничего не угрожает! Но кто знает, как ситуация будет разворачиваться дальше!

Губернатор бросил яблочный огрызок в урну, тогда как г-н Персик обсасывал свой с особой тщательностью, сплевывая лишь косточки.

— Как сладок плод любви! — проговорил он возвышенно. — Бедный отец Гаврон!.. Он что, так и не знал женщины в своей жизни?

— Он истинный монах! — с чувством произнес митрополит.

— Надо охранять производство! — сказал г-н Персик. — Иначе мы останемся с голым задом!

— Вам к этому не привыкать! — ответил предводителю мещанства г-н Мясников. — Хотя ситуация и вправду очень опасная! — И почесал свой затылок. — От этих проклятых перьев голова чешется!

Все дружно почесались, заразившись примером г-на Мясникова.

— Ишь ты!.. А у меня перышко вылезло! — удивился Ловохишвили, держа перед своим носом куриное перо. — А раньше сколько ни дергал!..

— Смотрите-ка! — обратился к губернатору г-н Туманян. — У вас на пиджаке тоже перья лежат! — Он скосил глаза на свой сюртук. — И у меня тоже!

Г-н Бакстер, поглядев на коллег, с каким-то воодушевлением ухватился за свой затылок и с отчаянием дернул себя за волосы.

— Ой! — вскрикнул он, разглядывая зажатые в руке волосы вместе с пучком перьев. — Вырвались! Все вырвались!

В последующие десять минут члены городского сове-

та с особой тщательностью ошипывали себя, разбрасывая вокруг птичью гадость, которая, медленно кружась, падала на персидский ковер.

— Это Гавроновы яблоки! — молвил митрополит Ловохишвили. — Это яблочки нам помогли!.. Вот вам и лекарство от куриной болезни!

— Немедленно раздать всему населению синие яблоки! — вскричал Ерофей Контата. — Сей же час!

— Ага, как же! — потряс бородой митрополит. — Яблук-то всего одно дерево, да и то половину съели!

— Как одно дерево!

— Да так. Выросло одно, с него и питаемся по осени!

— Господи, да что же это такое! — схватился за голову губернатор. — Так пусть отец Гаврон засаживает этими яблоками целый сад! Да что там сад, поле!

— И что дальше?.. Ну, посадит он, а плодоносить деревья начнут не раньше чем через три года. А за три года, знаете, сколько воды утечет!..

— Господи, что же делать! Казалось бы — вот он выход, а нет, сквозь пальцы выскользнул!

— А не надо, не надо этому печалиться! — с какой-то внутренней радостью заявил г-н Персик. — Нам повезло! И этому надо радоваться!.. Что поделаешь, если яблочек мало. Такова воля Божья! И этой волею Божьей целебные плоды были посланы нам!.. Правильно ли, ваше преосвященство, я рассуждаю?

Митрополит поглаживал свой ошипанный затылок и наслаждался гладкостью шеи.

— Яблоки не Господом нам посланы, а отцом Гавроном, — ответил наместник Папы. — Он их вырастил во имя любви, он им и хозяин!

— Да они же растут на территории чанчжозэйского храма! — не унимался г-н Персик. — А следовательно, принадлежат церкви! Монахи не имеют собственности! Я это наверное знаю!

— Все-таки надо переизбирать Персика! — с уверенностью произнес г-н Мясников. — Мерзкая ничтожная личность! Мещанин всегда останется мещанином, живи

он хоть в Лувре! Давайте, господа, голосовать за мое предложение. Вношу его официальным образом. Кто за переизбрание Персика?..

— Пойдите! Пойдите! — внезапно осипшим голосом заговорил Персик. Лицо его при этом спустило всю естественную краску куда-то в атмосферу и стало мертвенно-серым. — Вы неправильно поняли меня, господа! Я вовсе не собирался пользоваться сам этими яблочками! У меня серьезная мысль имеется!

— Какая же у вас мысль? — поинтересовался г-н Бакстер, ковыряя куриным пером в зубах.

— Я... Я... — Персик с трудом брал себя в руки. — Я предлагаю собрать все оставшиеся яблоки и сварить из них компот!.. Вот...

— Компот? — удивился г-н. Туманян. — Зачем?

— Сколько яблочек еще осталось, уважаемый митрополит? — спросил г-н Персик, и в его глазах засверкали искорки надежды. — Ну же, сколько?!

— Ну... — задумался Ловохишвили. — Ну, этак штук сорок или что-то возле этого...

— Я думаю, хватит! — кивнул мещанин. — Не всем, так многим!

— Да чего хватит? — не выдержал Контата. — Говорите яснее, в конце концов!

— Мы соберем все оставшиеся яблоки и сварим из них компот. А затем напоим им всех больных и страждущих! Таким образом мы справимся с эпидемией!

На некоторое время в зале заседаний воцарилось гробовое молчание. Каждый продумывал про себя идею, рожденную во спасение свое г-ном Персиком.

— А что, пожалуй, это выход! — разрушил тишину Ерофей Контата.

— Мысль интересная! — поддержал г-н Бакстер.

— Это единственный выход! — не унимался г-н Персик. — Надо немедленно послать за отцом Гавроном!.. Или нет, лучше выслать в чанчжойский храм охрану, чтобы уберечь дерево от опасности!.. И ищите повара, который сварит вакцину!

— Моя жена может сварить компот! — предложил г-н Бакстер. — У нее это неплохо получается!

— Нет уж! — пресек предложение г-н Персик. — Нужен независимый повар, который не знает о целебном свойстве яблочек! Не дай Бог...

— Вы на что это намекаете?! — зарычал г-н Бакстер.

— На том и порешили! — подвел черту губернатор. — Будем варить компот и лечить народ! На этом считаю наше заседание закрытым! Прошу всех разойтись и заняться текущими делами!

Члены городского совета покинули административное здание, расселись по дорогим авто и поспешили каждый в свою сторону. Несмотря на, кажется, найденный выход из сложившейся ситуации, в их душах было крайне беспокойно и тоска завладевала их сердцах.

— На всякий случай будь готова к отъезду! — сказал г-н Бакстер своей жене...

То же самое сказали своим женам и остальные. У кого жен не было, стали готовиться к отъезду самостоятельно.

Взгляд Генриха Ивановича Шаллера наткнулся на клубок синей шерсти, который лежал на шкафу. Из клубка торчали вязальные спицы, поблескивая в лунном свете.

Полковник был подавлен свалившимся на его голову. Всегда сильный, источающий мужественность, сейчас он походил на старика, измученного головными болями. Глаза подернулись мутным, а обычно тщательно выбритые щеки чесались от клочкастой седой поросли.

„Хочу сойти с ума, — подумал Шаллер, глядя на спицы. — Сойдя с ума, я оправдаюсь перед самим собой... А может быть, я уже сошел с ума?..”

Неожиданно полковник услышал жалобный вой, доносящийся из сада. Вой был протяжным, как будто кто-то умирал под вишневыми деревьями и просил о помощи.

„Елена, — понял Генрих Иванович, не в силах оторваться от вязальных спиц. — Уж она точно спятила!”

Шаллер тяжело поднялся со стула и доковылял до шкафа. Он приподнялся на цыпочки и дотянулся до клубка шерсти. Двумя пальцами вытащил одну из спиц и выпрямил ее, слегка погнутую. Затем порывлся в комод и нашел в нем напильник.

— Вжик, вжик! — ласково приговаривал полковник, натачивая острие. — Вжи-и-ик!

„Ах, как он прав, этот Теплый! Господи, как он прав! Что моя жизнь? Зачем она прожита?.. Что я сде-

лал такого важного, зачем дышал все это время?.. („Вжик!“) Я обыватель! — подвел черту полковник. — Я мещанин! Лазорихиева неба не существует так же, как не существует открытий, сделанных мною!.. („Вжик-вжик!“) Как же он сказал мне?.. Мучайтесь всю жизнь и вследствие этого, может быть, родите что-нибудь достойное!.. А если нет сил мучиться своей подлостью?!”

Шаллер попробовал подушечкой большого пальца острие спицы и разглядел на коже капельку крови.

„Как странно, я не чувствую боли!“ — удивился Генрих Иванович.

Из глубины сада опять донесся вой Белецкой, на сей раз более короткий, но и более отчаянный.

„Вот как бывает, — продолжал раздумывать Шаллер. — Вот так поставишь на одну карту и проигрываешь все свое состояние! До сего момента был уважаемый член общества — и в секунду опозорен! Честь потеряна, презрительные взгляды, позорный долг, и пистолет во рту корябает десны!.. Лучше действительно сойти с ума. С сумасшедшего другой спрос! Его больше жалеют, нежели бичуют! — Лицо полковника искривилось. — Господи, я первый раз в жизни пожелал, чтобы меня пожалели!.. Это я-то, сильный и мужественный человек!.. Эка, как меня скрутило!..“

Генрих Иванович отложил в сторону напильник, встал со стула и, расправляя мышцы, напряг их так, что треснула под мышкой нательная рубаша. Сжимая в руке спицу, он вышел в сад и в полной темноте, на ощупь, направился к беседке, где в безумии своем была Елена.

„Что же у нее в голове? — задал самому себе вопрос Шаллер. — Какая такая жизнь происходит под черепной коробкой безумцев, если они так целенаправленны в своей галиматье? Счастливы они или страдают отчаянно?..“

Неожиданно Генрих Иванович испугался, что вместо своей жены обнаружит за пишущей машинкой то-

щую курицу, кудахтающую, с красными глазами. Он перевел дыхание и сделал еще несколько шагов вперед. И замер, напрягая зрение, стараясь получше разглядеть свою жену.

„Вроде бы все в порядке“, — успокоился он, наблюдая спину Белецкой, которая искривилась уродливой веткой и размеренно покачивалась взад-вперед.

— Елена! — шепотом позвал Генрих Иванович. — Елена! Ты слышишь меня?

— У-у-у! — завывала Белецкая так жалобно и одновременно страшно, что Шаллер содрогнулся и судорожно сглотнул.

— Да не вой ты так! — сдавленно сказал он. — Сил моих больше нет!

— У-у-у! — продолжала Елена все громче и ужаснее.

— Заткнись!!! — закричал Генрих Иванович в отчаянии. — Не могу больше!!! — И изо всех сил, с крутого размаха, нанес удар спицей в спину жены. — Вот тебе, вот!!!

— У-у-у!!! — Вой Елены достиг апогея.

Шаллер все втыкал спицу в спину жены, раз за разом, пока не понял, что спица от ударов согнулась спиралью и более не достигает цели.

А Елена все продолжала выть, надрывая душу полковника потусторонностью.

— Да когда же ты сдохнешь!!! Что же это такое, в конце концов!

Он обхватил спину Елены руками, пытаясь нащупать раны, оставленные спицей, кровь, сочащуюся сквозь материю, — но платье, надетое на Белецкую, было совершенно сухим, да и ран на теле не было вовсе.

Силы оставили Шаллера. Он с трудом повернул жену к себе лицом и стал смотреть в ее глаза.

— Ты уничтожила меня! — зашептал он. — Ты лишила смысла мою жизнь! Я ненавижу тебя! Я прокли-

наю тот день, когда ты прельстила меня своим рыжим телом! Я проклинаю твоего отца, чьих лошадей сожрали во время войны! Я всю жизнь хотел любить другую женщину! Такую, как Протуберана! Она погибла, а я все еще ее хочу, ее люблю!

На миг в глазах Елены родилась мысль. Она резво взмахнула рукой, стараясь попасть Шаллеру в лицо. Ее отросшие ногти, поломанные и кривые, чиркнули Геяриха Ивановича по щеке, оставляя на ней кровавые царапины.

— Пшел вон! — с ненавистью сказала Елена и завывала на всю округу так, что загавкали собаки. Мысль ушла из ее глаз так же быстро, как и пришла.

Этой ночью Шаллер первый раз в жизни напился. Он выпил все, что имелось в доме, — графин водки и бутылку миндального ликера. Его могучее тело рухнуло на пол, рюмка скользнула из пальцев, он несильно ударился головой о кресло и заснул.

На главной площади города усиленно митинговали. Лица ораторов были искажены злобой, а слушатели громко выражали им свое одобрение.

— Немедленно уничтожить всю эту мерзкую и вонючую курятину! — кричал на всю площадь плюгавый мужичонка в кепке с помпоном. — Морить ее, жечь, ломать кости и отрывать гребешки!

— Правильно! — поддерживали из толпы. — Давить их, не зная пощады!

— Это же надо — такое творится! — продолжал надрываться мужичонка. — Это мы, люди, высшие существа, должны из-за этих пернатых покрываться перьями! Да так мы скоро начнем кудахтать и кукарекать! Над нами будет потешаться весь цивилизованный мир! Предлагаю немедленно отправиться на куриное производство и уничтожить этих тварей!

— Дави их, круши! — завизжала какая-то баба. — А-а-а, суки позорные!

Толпа заулюлюкала, воинственно настроенная, и, переминаясь с ноги на ногу, ожидала конкретного приказа.

— Стойте! Стойте! — раздался над толпой голос. — Подождите!

Люди обернулись и увидели самого губернатора Контату, который вместе с митрополитом Ловохишвили тащил огромный чан. Со лбов обоих катил обильный пот, а лица были красны от натуги.

— Подождите! — кричал Ерофей Контата. — Мы принесли вам компот!

В толпе опешили.

— Какой такой компот? На кой хрен он нам, твой компот!

— Они на нас миллионы делают! — с удвоенной силой заорал мужичонка в кепке. — В кур нас превращают, чтобы еще больше денег нажить, а теперь компотом хотят отделаться!

— Да послушайте же! — потряс кулаками митрополит.

— И слушать не будем! — завизжала баба. — А ну, за мной, на климово поле!!! Сейчас мы покажем, кто курица, а кто человек!

В толпе поднялся такой гвалт и карусель, что слова Ловохишвили, что это не просто компот, а вакцина против болезни, потонули в нем, как чирикание птенца во время пушечной канонады.

— За мной! — призывала баба, выпячивая грудь. — Дави! Су-у-у-ки-и!

Наконец толпа в последний раз качнулась и хлынула с площади свободной рекой, сломившей дамбу нерешительности.

Митрополит и губернатор еще пытались что-то сделать, кого-то удержать, кому-то подставить подножку, но все было тщетно. Народ обрел единое сознание и единую цель, а потому устремился в слаженном порыве учинять бойню.

Пробегая мимо отцов города, плюгавый мужичонка в кепке со всех сил пнул чан с компотом, криво улыбнулся и побежал дальше. Сладкая вакцина выплеснулась на булыжную мостовую и в мгновение ушла сквозь щели под землю.

— Ах!.. — сказал губернатор.

— Ох!.. — вторил ему митрополит.

Уже через мгновение площадь опустела.

— Я уезжаю, — сказал губернатор митрополиту.

— Куда?

— Куда-нибудь в среднюю полосу. Стану просто помещиком. Денег хватит.

— А я отбываю в Ватикан за новым назначением.

Еще много мест на земле существует, где язычество господствует.

— Кстати, — поинтересовался губернатор, — вам чай не нужен?

— К чему он мне?

— Ну тогда, с вашего позволения, я себе его возьму. Знаете, очень удобно для варки варений.

— Да ради Бога.

— Поможете донести?

— Нет. Я в другую сторону.

— Тогда ладно. Как-нибудь сам...

Толпа стремительно направлялась к „климовскому“ полю. В ее слаженном беге было что-то от первобытного племени, загоняющего стадо мамонтов.

По пути к куриному производству погромщики давили и топтали диких кур, проходясь коваными сапогами по их кладкам. Во все стороны брызгал яичный желток, напоминая выплеснувшиеся с небес лучи солнца, кружилось разноцветное перо и стоял над городом истошный, надрывный птичий крик.

— Ах ты, Господи, что происходит! — всплеснула руками Вера Дмитриевна, глядя из окна на пробегающую толпу. — Куриный погром!.. Лизочка! Лизочка!.. Пойди погляди скорее! Наконец-то они решились!

Лизочка и так все прекрасно видела, сидя на подоконнике в своей комнате. Рядом с кроватью стояли чемоданы и тюки с вещами, собранные по настоянию г-на Туманяна.

Несмотря на поспешный отъезд, Лизочка Мирова была счастлива. Накануне скотопромышленник сделал ей предложение, и она, не раздумывая, согласилась. Ее воображение волновал отъезд в столицу, в которой она никогда не бывала, но о которой ей столько грезилось еще в девичьих снах.

— Ах! — сказала Лизочка. — Да пропади эта дыра пропадом!

— Ну вот и началось, — прошептал доктор Струве, заслышав народный вопль. — Вот и конец наступает.

Он оглядел свою уютную лабораторию и чуть было не заплакал о том, что все это придется оставить. И дом, и практика — все коту под хвост.

— А ведь я был почти первым жителем города! — вдруг вспомнил эскулап, но подавив волевым усилием сантименты, сложил в саквояж врачебный инвентарь.

— Господи, что там?! — Отец Гаврон напряг зрение. — Люди, что ли, бегут? — Монах перекрестился. — Никак, громить производство собираются!

Он ничуть не испугался, а откупорил бутылку с формолью и сделал из нее глоточек. Потом взял свой „фоксель-бохер“ и передернул затвор.

Наконец толпа достигла „климовского“ поля, окружив его плотным кольцом. Самое большое гнездо заразы от народа отделяла бетонная стена высотой в два человеческих роста. Единственный вход — ворота, обшитые листовым железом, были накрепко заперты изнутри.

Народ шумно и злобно дышал, встретив неожиданное препятствие. Слышалась матерная брань.

Отец Гаврон свесился с наблюдательной вышки.

— Эй, вы чего там?

Народ задрал головы.

— А ты чего? — спросил плюгавый мужичонка. При этом с него свалилась кепка и измазалась в курином помете.

— Я ничего, — ответил монах. — Я сторожу.

— А ну слезай! — рассердился предводитель, брезгливо разглядывая кепку.

— Открывай ворота! — закричала баба. — Сейчас такое начнется!..

— Слушайте-ка меня внимательно! — миролюбиво начал отец Гаврон. — Ворота я вам не открою. Да и вам пробовать не советую! — Он приподнял ружье и уложил его на перекладину, так что ствол смотрел прямо в гущу

толпы. — Лучше охолодите-ка свой пыл и ступайте по домам. Правда, лучше будет.

— Да ты чего, против народа!!! — взвизгнула баба. — Да мы тебя, сука в рясе!!!

Предводитель кивнул нескольким молодцам, которые тут же отправились на поиски бревна, чтобы соорудить из него таран и взять производство приступом.

— Не хочешь по-доброму открывать, — сказал мужичонка наверх, — мы силой возьмем. А только тебе от этого плохо будет!

— А нечего меня пугать, — отвечал монах. — Я одного Бога боюсь. А тобой, прыщ гнилой, только комаров пугать!

Лицо предводителя набрякло кровью, от возмущенья он потерял дар речи и лишь погрозил наверх костлявым кулачком.

— Да ты что, монах! — заголосила баба. — Ты что же, не знаешь, сколько мы от этих кур натерпелись?!

— Да-да! — поддержали в народе.

— Все пострадали! — продолжала баба. — Мужа моего во время нашествия куры разодрали на кусочки! Вдова я по милости этих тварей!

Неожиданно под сердцем отца Гаврона екнуло.

— Как звать тебя? — осипшим голосом спросил он.

— А тебе что?!

— Да так просто...

— Евдокия. Евдокия Андревна от рождения, — ответила баба удивленно.

— Вот как бывает, — проговорил отец Гаврон. — А меня не помнишь?

— Да нет вроде. Или плохо вижу снизу...

— Андреем меня звали в миру. Андреем Степлером. Не помнишь?

— Андрюшка?! — изумилась баба.

— А я все-таки синие яблоки произвел. Только ты не дождалась, замуж вышла! А я мужа твоего отпевал. Помнишь?

В этот момент подоспели молодцы, притащившие огромное бревно.

— Последний раз спрашиваю! — обратился к монаху мужичонка. — Откроешь ворота?

— Не открою, — ответил отец Гаврон. — Не рви глотку понапрасну!

— Прости меня, Андрей! — крикнула баба снизу.

— Да чего уж там, — махнул рукой монах.

— Не сложилось у нас с тобой!..

— Всяко бывает.

Их разговор перекрыл глухой звук бьющего о металл дерева.

— Раз-два, взяли! — командовал мужичонка. — Навались!

— А ну-ка подожди, Дуся! — крикнул монах и тщательно прицелился из ружья. Раздался хлопок, и предводитель, вскинув руки, удивленно взглянув на все, упал на землю, затерявшись у кого-то в ногах.

— У-у-у! — негодуяще завывала толпа. — У-гу-гу!..

А кто-то, особо неприметный, достал из кармана пращу, не торопясь зарядил ее свинцовым грузилом и, покрутив ею для разгона, выстрелил в ответ.

Грузка угодила монаху в левый висок, раздробив кость. Монах был крепок и, прежде чем умереть, схватился рукой за бутыл с формолью, затем оттолкнул ее, вдруг вспомнил своих предков, царскую благодарность, молоденькую Дусю, Бога и уже после всего этого перевалился через перекладину вышки и рухнул в толпу осаждавших. Вслед за ним скатилась и бутыл с формолью, разбившись вдребезги и окатив людей едкой жидкостью.

— А все-таки не надо было монаха убивать! — сказал кто-то.

Наконец дверь после многотрудных натисков поддалась и, жутко заскрежетав, распахнулась, впуская очумевших погромщиков.

Толпа, вопя и гогоча, устремилась внутрь куриного производства. Каждый старался обогнать другого и первым обагрить свои руки кровью.

И только Евдокия Андревна осталась за воротами. Она присела возле мертвого монаха и погладила его волосы.

— Андрюшка, Андрюшка Степлер! — сказала баба и

вдруг вспомнила, что и у нее когда-то было другое имя. — Какое же?.. Ах да, мадмуазель Бибигон. Или пригрезилось мне это?.. — Баба прикрыла монаху глаза, попыталась было заплакать, но не получилось. — Прощай, Андрей Степлер.

Она поднялась с корточек и медленно пошла прочь от куриного производства. Почему-то ей вспомнился калитан Ренатов. Он выплыл из памяти жалкой своей персоной, греющей ладони о бока горячего самовара.

„Надо уезжать“, — решила баба, отгоняя от себя видение, и ускорила шаг...

Кур лишали жизни кто чем и как мог. Их рвали на части голыми руками, резали кухонными ножами, сворачивали головы.

Кто-то из особо отчаянных крикнул:

— Пали огнеметом! Жги их!

Завыло пламя, расплескиваясь по территории. Куры пытались спастись бегством, но повсюду натыкались на засады погромщиков. Над „климовским“ полем поднялись густой смрад и копоть от паленого пера и горелого мяса. Все это еще более распаляло нападавших, и они без устали убивали. Три миллиона кур, а по уверениям счетной комиссии их было примерно столько, ожидала неминуемая гибель.

Кипела кровь, смешанная с бензином, бегали по черному птичьим телам с оторванными головами. Толпа вдыхала кровавые ароматы и была пьяна.

Но неожиданно что-то изменилось в поведении кур. Они перестали беспорядочно бегать по загону и сгруппировались в один громадный клин. Ни одна из особей этого многомиллионного птичника не издала ни звука. Ни „ко-ко“, ни „кукареку“.

Погромщики, почувствовав перемену в поведении кур, на какой-то момент остановили свою пьяную резню, пытаясь сообразить, что бы это могло значить. Они тоже сгруппировались в одну кучу. Запыхавшиеся и восторженные, люди ждали продолжения.

Над „климовским“ полем воцарилась абсолютная тишина. Молчали куры, тихо дышали люди. Стенка на стенку.

Во главе куриного клина, переминаясь с лапы на лапу, стояла большая серая курица. Ее красный гребешок, украшающий голову, слегка дрожал, а клюв был приоткрыт.

Серая курица дернула головой, изогнула тело и вдруг побежала в сторону людей. Спустя мгновение за ней двинулись и остальные куры. Многомиллионное стадо кур, эта разноцветная туча перьев и мяса, в тихом беге на двигалась на погромщиков. А те, в свою очередь зачарованные этой картиной, стояли на прежнем месте, как бычки на заклании.

Многие в толпе, наблюдающие этот могучий бег, вдруг вспомнили день куриного нашествия, а от этого им стало страшно.

А куры все бежали, склонив свои головы к самой земле. И когда, казалось, столкновение стало неизбежным, когда люди отпрянули в страхе, сбивая друг друга с ног, большая серая курица вдруг оттолкнулась от земли, расправила свои крылья и взлетела круто к небесам. За ней взлетели и остальные, взмывая огромной тучей над землей.

Птицы поднимались неуклюже, чересчур часто взмахивая крыльями. Но они все же летели, выстраиваясь в длинный куриный клин.

Как рассказывали очевидцы и со всех других окрестностей, птицы, разбежавшись, взлетали под облака, пристраиваясь к своим собратьям, распределяясь в клине по весу и величине.

Через считанные секунды все куры Чанчжоз поднялись в воздух.

— Смотрите, куры летят! — кричали погромщики. — Вот это диво!

— Да и черт с ними!

— Да пусть улетают к каким-нибудь французам!

— Но все-таки это чудо!

Через минуту куриный клин закрыл солнце, и наступило солнечное затмение. Кур было такое великое множество, и улетали они так долго, что после того как последняя тварь скрылась за горизонтом, наступила ночь...

Этой же ночью уезжал из города г-н Теплый. Все его пожитки уместились в картонный чемодан, на боку которого давно выплела наклейка — Венский университет. Неся его легко в левой руке, правую он оберегал от всевозможных колебаний и сотрясений. Сломанные пальцы, перетянутые куском сукна, ныли и напоминали обо всех муках, перенесенных Гаврилой Васильевичем в этом городе.

Наклеечка с сохранившейся позолотой напоминала о днях юности, о студенческой скамье и мечтаниях о блестящем будущем.

„Был бы я сейчас специалистом по России при японском императоре, — думал славист. — Или переводчиком при герцоге Эдинбургском!.. Как бы тогда сложилась моя жизнь?“

Теплый одернул себя.

„Зачем грезить о том, чего не случилось!“

Гаврила Васильевич вспомнил об университетских друзьях.

„Где они сейчас? Так же ветрены и увлечены необыкновенными идеями? Или же все наоборот — остепенились, нарожали детей, читают обыкновенные книги?.. Интересно было бы поглядеть на них!.. — Теплый дотронулся больной рукой до груди, нащупывая в пиджаке пачку денег, присланную г-ном Шаллером. — А почему бы и не навестить товарищей? — подумал он. — Что мне мешает? Сяду в поезд и в Вену! Деньги у меня есть!“

От одного только представления, от открытия, что он может через несколько дней, ну пускай через неделю, оказаться в самом сердце Европы, Гаврила Васильевич ошалел от радости. Он припрыгнул на дороге, взметая пыль, и почти побежал, как будто до цивилизации осталось всего лишь несколько шагов. Прыгая, он вспоминал венские улицы с их бесчисленными кафе, с запахами кофе и подогретых булочек с маслом.

— А Венская опера! — воскликнул учитель. — Ложи и балконы с прекрасными дамами!

Голова у Гаврилы Васильевича слегка кружилась, как от доброкачественного шампанского, и он то и дело произносил какую-нибудь фразу вслух:

— Гаудеамус игитур! — пропел он из студенческого гимна. — Только в спальном вагоне!.. Буду давать уроки!.. Буду расшифровывать старинные рукописи!.. Буду славен и богат!..

— А костюмчик на вас для покойника! — неожиданно услышал Гаврила Васильевич откуда-то сбоку.

От внезапности он споткнулся и чудом удержался на ногах. Лишь чемодан уронил в пыль.

— В таких костюмах обычно хоронят!.. Это я, Джером! Я справа от вас!

— Ах, это ты! — протянул славист, разглядев невысокую фигурку в стороне. Настроение у него почему-то испортилось. — Чего тебе?

— Уезжаете?

— Уезжаю. А тебе что?

— Чего ж не попрощались?

Джером стоял в двух метрах от учителя. Если бы было чуть светлее, то можно было бы увидеть, что вся одежда мальчика, от воротника рубахи до ботинок, сплошь вымазана кровью. Глаза его блестели, как от болезни, он слегка дрожал то ли от возбуждения, то ли действительно от жара. А правую руку держал за спиной, сжимая какой-то предмет.

— Все-таки надо было попрощаться! — сказал Джером. — Столько времени вместе провели! Учитель и ученик!

— Извини, не успел.
— Ладно, прощаю... Куда едете?
— Пока не решил.
— Понятно... — Джером сделал шаг вперед. — Видели, как куры улетают?

— Видел.

— Вы туда же уезжаете?

— Куда? — не понял Теплый.

— Ну, куда куры летят.

— А куда они летят?

— Вот и я вас спрашиваю, куда это они упорхнули?

Теплый наклонился и поднял из пыли чемодан.

— Слушай, у меня так мало времени! — сказал он. — Ты меня прости! Не поминай лихом и все такое! — И пошел.

— А я никому не говорил, что вы Супонина с Бибиковым замучили! — Джером шагнул следом. — Только одному человеку намекнул.

Славист вздрогнул и остановился.

— Какому человеку?

— Сами знаете.

— Кто же это?

— Подумайте.

Гаврила Васильевич обозлился:

— Какому человеку, я спрашиваю!

— Сами догадайтесь!

Теплый поглядел по сторонам — нет ли за ним погони. Удостоверившись, что дорога пуста, учитель опустил чемодан на землю. Выбралась на небо луна, делая дорожную пыль почти белой, и у чемодана появилась тень.

— Подойди ближе, — попросил славист.

— Зачем? — удивился Джером.

— Я хочу с тобой поговорить.

— А разве вы меня отсюда не слышите?

— Все-таки подойди ближе.

— Ну хорошо.

Джером подошел к Гавриле Васильевичу почти вплотную и стал смотреть на него снизу вверх, по-прежнему держа правую руку за спиной.

— Чего?

— Кому ты рассказал о своих догадках?

— Разве это важно?.. Вы уезжаете... Погони за вами нет. Просто интересуетесь из любопытства?

— Ты правду мне говоришь?

— Я вас когда-нибудь обманывал?

Гаврила Васильевич еще раз коротко оглядел окрестности, затем схватил здоровой рукой мальчика за горло и стал душить его, комкая кадык тонкими пальцами.

— Глупец! — шипел он, брызгая слюной. — Я дал тебе шанс остаться на этом свете! Придурок!

Теплый извивался всем телом, стараясь вложить в здоровую руку как можно больше силы. При этом он не забывал глядеть в глаза Джерома, стараясь насладиться предсмертным страхом подростка.

— Тебе не надо было говорить, что ты обо всем догадался! — шептал Гаврила Васильевич. — А теперь придется умирать в жутком страхе!

Но мальчик не был напуган. Он чувствовал на горле сухую клешню, отчаянно задыхался, но не боялся...

— Страшно тебе?!

Нужный момент наступил тогда, когда Джером понял, что оттяни он еще мгновение — будет поздно. Язык просился из рта, ни вдохнуть, ни выдохнуть не было возможности. Джером высвободил из-за спины правую руку, сжимавшую самострел, направил ствол в Теплого и выстрелил. Он попал учителю в ляжку, в мягкое место возле самого паха.

Гаврила Васильевич еще мгновение сжимал горло мальчика, затем хватка ослабла, он вдруг осознал, что в него выстрелили, понял, в какое место попали, ощутил жгучую боль, нога подломилась, и Теплый с удивлением рухнул в пыль.

— Ну что, господин учитель! — растирая шею, произнес Джером. — Ситуация изменилась. Не правда ли?

Из пулевого отверстия небольшим фонтанчиком била кровь. Славист пытался зажать рану большим пальцем, но штанина все равно быстро намокала.

— Рана пустяковая! — продолжал Джером. — Единственная опасность от нее — кровопотеря. Так в ваших атласах написано. Но и от потери крови можно умереть!

— Ты в меня выстрелил! — изумился Теплый.

— Так точно.

— Ты меня ранил!

— Правда.

— Зачем ты это сделал?!

— Я хочу, чтобы вы испытали страх, — ответил Джером и, взведя курок самострела, направил дуло в глаз учителя. — Сейчас я выстрелю в вас еще раз. Дробь пробьет роговую оболочку глаза, взорвет зрачок, и белок выплеснется вам на щеку. Возможно, сразу вы не умрете, но я выстрелю еще раз — во второй глаз.

— Ты что! — отшатнулся Теплый. Его спина уперлась в чемодан с венской наклейкой, он вздрогнул всем телом и заколотил здоровой рукой по колену. — Ты не должен этого делать! Ты не можешь этого сделать!

— Почему?

— Потому что ты еще ребенок! Ты не получишь от этого удовольствия!

— Я получу удовлетворение, — пояснил Джером и приблизил дуло самострела к лицу учителя.

— А-а-а! — закричал Теплый так, что, казалось, задержалась в небесах луна. — Да что же это такое! Что же это меня все мучают! Дайте же мне в конце концов убраться из этого проклятого города на все четыре стороны! Не надо меня мучи-и-и-ть!!!

На исходе последнего крика Гаврилы Васильевича послышалось тарахтенье автомобиля. В глазах Теплого образовалась надежда, он пополз навстречу шуму, воодушевленно шепча:

— Возьмите меня!.. Возьмите!..

Авто приблизилось и остановилось, освещая фарами ползающего в пыли учителя. Щелкнула дверь, и на порогу выбрался доктор Струве.

— Господин учитель?! — удивился эскулап. — Что вы тут делаете?

— Меня... Я...

Из темноты в луч света вышел Джером.

— На нас напали разбойники, — пояснил мальчик. — Меня пытались задушить, а господина учителя ранили в ногу. Он истекает кровью.

— Ай-яй-яй! — запричитал доктор. — Ах, времена!.. Ах, нравы!.. Подождите, я возьму из кабины свой саквояж.

Пока доктор рылся в автомобиле, Джером встал над сидящим в пыли учителем, широко расставил ноги и смачно плюнул слависту на голову.

— Я вас не буду убивать, — сказал он. — Мне достаточно вашего страха...

Гаврила Васильевич утер с волос слюну и жалобно заскулил.

Джером оглядел авто доктора, и, несмотря на затемненные стекла, ему показалось, что внутри есть еще кто-то.

„Не мое дело“, — решил мальчик.

— А рана-то пустяковая! — обрадовался доктор Струве, разрезав штанину Теплого. — Одна дробинка всего!.. Даже зашивать не надо. Наложим пластырь, и делов!.. Ваш чемоданчик?

— Что? — переспросил Гаврила Васильевич.

— Уезжать собрались?

— Да-да, конечно, уезжаю! — согласился славист, подтягивая к себе пожитки.

— А что ж на ночь глядя?

— Так вышло. — Теплый поднялся на ноги и охнул. — Однако болит. Спасибо вам, доктор.

— Не за что. Теперь займемся молодым человеком.

— Мною не надо, — отказался Джером. — Я в порядке.

— И все же! — настаивал доктор Струве, подходя к мальчику. — Встаньте-ка вот сюда. Так мне вас лучше будет видно!

Эскулап оглядел Джерома в свете фар.

— Да вы весь в крови! — всплеснул он руками.

— Это не моя кровь.

— А чья же? Учителя?..

— Нет.

— Ах, да-да-да!.. — догадался г-н Струве. — События минувшего дня... И вы тоже, молодой человек, принимали в них участие? За что же вы птичек-то?

— Не ваше дело! — огрызнулся Джером, отталкивая руки доктора от своего горла. — Я же сказал, со мною все в порядке!

— Не хотите — как хотите! — обиделся врач, выходя из света фар. — В общем, мне пора ехать! Уже поздно!..

— Возьмите меня с собой! До ближайшего населенного пункта только! — затараторил Теплый. — Умоляю вас! Если нужно денег, я пожалуйста! — Он полез было в карман пиджака, но сделал это больной рукой и лишь отчаянно вскрикнул: — Весь больной! Весь раненый!

— Да ради Бога. Садитесь, конечно! Не брошу же я вас, пострадавшего, на дороге!.. А вам куда вообще надо?

— В Вену.

— Ого! — удивился доктор. — До Вены далеко! Туда не довезу, но до какого-нибудь населенного пункта доброшу!.. Только прошу простить за неудобства. У меня в салоне еще один пассажир.

— А кто?

— Пассажир пожелал путешествовать инкогнито...

Автомобиль тронулся, оставляя Джерома на дороге одного. Впрочем, авто через несколько метров затормозило, и из него высунулась голова доктора Струве.

— А вам, молодой человек, я советую поскорее вернуться в город!

— А я чего, твоего совета просил?! — крикнул вдогонку вновь тронувшемуся автомобилю Джером. — Уроды!

Когда автомобиль исчез из виду, Джером пошел по дороге по направлению к Чанчжоз. Он не думал о господине Теплом, а вспоминал куриный клин, растянувшийся в небесах на многие версты. Он вспомнил, как убивали отца Гаврона, как над ним склонилась Евдокия Андревна и как она гладила мертвому монаху волосы.

„Неужели она моя мать? — думал мальчик. — Или все это фантазии Шаллера?.. И куры улетели! — пожалел Джером. — Делать мне больше не фига! Не кошек же стрелять, в самом деле!.. Жаль монаха, хороший человек был!“

Он вытащил из кармана самострел, понюхал напоследок дуло и со всех сил забросил оружие в поле.

— Понадобится, еще сделаю! — решил мальчик и трусцой заспешил к городу.

Все последующие дни город митинговал.

— Нехороший знак! — кричали наперебой митингующие. — Улетели куры — быть беде!

— А что в этом плохого? — спрашивали из толпы.

— Ну вы и идиот! — отвечал вопрошающему самый умный. — Вы где-нибудь видели, чтобы куры летали?!

— Нет.

— Ну вот видите!

— А я все равно не понимаю, почему быть беде! — не унимался кто-то.

— А вы что, не помните эпитафию на могиле старика Мирова?

— Не припоминаю.

— Так вот, для забывчивых. На надгробном камне начертано: „Те, кто полз по земле, — взлетят, те, кто летал в поднебесье, — будут ползать, как гады. Все перевернется, и часовая стрелка пойдет назад“! Не улавливаете смысла?

— Ах вот оно что?! — неожиданно снизошло на непонятливого.

— То-то и оно! Одна часть уже сбылась! — Оратор сощурился и драматично возвысил голос: — Те, кто ползал, уже взлетели! Вы чего, хотите ползать, как гады?

— А мы чего, летали? — спросил еще кто-то.

— И этот — идиот! — развел руками самый умный. — Ну что за народ! Это же иносказательно говорится! Человек — высшее существо, значит, он летает

душевно или духовно. Как хотите!.. Отупеем мы, вот что! Вот что подразумевать надо под словами старика Мирова! Скотами станем неразумными!.. Хотите стать скотами?!

— Нет! — ответила толпа дружно.

— И я не хочу!

— А что делать?

— Собирать манатки и драпать отсюда! Завтра-послезавтра грянет какая-нибудь катастрофа, поздно будет!

— И уйдем отсюда! — закричал какой-то купчишка. — Построим где-нибудь новый город! Без всяких кур! Где наша не пропадала!

— Правильно! — поддержали купца. — Русский человек нигде не пропадет! Нас трудностями не испугаешь! Знали и пострашнее времена...

Глядя из окон здания городского совета на митингующих, слушая их эмоциональные речи, губернатор Контата думал, что все это неспроста, не будет речка прокладывать нового русла без веских на то причин. Народ не дурак, зря тревожиться не станет. Пусть нет у народа академического разума, зато смекалка имеется. Стадо человеческое, как барометр, способно ощущать приближение катастрофы.

„Ах, надо уезжать“, — уверился Ерофей Контата.

На следующий день вышел в свет последний выпуск газеты поручика Чикина „Бюст и ноги“, целиком посвященный отлету кур. Поручик считал, что за всю историю Чанчжоэ не было более эротичного события, чем массовый вылет кур в другие края.

„...Вместе с курами, — писал Чикин, — город утерял свою эротичность, и потому надо немедленно отыскать куриный клин, дабы обрести уверенность в своем эротическом будущем. У меня, например, — пускался в откровения поручик, — когда я увидел в небе парящих кур, напряглось мужское естество. Я испытал такой подъем эротизма, какого не помню с одиннадцати лет! Напряжение продолжалось почти восемь часов, и было такое

ощущение, что я могу оплодотворить вселенную... К сожалению, на следующее утро у меня не случилось обычной эрекции, и что я ни делал, как ни манипулировал своим предметом, он так и остался безучастным к окружающему миру. Все последующие дни я безуспешно пытался вернуть своего друга к жизни, но увы!.. Поэтому я смело делаю вывод, что куры унесли на своих крыльях наш чанчжойский эротизм. А потому есть только один способ вернуть его — последовать за курами!"

Далее во всю страницу была напечатана карикатура: в небе летят куры. Их гузки ошипаны и представляют собою голые женские зады. Все мужское население, задрав головы, со слезами на глазах смотрит под облака и в отчаянном порыве мастурбирует. И подпись под карикатурой: „Последний раз — самый грустный!..“ И еще: „Да здравствует Ван Ким Ген — великий каженик всех времен и народов!..“

Еженедельник „Курьер“ поддержал нацеленность народа на отъезд, вселяя в людские сердца оптимизм — надежды на лучшее будущее. Главный редактор издания прощался со своими читателями, обильно плача словами на газетных страницах.

В эти же дни в последний раз собрались члены городского совета. Встреча старых соратников была поистине грустна. Они прихлебывали сладкий кофе, мешая его с горечью слез.

— Уважаемый митрополит! — проговорил г-н Бакстер. — В эти печальные для всех нас минуты я хотел бы принести вам во всеуслышанье свои извинения. Все эти долгие годы я был предвзят и доставлял вам множество неприятных моментов. Но поверьте мне, что это не от злобы, а от нервного состояния моей души. Прошу вас простить меня и не помнить зла!

— Ну что вы, дорогой Бакстер! — умилился наместник Папы. — Это вы меня простите за мою излишнюю горячность. Это я во всем виноват. Это мне следовало быть более терпимым!

Они поднялись со своих мест, бросились друг другу навстречу, обнялись и горячо поцеловались.

Глядя на эту душещипательную картину, не выдержали и остальные. Все повставали со своих мест и принялись тискать друг дружку, расцеловывать, заливая дорогие костюмы слезами.

— А все-таки мы были командой! — воскликнул г-н Персик. — Командой с большой буквы!

— Да-да! — согласились остальные.

— Мы много сделали хорошего! — прибавил г-н Мясников.

— Да-да!

— Ой, как грустно! — прошептал г-н Туманян, утирая свои красивые глаза.

— Господа! — с надрывом, в котором было лишь естество, произнес г-н Контата. — Давайте же немедленно разойдемся! А то мое сердце не выдержит этого!

— Да-да!

Они разошлись в этот вечер, унося в своих душах любовь. И хотя их любовь была грустна, каждому хотелось сделать в жизни что-то возвышенное и подарить это возвышенное всему миру.

Генрих Иванович пьянствовал, не выходя из дома, несколько дней. Он лишь звонил в близлежащий магазин и заплетающимся языком просил доставить ему побольше водки.

Слух о том, что самый сильный человек города неудержимо пьет, распространился на все окрестности.

В один из дней запоя, шестой по счету, Шаллера навестила Франсуаз Коти. Она застала полковника в невменяемом состоянии и, преодолевая некоторое отвращение к заросшему щетиной мужику, пахнущему перегаром, стала приводить его в чувство.

Она волоком перетасила громадное тело в ванную, раздела его и принялась поливать из кувшина холодной водой.

Через полчаса процедур Генрих Иванович стал подавать признаки жизни. Он что-то бессвязно замычал, попытался было обнять девушку за талию, но рука подвела, соскользнула и ударилась о чугун ванны.

— Что же это вы, Генрих Иванович, так расклеились? — спросила Франсуаз, с какой-то грустью разглядывая голое тело полковника. — На что вы стали похожи! Подышите нашатырем!

Коти сунула Шаллеру под нос пузырек, полковник нюхнул, вздрогнул, и в глазах у него прояснилось.

— Франсуаз! — пьяно улыбаясь, вскричал он. — Я счастлив вас видеть!

— Мне тоже приятно!

Полковник оглядел себя и радостно констатировал:

— Я голый! Между нами что-то было?

— Посмотрите у себя между ног! Разве с этим может что-то быть?!

Шаллер посмотрел туда, куда указывала девушка, и скривился.

— Вы правы, — согласился он, стыдливо прикрывая свою наготу руками. — Отвернитесь! Я вылезу.

Коти отвернулась и стала прибирать волосы на затылке.

Вылезая из ванны, Генрих Иванович отметил, что на шее девушки нет перьев, только нежные завитушки.

— Я заварю вам крепкого чаю! — предложила Франсуаз и вышла в комнату, оставляя после себя запах собственного тела с примесью каких-то духов.

Полковник заволновался, шагнул следом, но в голове у него что-то ударило, трепыхнулось в груди сердце, и он решил, что эротические действия сегодняшним днем преспокойно могут отправить его на тот свет.

— Для вас тут письмо! — услышал Генрих Иванович.

— Да-да, сейчас.

Он обмотал бедра полотенцем и, ступая мокрыми ногами, вышел в комнату.

— Где письмо?

— На столе, — указала девушка, заваривая крепчайший чай прямо в чашке. — Пейте!

— Что-то не могу разобрать, что здесь написано, — пожаловался Шаллер. — Я немного не в форме! Можете?

— Похоже, это что-то личное, — сказала Франсуаз. — Удобно ли?

— Читайте! — уверенно ответил полковник и густо хлебнул из чашки.

Девушка развернула вчетверо сложенный лист, еще раз взглянула на Генриха Ивановича и начала:

— „Уважаемый Генрих Иванович! Хотел лично с вами поговорить, но, к сожалению, не вышло по причине

вашей неожиданной „болезни“. Откладывать более не могу, так как уезжаю сегодняшним вечером, а потому пишу вам, надеясь на понимание, а в конечном счете и прощение.

Так уж случилось в моей жизни, что я издавна испытывал интерес к вашей жене как к особе поистине незаурядной. Поначалу мой интерес сводился лишь к уважению ее личности, но потом, с течением времени, в особенности с момента вашего семейного разлада, я стал испытывать к Елене влечение другого рода. Не буду распространяться, каким образом ко мне пришло понимание, что я люблю вашу жену, но сегодня я доподлинно знаю, что это так.

Ваша самовлюбленность, словно шоры, застила вам глаза на события, происходящие вокруг. Ваша жена — гений. Все это время она писала Чанчжозйские летописи, самоотверженно трудясь, отключившись от внешнего мира. Вы, как человек достаточно тонкий, чувствовали, что Елена творит великое, но не могли внутренние справиться с некоторой завистью по отношению к ее таланту.

В те дни, когда вы отсутствовали, я навещал Елену, поддерживая ее организм насильственным питанием. Неужели вы действительно думали, что человеческий организм может столь долгое время обходиться без пищи?!

При моих посещениях ваша жена часто приходила в себя, и со временем между нами установились доверительные отношения. Елена сама расшифровывала для меня свои записи, отсекая тысячи бессмысленных страниц, за которыми она пыталась укрыть истинный смысл рукописи.

Не буду долго распространяться о том, как в конечном итоге мы пришли к решению, что остаток жизни проведем вместе. Самое главное, что мы пришли к согласию, а потому сегодняшним вечером покидаем Чанчжоз навсегда.

Прошу простить меня еще раз за то, что высказал это

все в письменной форме, но другого выхода у меня не было, так как вы были не в форме.

Клятвенно обещаю вам, что смогу уберечь Елену.

Ваш доктор Струве.

Р. С. Я знаю, что убийцей подростков был г-н Теплый, учитель Интерната для детей-сирот имени Графа Оплаксона, погибшего в боях за собственную совесть. Для такого вывода у меня есть веские основания. Подозреваю, что и вы это знаете. Пока не понимаю, что заставило вас скрыть столь важные для следствия факты! Полагаю, что не соучастие, а заблуждения слабого человека. А потому вас от собственного сердца прощаю. Уверяю, что преступник понесет заслуженное наказание“.

Франсуаз Коти положила письмо на стол и уселась в кресло. Прерывая драматическую паузу, она спросила:

— Вы хоть знаете, что куры улетели?

— Нет... Что значит улетели?

— Народ не смог смириться с перьевыми придатками и решил известить весь куриный род. А они, спасаясь бегством, улетели. Сейчас в городе не осталось ни одной курицы! Слышите, какая тишина!

Генрих Иванович с подавленным видом сидел на стуле. Полотенце сползло с его бедер, обнажая мускулистый живот.

— Мне вас жаль! — искренне сказала Коти. — Так бывает, когда все наваливается разом!

— Я совершенно запутался, — обреченно вздохнул полковник. — Мне из всего этого не выбраться.

— Вы ее любили?

— Она всегда чем-то меня притягивала. За долгие годы совместной жизни я так и не понял чем... Да-да, я ее любил! — страстно произнес Генрих Иванович.

— Вы говорите так, потому что она от вас сбежала! — улыбнулась девушка. — Не уйди она от вас, вы бы ее, может быть, завтра убили от ненависти. Зарезали бы или задушили!

— Почему вы так решили? — вздрогнул Шаллер,

вспоминая свою безуспешную попытку проткнуть спину Елены спицей.

— Есть в ваших глазах что-то такое... И потом, мне кажется, что вы ее вовсе не любили. Просто вас терзала мысль, что в вашей жене, возможно, есть большой талант, больший, нежели в вас. Доктор Струве прав. Это — ревность, иногда напоминающая любовь... Вы меня понимаете?

— Зачем вы пришли?

— Попрощаться.

— Вы уезжаете?

— Да. Сегодня вечером.

— Надолго?

— Скорее всего, я больше не вернусь в Чанчжоэ. Я одна, а в мире есть столько мест, которые стоит посмотреть!

— Возможно, вы и правы... Вам действительно кажется, что я изо всего этого выпутаюсь?

— Муха не бьется в паутине вечно. Она либо выпутывается из нее, либо погибает.

— Веселенькая перспектива!

— Ну что ж, Генрих Иванович, — девушка встала из кресла и оправила платье. — Прощайте! И знайте, что вы были мне милее, чем все мужчины этого города! Постарайтесь поскорее прийти в себя и ни о чем не жалеете! Каждая минута нова, и с каждой новой минутой в нас рождается новый человек!.. Прощайте, мой милый Шаллер!

Франсуаз Коти обняла полковника, ласково провела ноготками по его обнаженному животу и поцеловала в подбородок.

— Ах, Франсуаз! — растрогался Генрих Иванович. — Вы — единственная, кто меня понимает! Не уезжайте! Прошу вас! Я люблю вас! Дорогая!..

Он крепко обнял ее за талию, прижался лицом к груди и по-детски, громко вздохнул.

— Ну вот, — с сожалением произнесла девушка. — Две минуты назад вы с пылкостью говорили, что люби-

те сбежавшую от вас жену! А сейчас так же пылко говорите, что любите меня!

Генрих Иванович попытался было что-то ответить, но Коти встряхнула волосами и закрыла ему рот ладошкой.

— Вы не любите меня. Просто вам нужно было немножко нежности, и я вам ее дала. И не спорьте! Это так на самом деле!.. А теперь прощайте!.. Хотите, чтобы я вам написала?

— Конечно!

— Я вам напишу... И передавайте привет вашему мальчишке!

— Какому?

— Который за нами подглядывал. Помните?

Генрих Иванович с какой-то обреченностью кивнул головой и выпустил Франсуаз из объятий.

— Не грустите, — сказала девушка напоследок и ушла, унося с собой навсегда всю эротическую сладость Чанчжоэ.

„Я совсем старый, — подумал Шаллер и облизал губы. — Надо приходить в себя...“

„Почему улетели куры? — думал Генрих Иванович, направляясь к китайскому бассейну. — А зачем они приходили?.. Может быть, есть вещи, над которыми не нужно думать? Что-то происходит в жизни, и вовсе не надо размышлять, почему это случилось и зачем. Пришли куры, ушли, пошел снег, дождь... Человек полюбил, человек умер... Нуждаются ли эти вещи в осмыслении?.. — Мысль сбилась и пошла по другому руслу. — Значит, Лазорихиево небо зажигалось вовсе не для меня, а для Елены. И на нее снизошло, и для Тепло-го засверкало! А я только свидетель!..“

Полковник Шаллер стоял над бассейном и с грустью смотрел в него. Китайский бассейн был пуст. Вернее, на дне его поблескивала лужицами вода, но ее было достаточно лишь для купания каких-нибудь головастика.

— Я же тебе говорил, мельчает бассейн, — сказал

Джером, похлопывая Генриха Ивановича по боку. — Ушла водичка!

— Ты был прав. А что теперь делать?

— Господи, вот проблема! — удивился мальчик. — Будем купаться в речке!

— И то верно, — согласился Шаллер.

— Пойдем?

— Не сегодня.

— Ну, как хочешь.

Генрих Иванович сел на край бассейна, свесив в ванну ноги.

— Давай просто посидим.

— Если тебе хочется.

Джером сел рядом.

— Ты знаешь, — сказал он, — я сегодня выбросил из окна ренатовский сапог.

— Почему?

— Мне показалось, что настало время заняться чем-то другим. Можно о чем-то всегда помнить, а заниматься другими вещами.

— Может быть, ты и прав.

— К тому же и куры улетели.

— Я знаю.

— А эту новость ты не знаешь!

— Какую?

— В пятнадцати верстах от города нашли труп Теплого.

— Не может быть! — изумился Шаллер.

— Да-да! — подтвердил мальчик. — Это верно. При чем его убили. И знаешь как?.. Точно так же, как он кончил Супонина и Бибикова. Перерезали горло от уха до уха и затем выпотрошили с особым профессионализмом.

— Вот это новость!.. Кто же это сделал?

— Убийцей мог стать я. Но у меня получилось только ранить его. Одно дело — сворачивать шеи курам, а другое — вырезать у человека печень. — Джером усмех-

нулся. — Мне кажется, что Теплого убил самый добрый человек города...

— Кто же?

— Доктор Струве.

Генрих Иванович кивнул:

— Конечно-конечно.

— Ты что, знал об этом?

— Догадался. Доктор увез мою жену.

— Так вот кто был третьим в машине!

— Ты видел их?!

— Ага. Они взяли учителя в попутчики и, вероятно, где-то в дороге прикончили его.

— Ну и хорошо, — уверенно сказал Шаллер. — Так, наверное, и должно было случиться!..

Они некоторое время посидели молча, глядя, как булькают на дне пересыхающего бассейна пузырики.

— В городе говорят, что куры улетели не к добру. В данной ситуации куры, как крысы, первыми сбежали с тонущего корабля. Говорят, что с городом случится какая-то катастрофа!

— Глупость какая!

— Глупость не глупость, а люди уезжают из Чанчжоу. Бросают все — и дома и пожитки! Боятся кары Господней!

— А кара-то за что?

— Не знаю. Так митрополит Ловохишвили говорит... Может быть, пойдем посмотрим, как разъезжается город?

— Ну что ж, пошли. А лучше поедem в авто...

Заводя автомобиль, Генрих Иванович в недоумении покачал головой и пробормотал себе под нос:

— Черт их разберет! То говорили, что нашествие кур — кара Господня, то их исход — наказание! Бред!.. Как пришли куры, так и ушли!.. Чего срываться с насиженных мест?! Что это на всех нашло?

Полковник нажал на газ, и машина выехала со двора.

— Аминь! — твердо сказал митрополит Ловохишвили и, троекратно перекрестившись, поднялся с колен.

Наместник Папы в последний раз оглядел чанчжозь-ский храм изнутри и, отгоняя грусть, вышел на свежий воздух. Возле каменной ограды его поджидал груженный всякой утварью автомобиль.

— Эй! — обратился Ловохишвили к пожилому монаху. — Саженцы от синей яблони погрузили?

— Так точно, — ответил монах.

„Вот и славно, — подумал про себя митрополит. — Всяко в жизни может еще случиться, а у меня яблочки наготове!“

Митрополит втиснулся на заднее сиденье и, перекрестив сквозь открытое окно храм с его окрестностями, велел шоферу трогать.

Уже выезжая за город, митрополит разглядел в веренице всяческих подвод и повозок авто губернатора Контаты. Автомобиль главы города часто тормозил, загора-ясь задними фонарями, стараясь не наехать на пешех мигрантов.

— Смотри-ка! — воскликнул Ловохишвили. — И чан с собою прихватил!

И действительно, на крыше машины, к багажнику, был намертво привязан чан, в котором еще несколько дней назад варился целительный компот из синих яблок.

— Варенье будет варить в отставке!..

В свою очередь губернатор Контата наблюдал впереди себя машину г-на Персика. Отчего-то на душе бывшего главы было радостно, несмотря на то что, по сути дела, он покидал свое детище — славный город Чанчжоз.

Г-н Персик переключал рычаг скоростей, говоря себе, что жить нужно только в столице. И не обязательно в российской!

Г-н Туманян путешествовал с семейством Лизочки Мировой. Сама Лизочка находилась в машине вместе с ним, своим будущим мужем, и папенькой, а будущая теща Вера Дмитриевна наслаждалась отдельным автомобилем, в котором, однако, было тесновато от всяких баулов и чемоданов. Чуть впереди двигался еще один автомобиль, набитый поклонниками Лизочки, и Вера Дмитриевна не совсем понимала такое их влечение.

— Ведь девушка выходит замуж! — удивлялась она. — Прилично ли это?

Про себя Вера Дмитриевна решила, что, когда жизнь наладится вновь, она весь ее остаток посвятит игре на бирже.

Если бы было возможно взглянуть на чанчжозейскую дорогу с высоты птичьего полета, то представилась бы такая картина. Тысячи человек с ручной кладью, сопровождаемая повозки, нагруженные скарбом, двигались в одном направлении. Между пешими сновали автомобили, принадлежащие высшим слоям чанчжозейского общества. Над дорогой поднялось огромное облако пыли, и все мечтали о дожде.

Шериф Лапа, одуревший от толчеи и напряжения, по неосторожности наехал своим „флешем“ на какого-то мещанина и сломал тому руку. Мещанин отчаянно завопил на всю округу, был взят шерифом в салон авто, да так и пропутешествовал с блюстителем закона всю дорогу.

В колонне также можно было различить автомобили г-на Бакстера, генерала Блуянова, господ Смитов, зажиточных купцов, редакторов газет и прочих лич-

ностей, спешащих добраться туда, кто куда для себя определил.

И только корейцы не путешествовали вместе со всеми. Они дождались, пока последний из русских не скроется из виду, и только тогда вышли. Стройными колоннами, соблюдая порядок, в полной тишине колония корейцев покинула город. Они оставили после себя убранные дома и начисто вымытые квартиры. Корейцы не громили того, что не могли увезти с собой, а, наоборот, всюду оставили записочки тем, кто, может быть, поселится в их жилищах. Текст записочек был повсеместно одинаков: „Пользуйтесь всем имуществом по своему усмотрению!“ В магазинах, на прилавках остались продукты длительного хранения, в ателье висели недошитые костюмы, а в пустых чайных все было готово к приему посетителей.

Корейцы ушли достойно, и было в их исходе что-то торжественное и печальное.

Весь вечер этого дня Генрих Иванович проезжал с Джеромом по Чанчжоз. Они частенько останавливались возле какого-нибудь дома и стучались в парадные двери. Им никто не открывал, и тогда они входили внутрь, оглядывая брошенные жилища. В домах мещан они видели одну и ту же картину: сломанная мебель, разбитые светильники и посуда...

Уже совсем поздним вечером они заметили идущую по дороге женщину.

— Мама, — сказал Джером.

— Значит, не все уехали. Хочешь, остановимся? — предложил полковник, а про себя подумал, что вот она идет, Евдокия Андревна, мадмуазель Бибигон, мать дюжины детей, лишенная памяти.

— Нет, — отказался мальчик. — Останавливаться не будем.

— Как знаешь.

Они еще немного поездили по городу, так больше никого и не встретив.

— Ночевать будешь у меня? — спросил Генрих Иванович.

— Нет... Знаешь, мне всегда хотелось проснуться как-нибудь утром и обнаружить, что город пуст. Так интересно — никого нет, иди куда хочешь, бери что хочешь!

— Где тебя посадить?

— А прямо здесь.

Шаллер остановил автомобиль и посадил Джерома на главной площади.

— Приходи завтра. Пойдем на речку купаться.

Мальчик кивнул и пошел своей дорогой, не оглядываясь.

Генрих Иванович ездил по городу почти всю ночь. Было невероятно тихо и тепло. Полковник не понимал, что заставляет его с таким упорством кататься по пустому городу. Он ничего и никого не искал, просто объезжал улицу за улицей, испытывая в груди какую-то сладость, легкую истому, которая могла пролиться двумя-тремя слезами грусти.

Генрих Иванович вернулся домой почти на рассвете. Он заварил себе чаю и уселся на веранде.

„А в летописи ничего не говорится о чанчжозьском землетрясении, — подумал полковник. — Значит, его не было. А если не было землетрясения, значит, не погибли мои родители и, следовательно, их тоже не было на этом свете. А значит, не было меня. Я никогда не существовал!.. А если я не существовал, то, значит, у меня не было жены!“

Он вспомнил Белецкую, и ему вдруг показалось, что все это было так давно — их первая близость, феминизм Елены, коннозаводчик Белецкий, погибший от удара копытом любимого жеребца, и пожар, унесший все сбережения Шаллера.

„А может, этого всего и не было?“ — подумал полковник.

Он задремал, сидя в кресле, и приснился ему силач Дима Димов, говорящий: „Это не просто гири, это гири Димы Димова! Это гири Димы Димова!!! Слышишь, Димова!!!“

Генрих Иванович проснулся от грохота. Сначала он не понял, что происходит, вскочил с кресла, заметался со сна, а когда взглянул на небо и увидел в нем, во всех его просторах, сияние, трепещущее и огнедышащее, вдруг в голове прояснилось, он рухнул на колени и закричал под облака:

— Лазорихинево небо! Возьми меня! Не оставляй меня здесь! Прошу же тебя!

В небе раскатисто загремело, полыхнуло пожаром и пошел дождь.

Генрих Иванович бежал по дороге, освещенной сиянием, и шептал:

— Возьми меня! Я буду твоим учеником! Я буду твоим послушником! Я ни на что более не претендую! Возьми же меня!

Запыхавшийся и обессиленный, он остановился возле мемориала святого Лазорихия, продолжая шептать:

— Да что же это делается, что происходит!

Ноги внесли его внутрь землянки, он упал на какие-то тряпки и потерял сознание.

А между тем небо все более разгоралось, полыхая плазмой и плюя огнем. Где-то в его огненных недрах зарождался ураган. Он уже не был, как когда-то, юным и глупым. Он возмужал в своем одиночестве и вечном скитании. Он выл под черными тучами и, казалось, слышалось в его вое: „Протубера-а-на-а!“

Ураган обрушился на город в его предрассветный час. В нем была такая могучая сила, такой напор, что стены построек не выдерживали и обваливались, превращаясь в песок и пыль. Все в природе стонало и выло, перемешиваясь крышами домов и деревьями, кирпичами от рухнувшей Башни Счастья и выплеснувшейся из берегов речкой.

— А-а-а! — закричала в ужасе Евдокия Андревна, погибая под обломками собственного дома. — А-а-а! — пронесся над городом крик самой великой жены всех времен.

Все корпуса куриного производства рухнули в одно

мгновение и были спрессованы с глиной и черноземом. Погибающий город скрежетал и корчился в последней своей агонии, и не было в этом мире ничего, что могло его спасти.

Ураган бушевал двое суток. И когда он, обессиленный разрушениями, закрутился в последнем штопоре и убрался куда-то в недра вселенной, над местом, на котором стоял город, пролился в последний раз дождик... В степи редко идут дожди...

Легкий ветерок, кружащий над песками, пахнул какой-то сладостью. Эта дурманящая сладость распространялась повсюду, забираясь под каждую песчинку, под каждый камушек.

Генрих Иванович проснулся в землянке святого Лазарихия, и голова его была чиста и легка. Он впитал в себя сладость забвения и теперь пытался вспомнить, кто он такой.

„Кто же я? — задавался вопросом полковник. — Как меня зовут?.. Ах, ничего не помню! Совсем ничего!..“

Он встал на четвереньки и обшарил землянку. В самом темном ее углу наткнулся на какую-то книжицу, схватил ее и вылез наружу. Там он зажмурился от солнца и бескрайней степи. Привыкнув к свету, открыл книжицу и прочел на титуле начертанное карандашом: „Принадлежит Мохамеду Абали — пустыннонику“.

„Ах да! — вспомнил Шаллер. — Меня зовут Мохамедом Абали. Я — отец-пустынноник, отшельник“.

Мохамед Абали успокоился оттого, что все встало на свои места, вновь забрался в землянку и вылез оттуда уже с кружкой. Сыпанул в нее горсть песка и поставил на камень, ожидая чудесного появления воды.

Внезапно пустынноник услышал чье-то почавкивание. Он обернулся и увидел лося. Юный лось жевал сухую траву, не обращая внимания на человека.

— Ну вот и хорошо! — обрадовался отшельник. — Все-таки живое существо рядом.

Он полюбовался красивым животным и вновь ушел

в землянку, теперь уже надолго, чтобы обдумать проблемы бытия.

— Бытие — есть обратная сторона небытия! — рек Мохамед Абали и, довольный началом мысли, закрыл глаза.

Над степью плыл воздушный шар. Он был сделан из голубиной кожи, потрепанной от времени.

Из корзины, сплетенной из виноградной лозы, на степные просторы с удивлением взирал физик Гоголь. Он то и дело сверялся с компасом и ничего не мог понять.

— Да где вы, черт возьми?! — вопрошал с высоты физик. — Куда вы запропастились?! Есть здесь кто-нибудь?! — закричал Гоголь. — Я, кажется, счастье наше-о-о-л!..

Юный лось безразлично задрал к небу голову, а потом вновь опустил ее к земле.

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛИПСКЕРОВ

Сорок лет Чанчжоу

Редактор А.С.Захаренко.

Художественный редактор Ю.В.Архангельский.

Технолог М.С.Белоусова.

Оператор компьютерной верстки О.А.Костюков.

Зав. корректорской А.Ю.Минаева.

Зам. зав. корректорской Н.Ш.Таласбаева.

Корректоры В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский.

Издательская лицензия № 061 053 от 15 апреля 1992 года.

Подписано в печать 09.07.96. Формат 60×90/16. Гарнитура Антикwa.
Печать офсетная. Объем 21 печ.л. Тираж 10 000 экз. Изд. № 306. Заказ 2596.

Издательство «ВАГРИУС». 103064, Москва, ул. Казакова, 18.

*Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии
«Первая Образцовая типография»*

*Комитета Российской Федерации по печати.
113054, Москва, Вaловaя, 28.*

**ПО ВОПРОСАМ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК ОБРАЩАТЬСЯ
К ЭКСКЛЮЗИВНОМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ
ИЗДАТЕЛЬСТВА В «КЛУБ 36,6» ТЕЛЕФОНЫ:**

офис: (095) 261-24-90, 267-28-33

тел./факс: (095) 265-13-05

ТОЛЬКО ДЛЯ МОСКОВСКИХ АБОНЕНТОВ: 265-81-93, 265-20-38

Крупнооптовый склад: (095) 523-92-63, 523-11-10

Мелкооптовая и розничная торговля

Книжная лавка «У Сытина»: (095) 230-89-00, 230-88-63

тел./факс: 237-36-11

Для переписки и заказов книг по почте:

107078, Москва, л/я 245, «Клуб 36,6»

в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России
ТОО «Невская книга»: (812) 567-47-55, 567-63-30

Первый роман драматурга Дмитрия Липскерова напоминает зеркальную комнату – прямой взгляд видит верное отражение, но другие зеркала тут же придают ему неожиданные, почти фантастические ракурсы. В истории русского города со странным названием "Чанчжоз" все узнаваемо, и в то же время нереально. Чудеса здесь происходят настолько естественно, что поневоле задумаешься – а не происходило ли нечто подобное и с нами? Чанчжоз – новый город на литературной карте. И расположен он где-то по соседству с легендарным Макондо из романа Габриэля Гарсиа Маркеса.



ВАГРИУС